

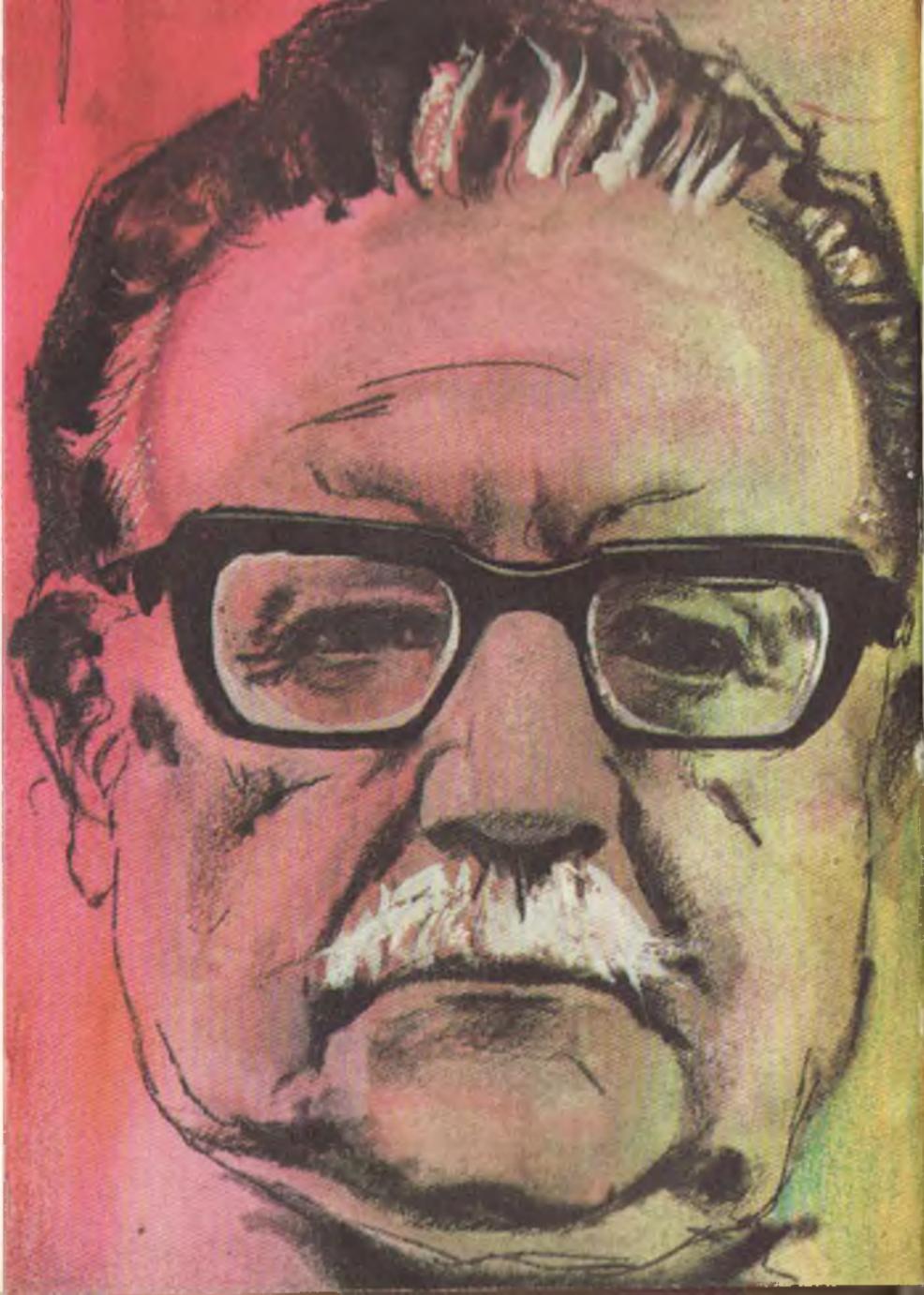
Пепельный сенатор

BAPTISM ADVICE

Пепельный сентябрь

BAUER'S ANTON





РЕВОЛЮЦИОННЫЕ *



СТРИЯ * ПЛАМЕННЫЕ *

Валерий
Алексеев

ПЕПЕЛЬНЫЙ
СЕНТЯБРЬ

ПОВЕСТЬ
о САЛЬВАДОРЕ АЛЬЕНДЕ

Литературная деятельность Валерия Алексеева началась в конце 60-х годов, когда вышли в свет его повести «Люди Флинта», «Светлая личность», «Игра в ямурки», «Кот — золотой хвост», посвященные советской молодежи.

В дальнейшем герой Валерия Алексеева заметно «позврел». В новостях «Рог изобилия», «Экз девиз», «Чуждый разум», «Удача по скрипке», «Гипноз детали» ставятся серьезные правительственные проблемы, затрагивающие интересы читателей всех возрастов.

В 1975 году в серии «Пламенные революционеры» вышла повесть Валерия Алексеева «Улыбка навсегда», посвященная национальному герою Греции Никосу Белопису.

Повесть о Сальвадоре Альенде — новое обращение Валерия Алексеева к художественно-документальному жанру.

На фоне бурных событий последних месяцев Народного единства в Чили прослеживается в ретроспективном плане процесс становления Альенде как политического деятеля, демократа, одного из руководителей блока левых сил. Картина расстановки социальных сил накануне фашистского переворота 11 сентября 1973 года дается через конкретные судьбы главных и второстепенных героев, но центром повести остается благородная фигура Президента Республики Чили Сальвадора Альенде, отдавшего жизнь в борьбе за правое дело.

А 0803010000-000
070(02)-82 227-82

© ПОЛИТИЗДАТ, 1982 г.

1

Зимним утром 29 июня 1973 года в Сантьяго выпал снег. Выпал, чтобы тут же растаять: температура была около пуля. Улицы и площади, едва успев побелеть, вновь через заблестели от влаги. Низкие дымные облака тянулись над городом, склоны гор и даже верхушки высоких зданий были скрыты в серо-синей мгле. Дул песчаный, но въедливый ветер, мелко сияя дождь, и карабинеры под аркой главного входа Ла Моледы покидались от холода. Полы их коротких шинелей тонорщились на ветру, каски были покрыты изморосью.

В самом здании было еще холоднее: толстые стены казались сделанными из окаменелого льда. В помещении генерального секретариата на первом этаже сиделиочные дежурные — Сара Новак из молодежной организации социалистической партии и Каролина Сото из редакции газеты «Сигло». Не зажигая света, они коротали последние часы своего дежурства в разговоре, а точнее — в споре. Каролина зябко куталась в пончо, па ее подруге был грубошерстный свитер. В комнате клубился табачный дым: Сара непрерывно курила. Резкая, угловатая, с румянцем на щеках, она казалась пампого старше своей миловидной подруги, да и вела себя как старшая. Собственно, весь спор их сводился к тому, что Сара гневно порицала Каролину, а та сбивчиво и путано оправдывалась.

— Не понимаю, зачем тебе это нужно! Недоучка, сытый, избалованный дилетант. Да к тому же ханжа и снайтер. Вас разделяет прошать, неужели ты настолько слепна, что этого не видишь? Он привык жить в праздности, а ведь у тебя — острое перо, блестящее будущее. Поверь, он постарается сломать тебе жизнь. Наверно, ужеставил ультиматумы? или — или?

— Нет, — смущенно отвечала Каролина. — До этого еще не дошло. Но послушай, Сарита, нельзя же быть такой детерминисткой. Из одного происхождения не следует...

— Следует, дорогая моя! С пепэбежностью следует. Богатство делает их алобиами импотентами.

Речь шла о знакомом Каролины, которого Сарита упорно называла «твоей женой». Сесар Ларин, художник-любитель, аполитичный «молодой человек средних лет», был сыном депутата от христианско-демократической партии дона Херардо Ларин Эрраеуриса — иными словами, принадлежал к клану тех, кого Сарита называла «физиологическими реакционерами». Каролина придерживалась иного мнения, ее значительно больше беспокоила религиозность «женщины», имеющая, впрочем, скорее эстетическую, чем философскую подкладку. Дружба Каролины с Сесаром, противоречивая, но прочная, с размолвками и неприменимыми примирениями, продолжалась уже около года, и это вызывало негодование подруги. Сарита пережила в свое время серьезную личную драму: ее муж уехал в Аргентину, захватив с собою ребенка и обвинив ее на прощание во всех мыслимых пороках, тягчайшим из которых была названа петеринность. Поэтому теперь, с выеопты своего опыта, Сарита предостерегала свою более юную (как ей казалось) подругу от повторения той же ошибки.

— Ты пойми, — говорила она, ожесточенно дыша, — жизнь ставит каждому человеку на путь несколько глав-

пых ловушек. Сумеешь их избежать — твоя жизнь сделана, не сумеешь — пропала.

Каролина правились такие разговоры — хотя бы потому, что, выслушивая свои сомнения, так сказать, извне, она убеждалась в их безосновательности: Сесар был совсем не таким, каким его видела подруга. Если бы Сарита знала об этом, она изменила бы тактику или, что вероятнее, махнула бы на Каролину рукой: поступай, мол, как знаешь. Но в гордыне своей она полагала, что Каролина отступает и меняет свою жизненную позицию под напором ее несокрушимой логики. Такое представление льстило самолюбию Сариты, вот почему обе подруги находили в этом откровенном разговоре истинное удовольствие.

Во дворце стояла гулкая тишина. Наверху, в кабинетах, подремывали другие дежурные, в крыле министерства внутренних дел у переговорного устройства, соединявшего Ла Монеду с резиденцией президента, бодрствовал пачальник Управления службы расследований Альфредо Жуаньини, у себя в кабинете работал заместитель министра внутренних дел Даниэль Вергара. О ненадежности мятежа поговаривали уже давно. Одно время компания молодых бандельников повадилась звонить в Ла Монеду и пугать почтных дежурных сообщениями о передвижениях войск, но потом шутники нашли себе какое-то другое развлечение. Постепенно острота опасности притупилась, и люди во дворце не чувствовали себя, как в пороховом погребе.

Между тем рассвело. Толстые прутья железных решеток, которыми были забраны окна первого этажа, потемнели на фоне светло-серого неба, и в помещении стало как будто еще холоднее.

— Послушай, кто-то подъезжает, — сказала вдруг Каролина и посмотрела на часы. — Неужели Тата, в такую рань?

Сарита погасила сигарету о край массивной медной пельменицы и, вытянув тонкую шею, замерла.

На площади рокотали моторы.

Сарита подошла к окну, приподнялась на цыпочки и выглянула на площадь.

— Мамасита чола,— отчего-то шепотом сказала она.— Мамочка моя!

Каролина тоже поднялась, но ничего не увидела. Она была меньше ростом, чем Сарита, а окно утопало в нише толстой стены, и, сколько ни тянишь, можно было разглядеть только верхние этажи окружающих площадь Конституции зданий: справа Центральный банк, напротив — редакция газеты «Насьон», слева — министерство экономики и отель «Каррерас». Однако она слышала, как просторная коробка La Mocheda наполняется гулом, и чувствовала, как дрожит под ногами пол.

— Да что там такое? — спросила она с тревогой, боясь услышать определенный ответ.

Сарита досадливо дернула плечом. Приветив на цыпочки, она напряженно смотрела на площадь.

Тогда Каролина подставила стул, взобралась на него — и увидела танки. Они тупо и озабоченно ползли по безлюдной площади. Один из них двигался прямо к главному входу, другой, скрежеща неподвижною гусеницей, разворачивался левее и чуть поодаль, за седою от влаги зеленью, третий шел вдоль фасада «Насьона», одновременно поворачивая в сторону дворца свою приплюснутую, как голова рентгена, башню. В самом передвижении машины не было еще видно ничего угрожающего, как будто езда по площади возле президентского дворца входила в какой-то утренний ритуал, но танк, который нацелился на арку главного входа, подполз уже слишком близко, и жерло его расчехленного орудия зияло. Сейчас пыхнет жаром, полопаются стекла, каменные крошки брызнут в лицо... Каролина даже зажмурилась.

Три года назад здесь стояли танки — в ту ночь, когда объявлено было о победе Альенде, по площади тогда ки-

нела пародом, и танки, окруженные толпою, казались обречеными на вечную неподвижность, как памятники минувшей войны.

Каролина вопросительно посмотрела на Сариту.

— Ну, затыкай уши, Лина,— сказала подруга, обернувшись, глаза ее возбужденно блестели,— сейчас будет война.

— Надо сказать Вергаре,— проговорила Каролина, испуганная скорее этой веселостью, чем видом боевых машин.

— Я думаю, Вергара и сам не глухой,— ответила Сарита и закурпала новую сигарету.

В коридоре послышались шаги, и Каролина поспешила спрыгнуть со стула. В помещение секретариата вошел лейтенант Рейес, за ним — два карабинера. По сравнению с подчиненными лейтенант был одет щеголевато: темно-зеленый китель, белая сорочка, черный галстук, фуражка с лакированным козырьком.

— Прошу прощения за беспокойство, сеньориты,— галантно сказал лейтенант,— но буду вынужден попросить вас спуститься в подвал.

Рейес махнул рукой, карабинеры, пригнувшись, с винтовками в руках, перебежали через комнату и встали возле оконных ниш.

— Мы вам не мешаем,— возразила Сарита, не терпевшая проявлений власти.— Располагайтесь, как у себя дома.

— Я повторяю, сеньориты,— твердо ответил лейтенант,— нам здесь не место, вы должны немедленно спуститься в подвал.

Он хотел что-то добавить, но с улицы доносился усиленный репродуктором голос, под окнами кто-то пробежал, и лейтенант кинулся в вестибюль.

В комнату заглянул Вергара. Его узкое худое лицо было бесстрастно, как у индейца, губы сосредоточенно скаты.

— Митеж? — спросила Сарита. — Танкасо?

Слово явилось к ней неожиданно, по аналогии с давним митежком полка «Такна», который был назван «Такнасо». Сарита еще не знала, что она дала событию имя, которое переживает ее самое. «Такнасо» — «Танкасо», «Танкетасо»...

Вергара никогда не отвечал сразу, он как бы с трудом подбирал слова.

— Посмотрим, — сказал он отрывисто, — посмотрим, что они затевают.

— А президент уже знает? — спросила Каролина.

Вергара молча взглянул на нее.

— Пехоты не видно? — спросил он, обращаясь к карабинерам.

— Не видно, — ответил один, выглянув в окно. — Но крыши, правда, бегают... но это штатские.

— Штатские, — повторил Вергара. — Ну что ж, тем хуже для сеньора Родригеса.

Вергара имел в виду адвоката Пабло Родригеса, руководителя фашистской организации ПИЛ («Патриа и либертад»).

Он посмотрел на притихших женщин и, проговорив: «Немедленно в укрытие!» — вышел.

— Пойдем, Лила, — сказала Сарита. — Жаль, что нас не учили стрелять.

Один из карабинеров, ухмыльнувшись, проводил их взглядом и хотел было прокомментировать эти слова, но спараджи вновь послышались резкие голоса, и он забыл о своем намерении.

Каролина и Сара вышли в вестибюль. Навстречу им, щеки металлическими подковами армейских ботинок, двое карабинеров тащили тяжелый пулемет.

Из-под арки входа со стороны площади Бульнеса (здесь был сквозной проход через дворец) тянуло сыростью и бензиновой гарью. На ступенях стоял лейтенант Рейес.

— Эй, остановы! — кричал он в сторону площади. — Какого черта вы здесь портите воздух? Езжайте на полигон!

Когда женщины подошли ближе, они увидели, что напротив входа выстроились в ряд три тяжелых танка. Орудия их были наведены прямо на арку, под которой стоял лейтенант.

— Езжайте на полигон! — повторил он, энергично махнув рукой.

— Так они тебя и послушались, — пробормотала Сарита. — Что это, стадо коров?

Рев моторов, от которого загудел весь вестибюль, заглушил ее последние слова. Карабинеры, толкнувшись под аркой, кинулись укрываться за выступами стен. Один только Рейес стоял на ступенях, не двигаясь.

Танки продвинулись еще метров на десять, затем наступила тишина, и металлический голос произнес:

— Командир второго бронетанкового Супер приказывает: всем вооруженным лицам во дворце во избежание кровопролития немедленно сложить оружие. Флаг президента спустить. Беспрепятственный выход из дворца гарантируется.

Голос доносился из закрытого автофургона, стоявшего чуть поодаль, возле чаши фонтана.

Подбежавший солдат протянул Рейесу мегафон.

— Гвардия умирает, но не сдается, дерньмо! — отчаянно и звонко произнес Рейес.

Сарита захлопнула в ладони.

— Браво! — крикнула она. — Вот это ответ!

И тут по стеке дворца как будто хлестнуло железной цепью. Зазвенели стекла.

— Бежим! — Сарита схватила Каролину за руку и потащила ее за собой.

Они оказались вновь в помещении генерального секретариата. Все здание было наполнено грохотом.

— Что делают, негодяи! — крикнула Сарита.

Карабинеры стреляли непрерывно, не оборачиваясь. На полу звенели гильзы, в воздухе стояла пороховая синь.

— Сейчас из пушек начнут! — кричала на ухо Каролине Сарита.

«Не посмеют», — хотела ответить Каролина, но не успела: зазвонил телефон. Этот комнатный звук так не вязался с той дикостью, которая вокруг творилась, что виноват даже не поняли, что звенит. Карабинер — тот самый, который все ухмылялся, — повернулся окровавленное, в порезах лицо и вдруг, резко дернув головой, отвалился от стены.

— Ой! — вскрикнула Каролина. Это детское восклицание вырвалось у нее непроизвольно.

Карабинер падал медленно, все его тело сопротивлялось падению. Потом рухнул на пол и остался лежать ничком. Второй, покосившись на него, хрюнуло выдохнул: «Мъерколес!» Он хотел выругаться, по из уважения к сеньоритам заменил неблагозвучное слово другим, более употребительным, и продолжал стрелять, целясь вверх.

Сарита опустилась на колени рядом с упавшим, а телефон продолжал звонить.

— Да заткни ты ему глотку! — крикнула Сарита, держа голову карабинера на коленях.

Каролина схватила трубку и, не совсем понимая, что делает, поднесла ее к уху.

— Ола, Пирусита! — раздался бодрый голос Сесара. — Что у вас там?

Пирусита — это было уменьшительное от детского псевдонима Ния Пируса, которым Каролина подписывалась в школьной газете. Имя прижилось, и все, кто любил Каролину, называли ее так.

— Пока все в порядке, — еле шевеля губами, проговорила Каролина.

— Да, но я слышу — стреляют! — отчего-то обиженно прокричал Сесар.

Каролина молчала.

— Ну, ладно. Я помогу тебе выбраться. Сейчас я на Аламеде. Через пять минут буду.

— Ты с ума сошел! — крикнула Каролина. — Тут же танки кругом!

— Ну, так что? Не станут же они стрелять по «тойоте»! — весело возразил Сесар. — Для них я свой. Не волнуйся!

И Каролина услышала гудки. Какое-то время она стояла, держа трубку в руках. Потом до нее донесся голос Сариты.

— Ты мне поможешь или нет? — кричала она.

2

В резиденции Альенде на улице Томаса Моро просыпались рано. Президент вставал около шести. Делал на веранде зарядку, принимал душ и садился в библиотеке работать. В небольших коттеджах на территории сада начиналась деловитая беготня — поднимались на дневные дежурства, готовились к выезду в Ла Монеду бойцы ГАП (Группа де амигос переоналес), личной охраны президента.

В этом тихом монастырском уголке города зимний ход не ощущался так остро: здесь не было широких открытых пространств, где мог бы разгуляться ледяной ветер, и даже утренний снежок, тонким слоем лежавший на траве между деревьями, был похож скорее на обильную седую росу и напоминал о летних сельских рассветах где-нибудь в окрестностях Темуко.

В шесть утра заступил на дежурство Рамон. Ростом среднего роста, широкоплечий, с крепким телосложением, сутуловатый (друзья в шутку звали его Патучо — «коротышка»), оттого что в ГАП был еще один Рамон, человек

тенному, около сорока, возрасту, прозвища не давали). Патуcho стоял в центре проходной и энергично взмахивал руками, чтобы разогреться после сна, на что командант Хосе, заглянув в дверь с улицы, счел нужным заметить:

— Извините, какой ветер поднял. Прямо орел.

Оба в штатском (Рамон в пиджаке поверх свитера, Хосе в стеганой нейлоновой куртке с намотанным на шею толстым шарфом), они были бы похожи на поднявшихся спозаранку деревенских парней, если бы не что-то неуловимо солдатское в их выпрявке, поведении и речи, выдававшее привычку к оружию и дисциплине.

— Опять всю ночь гулял? — спросил Рамон, посмотрев на осунувшееся лицо команданте. — Шел бы ты спать, грузовиков сегодня не будет.

— Речь шла о том, что в кругах, близких к ГАП, называли «грузовиками Оливареса». Директор Национального канала телевидения Августо Оливарес часто предупреждал ребят из ГАП, с которыми очень дружил: «В день переворота к столице пойдут армейские грузовики из провинции. Пока их нет, можете спать спокойно».

— Какой там сон, — устало ответил Хосе. — В таких вспышках частях вчера полковника сменили, а полковники, знаешь ли, этого не любят. Полковники любят полками командовать.

— Но теперь-то уж все?

— Теперь — конечно, — Хосе усмехнулся. — Раз уж Патуcho заступил, все будет в полном порядке. Вот только побреюсь и пойду... — он потер подбородок. — Скоро Тата вызовет.

Коротко звякнул телефон. Рамон присел на край стола, взял трубку.

— Слушаю, — он быстро взглянул на Хосе. — Да, да, понятно. Есть, соединяю.

Соединяя напрямую, бережно положил трубку на рычаг.

— Что, дождались все-таки грузовичков? — бесстрастно спросил команданте.

— Хуже, — буркнул Рамон. — Твой полковник идет тебе привет. Окружают ташками дворец, сейчас будет лупить из пулеметов.

— Кааспита, — тонким голосом протянул Хосе, как это делают аргентинцы, когда они испытывают удивления. — Надо же, так и не успею побриться.

Оба они не двигались с места: Рамон, свесив на пол длинные ноги, сидел на столе, а Хосе напряженно вслушивался, стоя возле двери, ведущей к террасе.

— Объявлять тревогу? — спросил, не выдержав, Рамон.

— Погоди, Тата сам скажет.

И тихо, через минуту в репродукторе, стоящем на столе, послышался треск, и глуховатый голос президента произнес:

— Хосе немедленно в кабинет.

Команданте поспешил снять шарф, одернул куртку, мельком взглянул на свои разбухшие от хождения по сырой траве ботинки.

— Командирам групп подними, — коротко бросил он Рамону. — Пускай подождут меня здесь.

Когда Хосе вошел в кабинет, Альенде, стоя к двери спиной, разговаривал по телефону. Среднего роста, плотный и в то же время подтянутый, гладко выбритый, с аккуратно подстриженными седыми усами. Белая сорочка с расстегнутым не по-зимнему воротом, на плечи набинута домашняя синяя куртка. Если бы не морщинистая шея, трудно было бы поверить, что три дня назад этому человеку исполнилось шестьдесят пять лет.

Не прекращая разговора, Альенде холодно и недобро взглянул на Хосе сквозь очки, жестом разрешил ему сесть.

— Генерал, вы, видимо, располагаете более полными сведениями...

Пауза. Мучительно щурясь и по-детски обиженно поджимая тощие губы, президент слушал собеседника — вероятно, командующего сухопутными войсками Карлоса Пратса.

— Да, это мне уже известно. И насколько широк?.. На что же они могут рассчитывать? Понимаю. Какие меры уже пришты?

Снова долгая пауза, и снова Альенде взглянул на Хосе. На этот раз в его глазах мелькнула искра улыбки — как будто он только что увидел начальника охраны.

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо сказал Альенде собеседнику. — Держите меня в курсе дела. Хорошо. Желаю удачи.

Положив трубку, Альенде некоторое время задумчиво смотрел на телефонный аппарат, потирая указательным пальцем свой крупный мясистый нос, затем повернулся к Хосе.

— В городе мятеж, — будничным голосом сказал он. — Подробности узнаешь у Вергары.

Должно быть, Хосе машинально переступил с ноги на ногу, потому что Альенде вдруг замолчал и, внимательно посмотрев ему в лицо, улыбнулся.

— Преторианцы устали бездельничать, рвутся в бой, — сказал он. — Нет, друг мой, во сейчас. Куда же мы поедем в самое некло? Кстати, скоро к нам подойдут тапочки от Сепульведы, встанут у ворот резиденции. Дождемся конца перестрелки — и тогда в путь. Только ты уж побрейся.

— Виноват, товарищ президент, — сконфуженно ответил Хосе. — Разрешите в сопровождение включить еще одного пулеметчика. «Пилу» установим на «пикапе», так будет вернее.

— Логично, Хосе, логично, — ответил Альенде.

Оставшись один, он подошел к столу, постоял, опершись руками о холодную гладкую крышки. Лицо его стало насыщенным и старым.

Вот и случилось, сказал он себе. Вот и случилось...

Здесь, в кабинете, была тишина, но эта тишина грохотала. Сдвинулась железная лавина, и, может быть, в эту минуту дыбятся плиты мостовых, содрогаются ветхие бараки пригородов... Теоретическая посылка «Мирный путь себя исчерпал» обращается в танково-пулеметную явь.

Подумать только, еще вчера Харпы и Эдварды шумели: «Самозаговор! Минимый мятеж! Запугивание призраком!» В сенате осмыслили оскорблением министра обороны Хосе Тоа, который пытался доложить отцам-законодателям о планах путчистов. Они хотели, чтобы человек с нелепой фамилией «Супер» свалился как снег на голову и, пропагнув пулеметами, принялся отряхивать груши.

А ведь все это уже было. Такое же серое утро, тревожная беготня во дворе, первые телефонные звонки... и кто-то, спокойный и сумрачный, стоял в ожидании за своим рабочим столом.

Да, это было, в августе тридцать девятого, полжизни назад. Телефонный звонок поднял его, молодого, не знаящего ни усталости, ни бессонницы, ни тяжелого сердцебиения по утрам: «Товарищ заместитель генерального секретаря! Докладывает начальник поста социалистической милиции в Кинта Нормаль. Пушки на перекрестках, товарищ! Центр окружен...»

Сочный голос из репродуктора, весь пропитанный ликование силы: «Мы, артиллеристы чилийской армии, призываем доблестные вооруженные силы последовать нашему примеру и восстать во имя родины, по зову истории, чтобы покончить с коммунистическим правительством так называемого Народного фронта!»

Пальцы и сейчас ощущают грубую ткань гимнастерки с петлицами, на которых две буквы «МС» — «милисна социалиста»... узкие холодные ремни портупеи, туга охватывающие грудь. В руках — пилотка, кобура с револьвером

застегивается уже на ходу, и — бегом по лестнице вниз, на сырую дорогу, в августовский предвесенний туман.

Мелкий дождик, потрепанная машина с запасным колесом на крыле... покрышка сжевана, меняли вчера на обратном пути из Вальпараисо... Солдаты копошатся возле орудий, развернутых в сторону центра... паскоро соруженные брустверы. «Машине секретаршата социалистической партии!» «Давай, кати, — ухмыляется щербатый капрал. — Чем больше нас там сберегется, тем лучше! Чтоб не искасть по всему городу».

Не удержался по молодости (товарищи пытались отговорить: «Не свиаивайся, потом...»), приказал остановить машину, выскочил, просто хлонув дверей, подошел. Солдатский гогот смолк, капрал медленно повернулся. «Фамилия? Из какой части?» «Капрал Вернали, артиллерийский полк «Такна», — нехотя ответил щербатый. «Забыл о прияте, капрал?» Молчание, подбородок капрала угрожающе, как у Муссолини, выпятился. Рука сама тянетяется к кобуре, но — нельзя: спокойствие, Чико, спокойствие. «Не слышу ответа, капрал Вернали». «Вот что, ми-лисано, — сквозь зубы процедил щербатый, — пилотка еще не делает тебя офицером, и отчитываться перед тобой я не намерен. Таких, как ты, давят гусеницами по всей Европе и здесь будут давить. Так что скажи своей дорогой, сиди во дворце и жди генерала Ибаньеса».

То были дни, когда Карлос Ибаньес дель Кампо, называвший себя «Муссолини Нового Света», решил сыграть на предчувствии мировой войны. В далекой Европе глянцевые, еще не битые Гитлер и Муссолини принимали парады таких же глянцевых воинских частей, фашизм издалека представлялся исполнинской неодолимой силой, и не то что простоватый полуутяльянец-капрал, многие весьма интеллигентные, сведущие в мировой политике и «прогрессивные» люди, упоминая Ибаньеса, многозначительно

прибавляли: «А знаете, в нем что-то есть... какая-то притягательная сверхчеловеческая сила...»

«Твоему генералу Ибаньесу место в камере уже отведено. Но и ты, капрая Бернали, не минуешь тюрьмы. Как мятежник и изменник родины. Это я тебе обещаю».

Время раздавать такие обещания было явно неподходящим, но тогда он вернулся к машине очень гордый собой: капрая ничего не ответил, и солдаты угрюмо молчали, но глазам их было видно, что несокойно у них на душе, и как знать — быть может, в решающую минуту прицел этого орудия окажется неточным...

Крупным шагом, с расстегнутой кобурой (оружие при входе к президенту полагалось сдавать охране) вошел он в кабинет. За столом — покойный человек с малоподвижным учительским лицом, дон Педро... Педро Атиэрре Серда, президент Республики Чили.

Сколько же было дону Педро тогда? За шестьдесят, как сейчас самому Альенде. Но в глазах человека, только что разменявшего четвертый десяток, дон Педро был почтенным старцем, Жестока и наемлива жизнь...

Вылопеченный армейский адъютант, наклонившись, что-то шепчет на ухо дону Педро. Мориась, доп Педро снимает тяжелую телефонную трубку, некоторое время молча слушает, прижимая трубку плечом.

— Передайте генералу, — внятно говорит он, — что президент республики не подчиняется мятежнику и не опозорит себя бегством из страны. Мой совет генералу, пока не поздно, самому воспользоваться этим самолетом. Повторю: пока не поздно.

Даже сейчас, через тридцать с лишним лет, легкий озабоченность восторга пробегает по спине, когда вспоминаются эти слова. Простота и достоинство — вот что его тогда потрясло. Отыщите п павсегда Альенде знает, что в решающую минуту он не может, не имеет права вести себя по-иному. Это — голос судьбы.

Дон Педро повесил трубку, взглянул на застывшего от восторга Альенде, усмехнулся:

— Ну, генералиссимус Вальпараисо... что теперь?

Четко, по-военному Альенде доложил президенту, что коммуны Сан-Мигель, Ла Систерна, Кончали уже подпяты на ноги, что рабочие отряды из Майну, Ла Гранха и Ренка выступают. Не меньше пятидесяти тысяч рабочих пройдут боевыми колоннами через весь город к центру.

Страдальчески щурясь, дон Педро смотрел ему в лицо. Президент как будто предчувствовал, что жить ему осталось недолго — недуг подтачивал его силы. Верил ли он тогда в триумфально марширующие рабочие отряды, о которых ему говорил Альенде? Трудно сказать...

Умеренный радикал, что в переводе с политического языка на нормальный, человеческий означает «стоящий на неопределенной осторожно-революционной платформе», дон Педро оценил и полюбил молодого Альенде во время своих предвыборных поездок в Вальпараисо, где Альенде был «генералиссимусом» избирательной кампании. Кандидат Народного фронта впервые увидел этот город таким, каким его знал Альенде: грязным, нищим, больным, пропитанным слезами и желчью. «С тобою рядом, Чичо, я головокружительно левую», — щутливо говорил дон Педро. «Я слишком долго работал в морге этой райской долины», — отвечал Альенде, — и утвердился в убеждении, что капитализм тлетворен. Именно это на примере Вальпараисо я и хотел вам показать». Дон Педро смеялся: «Я был иного мнения о целях предвыборной кампании. Впрочем, ты все равно своего не достиг. Для меня капитализм остается абстракцией, некой теоретической моделью отношений. А ты мне показываешь тысячи разнородных драм». «Все эти драмы объединяет одно, — возражал Альенде, — та самая модель отношений, при которых они и возможны».

Не стоит обольщаться мыслью, что революционные уроки «генералиссимуса Вальпараисо» серьезно повлияли

на убеждения дона Педро: теперь-то, на седьмом десятке, Альенде мог судить, насколько неподатливы старики в этом возрасте. К полевению дона Педро толкала сама логика политической борьбы. И все же представление о многочисленных рабочих отрядах, идущих на выручку к Ла Монеде, скорее всего, казалось ему утопией.

А между тем колонны из Ла Систерны и Сан-Мигеля, Ла Гранхи и Чуронте Альто шли по улицам столицы, сметая на своем пути заслоны мятежников, переворачивая пушки и опрокидывая тягачи. И юный звонкий голос Тенчи кричал в телефонную трубку издалека, как из другого мира: «Чичо, любимый, они идут! Это море, море людей, Чичо! Ты уже знаешь? Ибаньес арестован! Вот — мимо окон, сплошной поток, солдаты и гражданские, гражданские и солдаты! Любимый, как я боялась за тебя!..»

Они еще не были тогда женаты...

Все повторяется теперь.. только вместо полуторатонных грузовичков с расшатанными бортами — мощные бронемашины, вместо прицеленных пушечек — танковые орудия и пулеметы. Рабочим отрядам уже не так просто пройти, может начаться бойня — кровавая и бесстыдная...

Правда, и армия уже не та, что во времена Народного фронта. Десятилетия непрерывного конституционного процесса сделали свое дело: все эти годы шло «вертикальное» продвижение по выслуге лет никогда не воевавших офицеров, от присяги в военном училище к службе в провинциальных гарнизонах, от перевода в столицу к высшим командным постам. Нынешний генеральский корпус — креатура многолетнего гражданского мира, и высшее офицерство в большинстве своем заинтересовано в непрерывности конституционного процесса, выдвинувшего нынешних командующих на вершины военной карьеры. Чилийский генерал склонен отождествлять свою карьеру с торжеством конституции. Полковники же — нетерпеливы,

производство «по вертикали» их не устраивает, и вот пеккий Супер устал глядеть исподлобья, устал метать угрюмые молнии из-под ключковатых бровей. Он решил отменить степенную выслугу лет заодно с конституцией. Разумеется, это по его личной инициативе: крикуны из богатых районов Провиденсия, Лас Кондес, Витакуры, аристократишки, раздраженные тем, что именно конституция привела к власти Народное единство, гарантировали Суперу свое благословение. Они не верят в успех парламентской обструкции (нулеметная очередь им милее) и указующему персту председателя Верховного суда предпочли орудийное дуло... Супер страшен лишь оттого, что рядом с жерлами его пушек — орущие части Баррио Альто, всех тех, кто бесстыдно богат и желает оставаться бесстыдно богатым, кто глух к голосу совести, разума, даже инстинкта самосохранения.

Как не могут они понять, что в Чили полковник, даже самый «черный», — всего лишь подчиненный генеральского корпуса, и потерпевшее честолюбие его — обречено, пока остался хоть один верный конституции командующий...

Открылась дверь, бесшумно вошла Тенча. Тщательно причесанная, одетая, как для выезда в город, красивая, чуть более бледная, чем обычно. Задумчивость мужа, вероятно, ее встревожила.

— Знаешь, я как раз о тебе думая, — медленно проговорил Альенде. — Вспомнил пани с тобой тридцать девятый год.

Печально улыбнувшись, Тенча подошла, обняла его за плечи.

— «Кабальеро не боится, что на него теперь обрушится небо?» — нараспев, как это делают девчонки Вальпараисо, сказала она.

С этой фразы началось их знакомство в том счастливом и грязном году. Подземный толчок, повергший в прах

Консепсьон и Чильяи, докатился до Сантьяго и заставил жителей высыпать из домов на улицы. Так в толпе оказались рядом молодой депутат парламента и студентка исторического факультета, поразившая дона Чичо своей лукавой итальянской красотой. Молодые люди поглядывали друг на друга с любопытством, как вдруг новый толчок землетрясения буквально бросил Тенчу к Альенде. «Рука судьбы,— шутил потом Чичо.— Громоздкое мероприятие затеяла природа для того, чтобы я смог заговорить с неизвестной девушки на улице». В те годы права молодежи были куда более строгими, чем сейчас. Всего несколькими словами обменялись депутат и студентка тогда, а на другой день дон Чичо уже ходил по разрушенным улицам Чильяна и обсуждал с чиновниками муниципалитета меры по предупреждению эпидемий: надо было установить контроль над качеством питьевой воды, навести санитарный порядок в бариках... Но голос Тенчи звучал у него в ушах, и дон Чичо то и дело ловил себя на том, что задумчиво и просветленно улыбается...

— Да, это был славный год,— помолчав, сказал Альенде.— Мне вспомнился день мятежа Ибашеас и Эрреры. Все было кончено, ты пробиралась сквозь толпу к Ла Монеде, а милиционеров тебя не пускали, и ты кричала: «Пропустите меня к Альенде!»

— Неправда, я просто колотила их кулаками по спинам. А ты, бессердечный, смотрел из окна и смеялся...

Склонив голову, Альенде поцеловал ее руку, лежащую у него на плече.

— Ты что-нибудь хотела сказать? — помолчав, спросил он.

— Не знаю, мне показалось — шум у ворот, там какие-то танки. Но если ты спокоен...

— Не волнуйся,— мягко сказал Альенде.— Это от Сепульведы. Все идет хорошо.

— Значит, они не застали врасплох?

Альенде помедлил с ответом. Тенча отстрапилась, пытливо вглядываясь в его лицо.

— Видишь ли, — проговорил Альенде, — к подлости нельзя быть все время готовым, это изнуряет. Подлость всегда застает врасплох.

— Я слушала радио. «Агрикультура» беспрерывно повторяет: «Запомните, сегодня двадцать девятое июня».

Щека Альенде коротко дернулась, как будто он усмехнулся уголком рта, краем усов. Но это была не усмешка, Тенча знала: это была гримаса подавленной ярости.

— Запомним, — сказал Альенде. — Но и они не забудут, слово чести.

— Ты веришь?

— Я знаю. Они решились на это от бессилия. Им больше не на что рассчитывать, кроме железа.

Альенде прислушался, потом спросил:

— Аугусто пришел?

— Давно уже, — ответила Тенча. — Такой смешной, одетый для войны. Он разговаривает с охраной. Позвать?

— Да, да, конечно. Он мне очень нужен.

Аугусто Оливарес меньше всего был похож на солдата: добродушный, высокий, усатый, как морж, с мирным домашним животиком. Сегодня он явился в резиденцию в оливковых армейских брюках, высоких ботниках и куртке милиссиано.

— Вот, захватил с Кубы, — сказал он, сконфуженно поменявшись. — Как будто знал, что пригодится.

Вид у него был и в самом деле забавный, и Альенде не мог удержаться от улыбки.

— Ну, ты мне нужен не для войны, — сказал он, отвернувшись, чтобы Аугусто не заметил его реакции. — Распорядись, чтобы все радиостанции передавали только правительственные сообщения. И начнем записывать обращение к народу.

— Отсюда?

— Конечно, лучше было бы из дворца, но видишь, они нас опередили. Пратс обещал к полудню очистить центр.

— Все ясно. Перро тебя понял.

Перро («нес») была кличка, которую придумал себе сам Оливарес. Его огорчало, что Альенде называл его так очень редко.

Впрочем, сегодня Оливарес действительно был похож на крупного, пескладного и в чем-то виповатого пса.

3

В рабочем районе Сан-Хуан, в равнинной части столицы, июльский утренний снегок таял медленнее, чем в центре, и когда Мануэла проснулась, за окном все было припорошено белым, а холод в комнате стоял такой, что страшно было скинуть с себя нагретое за ночь одеяло.

Отец вот уже три дня был в дальнем рейсе, мачеха еще спала, широко разметав по свободной постели молодые полные белые руки: она не мерзла по ночам и вообще, как истая южанка, не ведала холода. Ридом, скривившись в клубочек и утихнувшись матери носом под мышку, сопела маленькая Лус: видно, перебралась на родительскую постель почью, почувствовав, что мерзнет.

Дверь в смежную комнату была открыта, Мануэла видела, что постель Родолыфо аккуратно застелена: то ли он не возвращался с вечера, то ли встал при свет низкой зари. Последнее время с ним стало трудно: он был младше Мануэлы только на год и забыл те времена, когда откликался на имя Фито и ходил за нею повсюду, цепляясь за ее юбку. Теперь же, когда ему удалось отпустить жиленьюкую бородку, Мануэла перестала быть для него авторитетом. Мачеху он и раньше ни во что не ставил, а отец, когда-то грозная на него управа, постарев в отъездах от сына и венял уже, как к нему подступиться.

— Эй, Мария Эстела! — тихонько позвала Мануэла, стараясь не разбудить Лус.

Мачехе было двадцать семь, а Мануэле девятнадцать, и, в сущности, они были подружками, Мануэла называла ее по имени, как это принято в деревне: не Мария, а Мария Эстела.

Отец привез Марию Эстелу шесть лет назад из деревни, с юга. Втолкнул в комнату рослую красивую девушку и сказал своим детям: «Вот вам новая мать». Потом внес тяжелую деревенскую скамейку и с грохотом поставил на пол, прибавив: «А это будет стоять здесь». Скамейка эта, широкая, обтянутая телячьей шкурой (на ней спала теперь Мануэла), была единственным приданым Марии Эстелы. Старшая сестра Каролина не пожелала с этим смириться, она слишком хорошо помнила родную маму, да к тому же была уже студенткой, и ушла в свою жизнь. Брат Гильермо завел себе какие-то знакомства и два года назад тоже отселился, но не молча, как Каролина, а с большим скандалом. Ну а Мануэла как была циничной при маленьком Фито, так с Фито вместе и перешла к новой матери в наследство и даже полюбила Марию Эстелу за незлобивый, простодушный прав. Новую сестренку свою Лус Мануэла тоже любила, и вот Лус-то как раз и называла ее «мама», так что слово это не совсем было забыто в доме Хесуса Сото Рамиреса. Ну а маму свою родную Лус звала, как и Мануэла, полным деревенским именем.

Первое время Мария Эстела ничего не говорила, только плакала втихомолку: не такой она, видимо, представляла себе столицу, и не таким рисовалось ей жилье богача-камьонеро из Сантьяго, за которого выдавал себя Хесус. Настоящим камьонеро отец не был и до сих пор: на паях с одним парием владел он потрепанным грузовичком. Может быть, рисовался Марии Эстеле двухэтажный домик в предгорьях, в Баррио Альто, весь увешанный внутри автомобильными покрышками — вместо деревенских лассо,

шпор и рогов, но при нынешних долгах Хесусу Сото Рамиресу едва хватало доходов на две комнатки близ Парадеро Очо, правда на улице со звучным названием Гран-Авенида. Отец Марии Эстелы продавал па север тюки прессованного кормового ячменя, а Хесус этот ячмень вонил, так дело и сладилось.

Гран-Авенида в районе Парадеро Очо застроена была желтоватыми и затхлыми домами для многодетных семей. Те, кто здесь поселился, имели все основания не докучать господу жалобами: чуть поодаль, у шоссе, в дощатых «иобласьонес» жилось еще хуже. Там и в щели дуло, и дождями зливало, и оконки были затянуты полиэтиленовой пленкой, а здесь, слава богу, стены и окна — все как у людей, и крыша над головой, хоть и гнилая. И даже водопровод.

После школы Мануэла работала на текстильной фабрике Леру, в нескольких кварталах отсюда, па Парадеро Сьете. С приходом к власти Народного единства эта фабрика была экспроприирована, хотя и не входила в число двухсот крупнейших предприятий страны. Хозяин ее, француз, разбогатевший на поставках армейской амуниции, отбыл в Европу, и руководить фабрикой стал рабочий комитет, но называлась она еще по старинке — «фабрика Леру»: новое название не успели придумать. Часть зарплаты работникам выдавали натурой, надо было сбывать мануфактуру на рынке, этот порядок заведен был еще в годы президентства Фрея, и Мануэла, находившаяся под сильным влиянием старшей сестры Каролины, начала воевать за то, чтобы этот порядок изменить: «Нечего нам интить черный рынок!» Работницы ее не поддержали, но на фабрике Мануэла стала заметным человеком. К ней прислушивались даже те, кто был вдвое старше ее.

В нынешнем году Мануэла собиралась па учебу в Ганапу и по настоянию старшей сестры ушла с фабрики: надо было позаниматься, повторить школьный курс. Но

подруг своих фабричных не забывала и почти каждый вечер забегала на Леру. Оставались там у нее и комсомольские дела — от организации, которая рекомендовала ее на учебу.

Была Мануэла не то что дурнушкой, но пошла в отца, а дон Хесус красотою не отличался: илоскопицкий, узко-глазый, смуглово-желтый — настоящий китаец, только горбоносый, с реденькими усами, которые росли по углам рта. Кругленькое смуглое лицико Мануэлы было по-своему миловидно, на фабрике ее звали Чинита («китаянка»), но сама она на свою внешность махнула рукой, не умела ни кокетничать, ни прихорватываться, носила что пошло, говорила что вздумается, без лукавства, и если поплакивала тайком по своим сердечным делам, то не рассказывала об этом даже Марии Эстеле.

Был такой в ее жизни период, когда секретарь ячейки Хайме Лавадос спился ей каждую ночь, и жизнь вдалеке от этого кудрявого, изящного, как девушка, паренька представлялась ей бессмысленной. А в один прекрасный день Хайме взял и женился. И что странно — в тот же день вся любовь Мануэлы кончилась, и теперь она могла свободно ехать хоть в Гавану, хоть в Антарктиду. Эта свобода не принесла белой Чините радости, и, хотя Хайме Лавадос ей больше не спился, она разговаривала с ним подчеркнуто холодно и оскорбленно.

— Эй, Мария Эстела! — позвала Мануэла погромче.

Лус зашевелилась во сне, а маечка только веернула. Делать нечего, придется подниматься одной. А забот по дому — край веночатый.

Вздыхая, Мануэла встала, надела старую юбку, настянула драповую вязаную кофту, набросила на плечи залоснившийся отцовский пиджак — и сразу стало теплее, сразу повеселела.

Подошла к раковине в углу у двери, повернула кран — ни канли, ни звука. Бывало, что кран шипел, и имелась

надеялся, что вода, хоть тонкой струйкой, пробьется. Постояла в раздумье, оглядела комнату: пекаристые обои на углах пузырями, зеркальца, открытки с видами пекарского города Вилья-дель-Мар, где из всей семьи бывал только отец, да и то проездом, с грузом... Большой красивый календарь — от Каролины. Увеличенные и оттого расплывчатые, как карандашные рисунки, фотографии мамы, Пия Пирусы, пекарское на матовой твердой бумаге с эмблемой студии фото Гильермо (бешеные деньги, должно быть, хвастун заплатил)...

Братец Гильермо был уж совсем не красавец: лицо сморщенное, как у обезьянки, огромные бакенбарды, едкая улыбочка, тосклиевые глаза. А болтун, а вруншка: кто поверит, что какая-то красотка из Баррио Альто от него без ума, дочь сепатора, что ли. Впрочем, кто его знает. Машуэла плохо разбиралась в подобных делах.

— Ох,—сказала, проснувшись, но не открывая глаз, Мария Эстела,— что-то сон мне дурной приснился... Старики давно нету. Не завел ли кого на выезд? Он такой.

— Что ты говоришь-то, подумай! — возмутилась Машуэла.— С утра пораньше... Он же старый!

Мария Эстела усмехнулась.

— Много ты понимаешь...

Она не договорила, а могла бы договорить. Для нее Хесус был красавцем, от одного взгляда хоть падай с ног. Как наденет саноги со шпорами, как возьмет в руки плащечек да выйдет танцевать в круг... Здесь, в городе, разве танцуют! Вот родные дети его таким и не видели. А она это, может, за это и полюбила: он душой деревенский, простой.

Говорят, в деревне люди поднимаются с солнышком: раз-два — и уже на ногах. Но, наверно, деревня у Марии Эстелы была особая, потому что мачеха умела вставать так пешенно, что к обеду ходила вроде как бы со сна. Часами могла бродить в нижнем белье, хватаясь то за то,

то за другое, позывала, пытала, рассказывала всем, кто попадется, обильные и богатые еды. Впрочем, лентяйкой ее нельзя было назвать: и готовка, и стирка, и мытье, и шитье — все у нее в руках спорилось после полудня. А кукурузную кашу с сушеными фруктами она умела готовить так, что даже Гильермо не брезговал, упиваясь за обе щеки.

Вот и сегодня: в нижней юбке, со спущенной лямкой рубахи, испещаная, вялая, бродила Мария Эстела из угла в угол, дерка отчего-то в руке пустую коробку из-под стирального порошка «Ринсо», и рассказывала Мануэле свой длинный запутанный сон.

— И вот будто озеро, холодное-прехолодное, даже издали видно, а к берегу не подойдешь, все болотом затянуто, и стоит на краю болота одно толстое дерево, все кручено, старое...

В снах Мария Эстела непременно с живостью выступали ее родные края, по которым она в глубине своей сонной души тосковала.

— И торчит из воды кузов нашего грузовика. А на кузове, на борту, сидит наш старик, свесив ноги босые, и курит. «Ах ты, — кричу я ему, — старый ты дурень, как тебя туда занесло?» А вода кругом белая, как молоко, и сидит он посередине и смеется...

Вдруг Мария Эстела умолкла.

— Что ты смотришь так на меня? — удивленно спросила она Мануэлу.

— Ты красивая, — пробормотала застигнутая врасплох Чинита и сконфузилась.

Мария Эстела подошла к ней, обняла, так они постояли, помолчали.

— Да, ему все смех, — сердито сказала как ни в чем не бывало Мария Эстела и, отпустив, даже оттолкнув падчерицу, подошла к шкафчику. — Уехала, и в ус не дует, а у нас тут мацная крупа кончилась, чесноку больше нет,

одна фасоль, да и та белая, ее за неделю не сваришь. Что готовить будем?

— Ты придумаешь, — сказала Мануэла.

И в это время издалека послышался знакомый мощный гудок. Обе женщины встрепенулись.

— Не у вас ли гудят? — спросила Мария Эстела.

— Пойду сбегаю, — сказала Чинита. — Может, загорелось что... А может, подожгли.

— Да зачем тебе? — удивилась мачеха. — Ты же все равно уезжаешь!

— Ах, какая ты... — с досадой проговорила Мануэла, села на скамью и стала обуваться.

Тут в комнату влетел Родольфо. Запыхавшись, чуть не налетел на мачеху, побежал в свою комнату, схватил парусиновую куртку, опрометью бросился к дверям. Остановился на пороге:

— Ничего не знаете, куры! Бегите, слушайте радио!

— А что такое? — упавшим голосом спросила Чинита, уже зная.

— Мятеж, Ля Монеду штурмуют танки! Альянде下达 приказ занимать вокзалы и аэропорты, а вы тут чешетесь...

— Вокзалы и аэропорты? — растерянно переспросила Мануэла.

— Прохлятие! — рявкнул Родольфо. — Ну, сколько можно объяснять? Вокзалы, аэропорты, фабрики, телефонные станции — все!

— А ты куда?

— К ребятам, в кальямпу. У них оружие... не то что у вас!

И Родольфо выскочил за дверь.

— Господи, мятеж... — растерянно проговорила Мария Эстела. — И что людям неймется?

Молча взглянув на нее, Мануэла выбежала вон.

На улице она ожидала увидеть солдат в грузовиках.

таки, патрульные джипы. Но ничего этого не было. Холодная, замусоренная Гран-Авенюда была почти пуста. Редкие прохожие шли, а кто и бежал, все в одну сторону — к фабрике Леру, которая кормила весь этот район.

От самой Парадеро Сьюете слышалась музыка: над воротами фабрики, как во время праздника, висели репродукторы, гремевшие маршами и песнями Народного единства. Но сегодня от этих песен, казалось, черпало небо.

На площадке у ворот толпились работницы, конторские служащие, домохозяйки с малышами, старики и старухи, подростки из соседнего поселка, носившего имя Гевары, торговцы из местных лавочонок, водители автобусов. Не всех призвал сюда фабричный гудок: многие ждали автобусов, но шоферы не торопились уезжать. С ними в сторонке беседовал Хайме Лавадос.

— Ола, Чинита, — сказал он, махнув рукой Мануэле, и продолжал разговор.

Как бы Хайме ни был занят, он всегда замечал появление Чиниты и давал ей об этом знать улыбкой или ласковым словом.

Шу, конечно же, догадалась Мануэла, шоферы сейчас важный народ: автобусы могут понадобиться в любую минуту.

Возле проходной сооружена была временная трибуна — помост из досок и пустых ящиков, по обе стороны которой стояли бойцы социалистической партии в униформах и шлемах, с бамбуковыми палками в руках, как во время демонстраций. На помосте под знамевами партий Народного единства возбужденно переговаривались, поглядывая на репродукторы, несколько человек: члены комитета бдительности, секретари партийных групп, представители фабричной администрации.

Неожиданно репродукторы смолкли, наступила гулкая тишина.

— Товарищи! — хриплым сорванным голосом сказал в микрофон человек от КУТ (Единого профцентра трудящихся). — Только что нам сообщили, что мобилизация по призыву КУТ и правительства проходит успешно. Тридцать тысяч производственных и служебных объектов по всей стране сейчас находятся под контролем народа. Таков наш рабочий ответ изменившим в военных мундирах. Никто еще не выигрывал войны с целым народом, никто! И если будет надо, мы бросим к стенам Ла Монеды рабочие дружинны. Единый народ — непобедим! Слово имеет представитель коммунистической молодежи товарищ Хайме Лавадос.

Услышав свое имя, Хайме дружески хлопнул по плечу беседовавшего с ним шоfera и быстро пошел к трибуне. Он двигался в тунце толпы так свободно, как будто на пути его никто не стоял, — и при этом умудрялся еще обмениваться веселыми реаликами с девчонками. Год назад Мануэла умерла бы от ревности, но сейчас она просто им любовалась: да, этот парень был рожден для митингов и демонстраций, он был счастлив в толпе. Легким прыжком Хайме оказался на трибуне, пригладил волосы, улыбнулся своей медовой улыбкой, отступил на шаг и, сунув руки в карманы узких белесых джинсов, заговорил.

— Товарищи! Давайте разберемся, что привело нас сюда, что мешает нам разойтись по домам, к своим семьям и своим очагам. Тревога за судьбы родины — это верно. За наше с вами будущее, которое определяется сейчас у стен Ла Монеды, — тоже правильно. Тревога за народную власть. А что такое для нас с вами, товарищи, народная власть? Десяток семей контролировал всю экономику нашей родины, — мы с этим покончили. Вся тяжесть финансовой политики государства ложилась на плечи бедноты — в то время как олигархи наживали колоссальные богатства, — мы с этим покончили. Десятки тысяч безземельных крестьян с рождения и до смерти были обречены

и иницету,— мы с этим покончили. Медь, уголь, железная руда и селитра наших гигантских рудников — все это хищнически разграблялось высокомерными иностраницами,— мы с этим покончили. Чилийские дети сотнями и сотнями гибли от недоедания,— мы покончили и с этим, теперь каждый ребенок в нашей стране ежедневно получает поллитра молока, это немного, конечно, но ведь цель забывать, что своего молока нам не хватает, мы закупаем для детей молоко за границей, что обходится нам в десять миллионов долларов в год! Богач, олигарх, латифундист, преуспевающий адвокат, модный врач — все эти люди купались в роскоши, в то время как трудящиеся получали жалкие гроши,— мы с этим покончили. Не найдется такого предприятия в нашей стране, где зарплата за годы Народного единства...

Что такое? Мануэла встрепенулась. Неужели Хайме (да еще в такой день) счел возможным вернуться к этой спорной болезненной теме?

— ...не была бы увеличена на пятьдесят, а то и более процентов! — звенищим голосом выкрикивал Хайме. — Голодный пролетарий с пустыми карманами, бредущий вдоль сверкающих магазинных витрин,— это картина из невозвратного прошлого! Теперь проблема в корне иная: передко в магазинах не хватает товаров, чтобы удовлетворить...

Этого Чинита уже не могла вынести.

— Неправильно! — закричала она.— Неправильно ты говоришь!

И, расталкивая людей локтями, она ринулась вперед к трибуне.

Люди расступались перед Чинитой, переговариваясь: «Кто это? Дочка дона Хесуса? Так ведь она уехала учиться в Москву! Да нет, вот-вот уезжает, и не в Москву, а в Гавану. Что ж, не могла она, что ли, одеться получше?» Так говорили люди, а может быть, это Мануэле только





казалось. И, не стыдясь своей обвисшей домашней юбки, отцовского индюка, она поднялась на помост.

— Неправильно ты говоришь, товарищ Лавадос! — гневно сказала Чипита, вырывая из рук Хайме Лавадоса микрофон. — Не время сейчас хвастаться такими вещами, которых следовало бы стыдиться!..

— Какие вещи? — растерянно спросил Хайме. — О чём ты говоришь, товарищ Сото?

— О зарплате! — выкрикнули из толпы.

— Вот именно! — Мануэла полностью завладела микрофоном, отстранила Лавадоса, подошла к самому краю помоста. — Вот именно об этом я и хотела сказать!

— Знаем, знаем! — зашумели внизу.

— Дайте ей говорить!

— Опять Китаянка села на своего конька!

— Пусть говорит!

Хайме, покраснев, развел руками и отступил к группе руконодителей.

— Я скажу! — крикнула Мануэла. — Я все-таки скажу! И к сегодняшнему мятежу это имеет прямое отношение! Пустые магазины, пачки денег в карманах про-лоториев... экое достижение народной власти! Но достижение это, а козырь в руках мятежников! Нельзя так потребительски, так преступно относиться к народному государству, как относимся мы! Требуя повышения зарплаты на пятьдесят... да что там — отчего не на сто пятьдесят процентов? И сегодня, сейчас, ведь власть-то народная!.. Так поступая, мы проедаем народное достояние! Вот что мы делаем! И не надо выдавать это за достижение народной власти! Не достижение это, а слабость! Товарищ Альенде идет нам навстречу, потому что он не может иначе, но мы-то можем иначе, товарищ Лавадос! Можем! И должны! Вот здесь, на Леру! Еще не добились того уровня производства, который был при французах...

Кто-то дернул ее за рукав пиджака. Мануэла отмахнулась локтем.

— Не мешайте, я все равно скажу! Но добились, я знаю! Снизили все показатели, а требуем повышения зарплаты на сорок процентов, во второй уже раз! С чего это? С каких это прибылей?

— Ей деньги не нужны! — насмешливо крикнул кто-то. — Она уезжает к Фиделю!

— А не пускать ее, если так! Пусть поработает еще годик на старой зарплате!

Впопыхах Мануэлу потянули за рукав. Резко обернувшись, разрумянившаяся, с затуманенными глазами, она с трудом узнала Хайме Лавадоса.

— Чина, ты не о том, — сказал он вполголоса. — Не время и не место!

Чипита крикнула в микрофон: «Нет, время! Нет, место!» — и вдруг с удивлением обнаружила, что ее никто не слышит. Звук в репродукторах прошел. Она постучала по микрофону ногтем — и тут динамики над воротами затрещали, зарокотали, и голос Альенде произнес:

— Трудящиеся Чили! Предательский мятеж кучки авантюристов, посягнувших на нашу демократическую традицию, на наш конституционный строй...

Чинита затаила дыхание.

— ...практически локализован. Правительственные войска под командованием генерала Карлоса Пратса Гонсалеса полностью блокировали центр столицы. Другая группа верных конституции войск во главе с генералом Оскаром Бопильей штурмом взяла казармы мятежного бронетанкового полка...

Мануэла стояла на трибуне, держа в обеих руках микрофон, и беззвучно шевелила губами, повторяя каждое слово.

Сесар не смог, разумеется, проскочить к Ла Монеде. Когда он подъехал к центру, улицы Театинос, Моранде, Амунатеги были закрыты для проезда. На перекрестках расставлены были танкетки корпуса карабинеров, курсанты пехотного училища с автоматическими винтовками двумя рядами стояли поперек улиц, солдаты полка «Буин» с белыми повязками на левом рукаве прохаживались по пустынным мостовым внутри кольца, добродушно переговариваясь с гражданскими, толпившимися по ту сторону оцепления. В сравнении с юнцами-курсантами, у которых был напряженно-отсутствующий вид, солдаты были настроены смешливо. Белые повязки сбили Сесара с толку: он решил, что перед ним мятежники, и не на шутку развелся. Значит, Ла Монеда пала? Что же тогда с Каролиной?

Визг тормозов его «тойоты» привлек внимание зевак: в толпе начали оборачиваться, послышались едкие шуточки:

- Ишь разлетелся!
- Куда спешишь, борода? Опоздал, все уже кончено!
- Подмога Суперу!

Пошав, что проехать не удастся, Сесар вышел из машины, присоединился к зевакам. Отпустив еще несколько насмешливых замечаний по поводу его щегольского небесно-голубого костюма, вышшой седоватой шевелюры и исклокоченной бороды, толпа забыла о существовании новоизбранного.

В стороне группа молодых людей скандировала:

- Сольдадо, амиго, эль пуэбло эста контиго! Солдат, дружище, народ с тобой!

Сесар не любил толпу, заряженную примитивными политическими страстями. Вокруг такой вот кучки активистов может собраться и стотысячная толпа.

По реакции солдат, благосклонно поглядывающих в сторону этой группы, по отдельным репликам в толпе Сесар понял, однако, что Ла Монеде удалось выстоять и что мятежники окружены.

Впрочем, со стороны площади Конституции еще слышны были одиночные выстрелы и трескотня пулеметных очередей. Всякий раз, когда рокотал крупнокалиберный пулемет (со времен службы в армии Сесар помнил, что его называют «пылкой Гитлером»), лица курсантов каменели, а публика тревожно прислушивалась.

Внезапно внутри оцепления послышался лязг гусениц, и, окутанный чадом, из-за угла выкатил танк. За ним еще один и еще: три танка с испеплено развернутыми башнями, как бы озираясь, катили по Амунатеги.

Толпа ахнула и хлынула в переулки и проезды между домами, строй оцепления дрогнул и распался. Одна только кучка активистов, чуть уплотнившись, стояла поодаль, однако их голоса перестали быть слышны. Солдаты и курсанты, пригнувшись, побежали к перекрестку, под прикрытие ташкеток, а Сесар, прижавшись к стене дома, в оцепенении смотрел, как передний танк, не сбавляя хода, катится на его золотистую «тойоту», брошенную посреди улицы. «Бедная Пирусита, бедная моя девочка! Зачем тебе все это нужно?»

Между тем карабинеры справились с замешательством. Две ташкетки сползли с перекрестка, перегородили дорогу, и передний танк затормозил, за ним — остальные. Распахнулся люк, перемазанный черным человек в кожаном шлеме высунулся по грудь наружу и, сложив ладони руною, что-то крикнул. Моторы так нещадно ревели, что Сесар разобрал только несколько бранных слов, получилось что-то вроде: «К дьяволу все это дерымо! Пропустите, едем в казармы!»

Тут Сесар обнаружил, что он каким-то чудом оказался внутри оцепления. Дорога к Ла Монеде была для него

открыта. Никто не смотрел в его сторону: курсанты, солдаты и карабинеры, не говоря уже о зеваках, которые вновь появились на перекрестке,— все с напряженным вниманием наблюдали, как танки мятежников медленно оббегают «стойту» цвета старой бронзы под аккомпанемент разносортных ругательств. «Какой ублюдок, сын старой шлюхи, бросил здесь эту мыльницу? Дави ее к чертовой матери!» Танкисты даже сочувствовали (в конце концов, люди спешат уйти от беды), «стойта» же, напротив, вызывала всеобщую неприязнь. Но все это Сесара мало интересовало. Сунув руки в карманы, бодрым шагом, не оглядываясь, он дошел до угла, повернул направо — и, оглянувшись, помчался бегом, как школьник, в сторону площади Конституции. «Пропадите вы пропадом,— приговаривал он на бегу,— со всеми вашими митингами и мятежами! Давите мою «стойту», топчите ее, пинайте, можете даже поджечь... Отдайте мне Пикуситу!» А может быть, он ничего не говорил, только хрипло дышал, по ему казалось, что он слышит свой собственный крик: «Отдайте мне Пикуситу!» Вид танков вблизи его потряс, он был уверен, что на площади перед дворцом увидит что-то ужасное.

Ему удалось добежать почти до дворца. Он, не задумываясь, пересек бы открытое пространство площади Конституции, но вынужден был остановиться: павстречу ему двигалась вереница открытых джипов. Спрятаться было решительно некуда. Сесар отступил к невысокой чугунной ограде и постарался принять позу празднолюбовитствующего горожанина, но люди в машинах не обратили на него ни малейшего внимания: они смотрели прямо перед собою, как будто являлись участниками какого-то торжественного и печального церемониала.

Впереди джипе стоял с пистолетом в руке низкорослый генерал с четырехзвездными нашивками на плечах. У него было бородатое лицо с простодушным носом

и пегустыми усами. Фуражка его с высокой тулей сбилась на затылок, ворот кителя расстегнулся. Сесар узнал его: Карлос Пратс, командующий сухопутными войсками. Два дня назад его фотографии мелькали во всех газетах: в том же песочного цвета мундире и тоже с пистолетом в руке Пратс понуро стоял возле лимузина со спущенным передним колесом, а рядом, подбоченясь, торжествующе улыбалась дама в шикарном палантине. «Генерал со слабыми первами» — эта подпись была еще самой безобидной. Отец рассказал Сесару, что машину Пратса преследовали — точно так же, как это было с генералом Шнейдером, убитым террористами в семидесятом году. Пратс выстрелил по колесу одного из мчавшихся сзади автомобилей — за рулем оказалась великосветская дама Александрина Кокс...

За джипом Пратса следовали машины с арестованными террористами. Конвойные в касках и зимних шинелях сидели на обоих бортах, и разглядеть мятежников было трудно. Один из них, привстав, в упор посмотрел на Сесара, лицо его поражало своей исступленностью: запавшие глаза, впалые щеки, глубоко вырезанные поздри — все как бы опаленное, выеденное кислотой ненависти.

Человек глубоко штатский, Сесар презирал военных и считал, что нет ничего пидотичнее этой профессии. Как может уважающий себя человек обшивать одежду галунами, увенчивать золочеными пиурами и металлическими побрякушками? Чванство и нетерпимость — вот что, по мнению Сесара, отличало всех военных, и для него были равны тот коренастый генерал-победитель и побежденный, полумертвый от бессильной ярости полковник. Оба они были никому не нужны и оттого готовы смертельно враждовать друг с другом и, кажется, со всем миром.

Кортеж миновал. Сесар помедлил, не рискуя еще ступить на опустевшую, в черных масляных пятнах мостовую — и тут услышал за своей спиной голоса.

Два офицера разговаривали, выйдя из переулка и еще не видя Сесара.

— Герой,— насмешливо сказал один.— Где была его храбрость в среду на Костанера?

— Пытался себя реабилитировать,— ответил второй.

— Перед нами?

— Ну, нет. Перед Альянце, разумеется. Доказывал, что он еще на что-то годится.

— Жаль, Сольминяк промахнулся...— проворчал первый.— Эти чертовы танкисты... им надо больше времени проводить в тире. Совсем разучились держать оружие в руках!

Сесар присмотрелся — это были инструктора пехотного училища, оба с белыми повязками на рукавах. Сесар хотел отойти подальше, чтобы не создавалось впечатления, что он подслушивает, но поскольку знал: под ногами его была лужа крови. Передернув плечами от омерзения, Сесар сделал шаг в сторону. Рядом лежала кинокамера, Сесар машинально поднял ее, повертел в руках.

Один из офицеров повернулся.

— Кто вы такой? — резко спросил он.— Что вы здесь делаете? Стоять на месте!

— Похож на мириста,— пробормотал, понизив голос, второй и подошел к Сесару.

— Скорее на Карла Маркса,— заметил первый.

Они стояли, недружелюбно оглядывая Сесара.

— Руки! Покажите руки.

Сесар взял камеру под мышку, протянул руки ладонями вверх. Хорошо, подумал он, что вчера вымыл их растворителем... если бы под ногтями осталась краска — кто знает, как бы они к этому отнеслись.

Первый взял его за рукав, повернул руку тыльной стороной, внимательно рассмотрел золотой перстень с монограммой.

— Репортер? — уже более вежливо спросил он.

Сесар кивнул.

— Извините, ищем спайперов. Можете идти.

Между тем на площади стали появляться люди: видимо, оцепление было снято. Сесар вышел на открытое пространство, пересек площадку, где обычно стояли стада автомашин, и направился к центральному входу La Moneda.

Зимой, под тяжелым темным небом, La Moneda смотрелась лучше, чем летом: эта кая рассевшаяся каменная глыба, покрытая сизым патетом если не древности, то уж, во всяком случае, подлинности. В свое время Сесар сделал здесь несколько этюдов, но то была летняя La Moneda, смотревшаяся под безжалостным солнцем как театральный вадник для первого спектакля «из позднеколониальных времен».

Ничего ужасного Сесар на площади не увидел: ни трупов, ни пятен крови, только танки, брошенные мятежниками, сутуясь, все еще держали под прицелом своих орудий дворец, да тротуар перед фасадом был густо усыпан осколками стекла.

Часовые с карабинами наперевес молча преградили ему дорогу.

— Мне нужно пройти на ту сторону, — сказал Сесар. — Извините, я очень спешу.

В его словах не было ничего необычного: сотни людей за день проходили этим путем с площади Конституции на площадь Бульнеса.

— Ничего, обойдешь, — грубо сказал карабинер, выразительно посмотрев на камеру, которую Сесар держал в руке. — Здесь тебе не проходной двор.

Сесар постоял на тротуаре, подумал.

— Давай, давай отсюда, — сказал карабинер.

И в это время из-за угла с улицы Моранде вышла Каролина. В стареньком деревенском пончо, с кожаной сумкой на длинном ремне, с вольно распущенными волосами.

сами, опа оглядывала площадь, прищурясь, с таким видом, будто вышла из конторы после рядового рабочего дня. Рядом с нею была высокая худая подруга, которая, Сесар знал, очень его презирала. Поэтому он не кипулся к Пикусите, а остановился поодаль.

Подруга первая заметила Сесара, она что-то с усмешкой проговорила и показала глазами на кинокамеру. Каролина вспыхнула, на лице ее, как это часто бывало при виде Сесара, отразились одновременно растерянность, стыд и радость.

— Ола, папито! — крикнула она и махнула рукой. — Ты уже здесь? Как тебя пропустили?

Сесар подошел.

— Вот, приехал снимать натуру, — сказал он, показав на камеру.

— Правда? — Каролина огорчилась. — Но это... это, по-моему, вхорошо...

— Ну как ты могла поверить? — рассмеялся Сесар. — Нашел на улице.

Сарита критически оглядела его яркий весенний костюм, стоптанные башмаки, артистическую бороду.

— Ладно, до встречи, — сказала она, повернулась и, крупно шагая, пошла прочь.

— Почему опа меня так не любит? — спросил Сесар. — Я что ей, враг?

Каролина молча обняла его, прижалась к нему и тут же отстранилась.

— Страшно было? — спросил Сесар. — Напугали тебя дураки?

— Нет, ничего, — проговорила Каролина.

Она отошла на шаг, показала рукою на тапки.

— Вот как мы их! — с гордостью сказала опа. — Долго будут помпить!

Сесар молчал, любуясь ее лицом.

— Нет, по какой Пратс молодец! — возбужденно го-

ворила Каролина.— Представляешь, с пистолетом — против танков!

«Есть и другие мысли», — подумал Сесар. А вслух сказал:

— Ко мне?

— К тебе! — ответила Каролина, смеющимися глазами глядя ему в лицо.— Я ужасно проголодалась.

5

Грибной поселок (или по-местному кальямпа) Роса Блашка вырос лет шесть назад на пустыре между шоссе и кварталами коммуны Сан-Хуан в стиле итальянского неореализма: без разрешения властей, за одну ночь, под сенью национального флага, были построены десятки дощатых времянок. Строили безработные, пришлые из сельских местностей, иммигранты, люмпены, которым не нашлось места даже в квартале Лота Баха. Наутро карабинеры Фрея оцепили кальямпу, уже получившую романтическое название «Роса Бланка», подогнали бульдозеры, и только вмешательство левых депутатов, прибывших в новопоспеченный поселок, спасло его от уничтожения.

За шесть лет доски почернели и стали трухлявыми, железные крыши проржавели насквозь, флаги па шестах выцвели и побелели, население поселка утроилось — словом, кальямпа Роса Блашка жила. Прочную поддержку здесь имело Левое революционное движение (МИР). С победой Народного единства миристы вышли из подполья и завладели кальямпой в открытую. Была в Роса Блашка своя власть — «командо комуналь», свое воинское формирование — батальон Армии национального освобождения, имелись и свои кумиры — команданте Мики из такой же кальямпы, команданте Пепе из лесной зоны Пангибульи.

Полновластным хозяином в Рока Бланка стал командаunte Рауль, называвший себя руководителем обездоленных. Всегда в полувоенной форме цвета хаки, с револьвером в кобуре на пояссе, командаунте Рауль был высоколоб, бородат, глубоко посаженные глаза его смотрели печально и по-крестьянски хитро. О нем рассказывали легенды: в годы Фрея командаунте Рауль совершил фантастические экспроприации, предпочитая очищать провинциальные отделения башков. Тюрьма, освобождение по амнистии осенью семидесятого года, после победы Альенде. Явившись в Рока Бланка, командаунте Рауль установил здесь порядки военного поселения: все мужское население кальямпы было записано в Армию национального освобождения, проводились военные учения, имелся план обороны поселка, круглосуточно охранялись все входы и въезды в кальямпу, помещения «командо комуналь» и склады оружия. Ни на шаг от командаунте не отходили его телохранители — немец Конрад и аргентинец, позывавший себя Аурелио.

Когда Родольфо примчался в кальямпу, на площади — замусоренной вытоптанной лужайке возле штаба — уже начался митинг: весь батальон был выстроен поротно, и командаунте Рауль, заложив руки за спину, стоял возле высокого флагштока и произнесил речь.

— Реакция решилась на самоубийственный шаг. Перед лицом возросшего потенциала революционного сознания рабочих, который сегодня высок, как никогда...

Командаунте говорил внятно, но нарочито негромко, и все бойцы напряженно вслушивались в каждое его слово. Впрочем, оба его телохранителя, сухощавый смуглый Аурелио и белобрысый гигант Конрад, сидели в стороне на крылечке штаба и вполголоса беседовали о чем-то своем.

Стараясь не привлекать к себе внимания, Родольфо отыскал свое подразделение (там стоял и манил его ру-

кою закадычный друг Виктор Бала Эскоидида), пробрался на свое место и вполголоса спросил Виктора:

— Что, идем на казармы?

Бала Эскоидида пожал плечами, и Родольфо стал слушать, как все.

— На это мы ответим немедленным революционным контрнаступлением! — говорил командант Рауль. — Сегодня мы начинаем городскую войну, завтра война эта станет общенародной, а послезавтра — и это неминуемо — выльется в тотальную битву с армией.

— Теряем время, — шепнул Родольфо. — Там танки на площади, а здесь урок политграмоты.

Бала Эскоидида слова промолчал.

— Мы располагаем, — говорил командант, — полным планом герильи по всей стране. Мы подожжем, если будет нужно, Чили со всех четырех сторон. Сегодня они сказали: «Гражданская война». Что ж, пусть гражданская война. Мы не боимся этого. Если La Монеду можно взять с одного паскока, то парод паскоком не возьмешь...

— А что, разве La Монеда... — начал было Родольфо, но Виктор сделал зворское лицо и прошипел:

— Чореадо... Заткнись!

Обиженный, песчастный, Родольфо огляделся. У четверых парней из его подразделения были автоматы «вальтер»... эпачит, оружие уже раздавали. Положим, «вальтеров» на всех хватить не может, но он не отказался бы и от какого-нибудь плохонького пистолета: не с голыми же руками идти!

Пока он предавался таким размышлением, командант закончил свою речь, махнул рукой, раздались реакис выкрики командиров, началась сутолока, вызванная перестроением плохо обученных людей, и через минуту Родольфо обнаружил себя шагающим рядом с Виктором по обочине шоссе. Бойцы подразделения шли за ними беспо-

рядочной гурьбой, возбужденно переговариваясь. Шоссе было пустынно, над равниной висела дождевая хмаря.

— Куда мы идем? — с трудом поспевая за Виктором, спросил Родольфо.

— Брать обувную фабрику, — ответил Виктор. Его сухое бледное лицо с замстным шрамом на правой щеке было серьезным и даже торжественным: впервые командаunte доверил ему руководство операцией. — «Кальсадос Батя», слыхал?

— А как же оружие? — жалобно спросил Родольфо. — Я остался без автомата.

— В кого ты стрелять собираешься? — усмехнувшись, сказал Виктор. — Солдат здесь нет и в помине. Вот заберем армейские арсеналы — заработаешь себе автомат.

— Я просто думал... — пробормотал Родольфо, — зачем нам этот «Батя»? Надо в центр идти, на подмогу...

— Ну да, и оставить врага у себя в тылу.

Родольфо не нашел, что ответить. Вообще спорить с Виктором было делом бессмысленным. Этот парень многое повидал в своей жизни. Учился в университете в Консепсьоне, там сблизился с миристами, учебу бросил, участвовал в серьезных операциях еще при Фрее, поймал карabinерскую пулю, врачи не сумели ее найти, поэтому и прозвали Виктора Бала Эскондида, что означает «пропавшая пуля». Командант Рауль звал его просто Бала и выделял среди остальных бойцов. Вот — поручил экспроприацию, а там, глядишь, и возьмет к себе в штаб... тогда к Виктору и не подступишься.

Родольфо для команданте непросту не существовал. Лишь однажды, во время учений, командаunte подошел к нему, завел разговор, от которого у Родольфо остался приятный осадок. Сочувственно улыбаясь, командаunte спрашивал его о семье, о брате, о сестрах. Увы, происхождением своим Родольфо Сото не мог похвастаться: отец — камьонеро, мачеха — кулацкая дочь, брат — мелкий све-

кулянт па рынке Вега Сентраль, Чипиту можно пока не считать, девчонка и есть девчонка. Одна только семейная гордость — Каролина. Командант спросил его, большой ли человек Каролина там, в коммунистической партии, до каких личных благ дослужилась, не брезгует ли засиживать к родным в Сан-Хуан, принимает ли родственников у себя, бывают ли у нее там большие люди... Разговор этот был неприятен: Родольфо любил Нью Пиресу и чувствовал, что командант настраивает его против сестры, потихоньку подводит его к мысли о том, насколько она обуржуазилась, насколько вжилась в порочную практику реформизма. А на другой день командант Рауль вновь перестал замечать Родольфо и смотрел на него, как на пустое место. Это заставляло парня страдать: может быть, он слишком тепло отзывался о Каролине, слишком ревниво ее защищал?

— Ты, Фито, в первый раз идешь на такое дело, — говорил ему между тем Виктор, — и не понимаешь важности задачи. В октябре прошлого года мы экспроприировали три фабрики в Сан-Хуане и передали государству. В апреле этого года — еще четыре, и опять государству. Разве это не подмога? Мы, и только мы, выкуриваем буржуазию, расширяем базу революции! Без нас Альянце еще долго топтался бы на месте. Мы движаем революцию вперед. Вопросы есть?

Вопросов не было. Когда Бала Эскондида говорил, все становилось предельно ясным. Но стоило ему замолчать — Родольфо начал терзаться сомнениями. Правда, сомнения эти были такого рода, что выразить их словами Родольфо даже не пытался.

Взять ту же фабрику, к которой они сейчас подошли. Убогое строение, по виду жалкая мастерская, не имевшая, разумеется, никакого отношения к звучному имени Батя. Зачем такая рухлядь государству? Но Виктор действовал решительно и уверенно: расставил посты,

собрал в цеху рабочих, объявил об экспроприации и предложил избрать временную администрацию.

Прибежал хозяин — аргентинец итальянского происхождения, лысый, долговязый, в распахнутом длишюром пальто.

— В чем дело? — закричал он с порога. — Мое предприятие экспроприации не подлежит! Правительство давало гарантии!

— А мы не давали, — спокойно возразил Виктор. — Мы вас не тронули ни в октябре, ни в апреле, ведь верно? Не паша вина, что реакция подняла голову еще раз.

— Да, по какое отношение я имею к вашей реакции? — возопил, подняв руки, итальянец. — Я делаю башмаки, и никакой реакции я не эзюю.

— Два ваших сына служат во флоте, — сказал Виктор, — это верно?

Итальянец опустил голову.

— Так вот, значит, и ваша семья причастна к мятежу и должна за это расплатиться.

— Но на флоте все спокойно... — пробормотал итальянец.

— Откуда вам это известно?

Хозяин молчал. Потом пробормотал:

— Беззаконие... Капитал у меня меньше четырнадцати миллионов эскудо, третья этой суммы не наберется, даже если вот это пальто продать.

Итальянец знал законы. Четырнадцать миллионов — таков был официально установленный потолок, выше которого предприятие считалось крупным и могло быть национализировано.

— Хорошо, — насмешливо сказал Виктор, — сейчас подсчитаем. Треть от четырнадцати — приблизительно пять миллионов эскудо... — Хозяин хотел возразить, но сдержался. — Значит, пять миллионов, согласны? Это по официальному курсу около трехсот тысяч долларов. А доллар

сколько стоит на черном рынке? Три тысячи эскудо штука. Помною вам ваши триста тысяч на три тысячи. Э, да у вас, оказывается, девятьсот миллионов капиталаец! Да вы просто Агустин Эдвардс Восьмой, акула Южной Америки! И как мы вас прошлый раз просмотрели!

Столпившиеся вокруг миристы засмеялись.

Лицо итальянца исказилось.

— Берите, бандиты. Придет сюда морская нехота — кровью заплачете.

— А за бандитов ты, приятель, ответишь, — проговорил Виктор, понгрызая пистолетом. — Но не сейчас. Сейчас нам некогда.

Родольфо стало жаль старика, который побрел, путаясь в полах пальто и размахивая повисшими, как пласти, руками.

— Слушай, Бала, — сказал он Виктору, — зачем мы его так? Пусть бы себе шил бацмаки... Кому он мешает?

— Экий ты сердобольный, — язвительно ответил Виктор. — Пожалел стервятника. А их, — широким жестом он показал на рабочих, — их ты пожалел? О них подумал?

Рабочие-обувщики молчали.

— Похоже, пас теперь придется жалеть, — проговорил один из них, самый старый.

— Это как? — вскинулся Виктор.

— Да так. Похозяйничаете с полгода, закроете за убыточностью, а нас — на улицу. Первый раз, что ли? При хозяине мы худо-бедно, а кусок хлеба имели.

— Это что же, — Виктор понизил голос, — хозяин без убытка работал, а парод будет с убытком?

— А что ж, — закройщик развел руками, — кругом ведь так. Пока под хозяином, и сырье поступает, и торговцы топар берут. А комитет начнет заправлять — ни сырья, ни сбыта. Все испоплзет ио швам, как гнилье.

Обувщики и миристы — все молча слушали. Родольфо испугался, что Бала в ярости пристрелит старика, но

Виктор вдруг обернулся и, восхищенно улыбаясь, сказал:

— Видал? — Родольфо не сразу понял, что обращаются именно к нему. — Видал, как рассуждает? Народ-то, оказывается, в чем виноват? В том, что со спекулянтами-оитовиками не ладит.

— Не ладит, — старик закивал. — Не умеет народ, это точно.

— А ты бы поладил? — простодушио спросил Виктор.

— Я бы?

Старик задумался.

— Он бы поладил, — заверил кто-то из обувщиков. — Он смог бы.

— Вот в чем корень, оказывается! — торжественно сказал Виктор, обращаясь опять-таки к Родольфо. — Въелась в них эта хозяйственная психология. Чем мельче предприятие, тем глубже разврат: каждый видит, что смог бы хозяйствничать сам. Все надо экспроприировать, все подчинистую. Я бы даже так сказал: мелкие в первую очередь. Трупный яд капитализма вырабатывается именно здесь.

6

Около полудня президентский кортеж — три «Фиата», три танкетки корпуса карабинеров — прибыл на площадь Конституции. В передней открытой машине бойцы ГАП обсуждали расположение брошенных танков.

— Нет, без похоты им не на что было рассчитывать, — морща нос, сказал Рамон. — С флангов не прошли бы, узко, там можно из базуки в бок получить...

— Зачем с флангов? — возражал рябой пулёмётчик Марио, но прозвищу Тулькан: собственно, Тулькан — это был городок в Эквадоре, где Марио родился, но всем родителям на ГАП казалось необыкновенно забавным, что

Марио — «аж из самого Тулькапа», так возвище к нему и пристало. Впрочем, долго смеяться над Марио не рекомендовалось: вдруг некрасивое лицо его озарялось веселой алостью, глаза светлели — и обидчику становилось ясно, что Марио за себя не ручается. — Зачем с флангов? Видишь, как они стоят? Собирались лупить по фасаду из орудий.

— Ну, такие стены за два дня не размоловишь, — недовольный, что с ним спорят, сказал Рамон: он считал себя великим стратегом. — Только с воздуха.

— Да, — проговорил Марио, посмотрел на небо и отчего-то вздохнул. — Только с воздуха.

Второй «фиат», шедший следом, вел шофер президента Хано. На свободном сиденье рядом с ним лежал автомат. Сзади негромко разговаривали Альенде и Оливарес. Президент был в отличном настроении. Речь шла вначале о какой-то «смуглышке», которую Альенде грозился забрать у Пабло Неруды силой.

— Не отдаст, — флегматично говорил Аугусто. — Еще собак спустит.

— Но, может быть, подарит — теперь, в свете новых обстоятельств? Как ты думаешь, Перро?

— И не подарит.

Смуглышкой Альенде называл корабельный ростр (по слухам, с самой «Марии-Селесты»), которым очень гордился Пабло Неруда. Это была дубовая мастерски вырезанная женская фигура с миловидным темным лицом, на котором сияли фаянсовые глаза. Пабло часто поддразнивал свою президенту: «А смуглышка-то плачет! Не воображай, что о тебе». Действительно, каждую зиму из фаянсовых глаз по дубовому лицу смуглышки текли чистые крупные слезы.

— Не понимаю... — говорил Альенде. — Лауреат Нобелевской премии, великий человек... Ну па что она ему?

Шофер Хано прислушивался к этому разговору и, не

совсем понимая, в чем суть, тем не менее широко улыбался. Он любил, когда президент ехал во дворец веселым: тогда и все вокруг становилось для Хапо праздничным.

Движение кортежа между тем замедлилось: улицу за-прудила толпа. Люди обступили президентскую машину, улыбаясь, заглядывали в окна, махали рукой, кричали: «Товарищ Альенде, двигай вперед!» Это был клич двухлетней давности, когда страха еще жила, окрыленная успехом национализации меди, и пулеметная стрельба на площади Конституции казалась немыслимой. Альенде любил этот клич, в своих речах напоминал о нем задористо и весело: «Я буду двигать вперед, я не поставлю ногу на тормоз, товарищи!»

— Позволь, Хапо,— сказал вдруг Альенде,— а куда ты нас везешь?

— К гаражам, на Моранде, товарищ президент,— ответил Хапо, на всякий случай притормаживая.— В смысле — к боковому входу, как обычно.

— Ну зачем же обычно? — укоризненно сказал президент.— Поезжай к главному. Сегодня мы можем позволить себе такую роскошь — пройти через главный вход.

Во все арки главного входа в торжественном ожидании стояли командующие родами войск: Карлос Пратс, Сесар Руис, Рауль Монтеро. Рядом — на голову выше их всех, худой, как Дон-Кихот, с красивой седоватой бородкой — министр обороны Хосе Тоа.

Выйдя из машины, президент долго тряс руку Пратса, поздоровался с генералом Руисом, с адмиралом Монтеро. Дружески похлопал по плечу Хосе Тоа, старого своего товарища по социалистической партии еще с начала пятидесятых годов.

— Благодарю, благодарю вас, друзья мои,— проговорил, обращаясь ко всем сразу.

Наступила пауза. Президент повернулся, широким

жестом показал па площадь: возле танков, стоящих по-одаль, как муравьи вокруг дохлых жуков, копошились механики.

— Скверный эндшиль, не правда ли, господа? — весело сказал президент. — Черные начинают и проигрывают.

Командующие вежливо заулыбались, только адмирал Монтеро, всегда хмурый, даже мрачноватый, сохранил невозмутимое выражение лица.

— Прошу наверх, — сказал Альенде, — ко мне в кабинет.

И, вскинув голову, даже выставив слегка свой маленький, совсем не энергичный подбородок, Альенде вступил во дворец. Был он очень элегантен в строгом темном костюме, который падал только по торжественным случаям, с белым платком, торчащим из нагрудного кармана.

Под аркой замерли на вытяжку карабинеры.

— Молодцы! — сказал президент, обращаясь к лейтенанту Рейесу. — Не испугались, а?

— Танки не страшны, президент, — ответил лейтенант, — если в танках — павоз.

Словечко это вызвало в свите президента смешки.

— Вы же не знали заранее, что там внутри, — заметил Альенде. — Танки есть танки.

И, пройдя вдоль строя карабинеров дворцового гарнизона, Альенде повернул направо и по узкой крутой лестнице взбежал па второй этаж. Десятиборец, чемпион страны в молодости, человек, педантично следивший за своим здоровьем, он ни разу не остановился, чтобы перевести дыхание, и из всей свиты только Хосе и Рамон зашим поспевали. Командующие поднимались неспешно, сохраняя свое достоинство, следом за ними, оживленно беседуя, шли оба Дон-Кихота — Хосе Тоа и Аугусто Оливарес.

Наверху президент мельком глянул в сторону Крас-

ного зала, замедлил шаги. Кресла полукругом, портреты президентов на стенах, фарфоровые вазы, старинные мраморные часы — все было в целости, хотя на полу блестели осколки стекла.

Портреты президентов республики... галерея персонажей исторической драмы, именуемой «непрерывный конституционный процесс».

Тучный, седоусый, с багровым лицом Карлос Ибаяес дель Кампо, победивший на выборах пятьдесят второго года кандидата Фронта народа Сальвадора Альенде с восьмикратным перевесом голосов. Титул «Муссолини Нового Света» был к тому времени папрочь забыт суетливым генералом: он вступил в Ла Монеду, потрясая пваброй (символ чистки политических клоунов) и шумя о «победе народа над империализмом»...

Печальный пожилой холостяк Хорхе Алессандри, примерный сын своей властной мамы, «друг простых людей», владевший контрольными пакетами акций тридцати шести компаний,— ему в пятьдесят восьмом удалось обойти Сальвадора Альенде на тридцать с лишним тысяч голосов.

Остроносый, суховатый Эдуардо Фрей, респектабельный «революционер в условиях свободы»,— последний, кому выпала честь преградить путь «вечному кандидату» Альенде в шестьдесят четвертом году.

Видимо, стране нужно было пройти через все эти разновидности социальной демагогии (солдафонской, хапиекской, незуитской), чтобы наконец сказать свое «да» Народному единству.

Народный фронт. Фронт народа. Фронт народа дейстия. Народное единство. Этапы, ступени. Тяжелая поступь идеи, колоннада гигантского храма, перспективой своей уходящая в те далекие времена, когда отцы нации Бернардо О'Хиггинс и Мануэль Родригес указали чилийцам путь от завоевания политической свободы к свободе

экономической. И у подножия этой колоппады — он, Сальвадор Альенде Госсенс, рядовой политик, прекрасно отдающий себе отчет в том, что высшие почести предназначены не лично ему, а тем, кого он представляет.

Путь Альенде сюда, в Ла Монеду, начался задолго до его первой предвыборной кампании пятьдесят второго года, и даже до тридцать шестого, когда идея пародного единства получила свое первое воплощение в Народном Фронте. 24 июля 1931 года... Войска диктатора безуспешно пытаются взять штурмом университетский городок в Сантьяго. Двадцатитрехлетний студент-дипломник, обдумывающий тему «Психическое здоровье и преступность», говорит себе: президентский дворец — дом безумия, оттуда исходят не только свирепые приказы и противоречавшие одно другому установления, — вся нищета страны, материальные лишения, духовные и физические страдания миллионов мужчин и женщин, молодежки и детей исходят из стен Ла Монеды. Как же согласовать эту вопиющую очевидность с предсказанием Симона Боливара, предрекавшего Чилийской республике долгую славную жизнь? Может быть, республика не погибнет? Может быть, она возрождается в кровавых муках? Но не для того же, чтобы открыть дверь в Ла Монеду бесконечной череде лживых политических львов, которые на словах предают апажеме «позолоченного негодяя олигархии», а на деле служат олигархии верой и правдой? Нет, демократический процесс должен привести к тому, что однажды вместе с президентом, облеченным доверием широкого большинства, в Ла Монеду войдет сам народ. Войдет не с оружием в руках, но с конституционным мандатом, и тогда (и только тогда) начнется подлинно демократическая история Чилийской республики, история социалистических преобразований.

Это было одно из тех прозрений, на которые так щедра молодость. Прозрение тем более несвоевременное, что

впереди еще были долгие месяцы диктатур, претендующих на конституционную видимость, и президентства с обликом диктатуры. Но в свои двадцать три года Альенде стал убежденным социалистом, ему знакомы были слова Энгельса о мирном врастании старого общества в новое в тех странах, «где народное представительство сосредоточивает в своих руках всю власть, где конституционным путем можно сделать все что угодно, если только имеешь за собой большинство народа...». Альенде видел это большинство в действии — на баррикадах у ворот Национального университета под самодельными трапанцами с гордыми словами Боливара «Здесь никогда не погибал дух свободы», на рабочих митингах в предместьях, украшенных красными знаменами, — и утвердился в убеждении: такое большинство способно прийти в Ла Монеду конституционным путем.

Попадилось без малого сорок лет, чтобы теперь от имени этого большинства можно было с гордостью сказать: «Мы стали правительством и идем к завоеванию власти».

Был трудный период — после выборов четвертого сентября шестьдесят четвертого года. Фрей опередил его на четыреста с лишним тысяч голосов: преимущество особенно весомое в сравнении с предыдущими выборами, когда от президентского кресла Альенде отделяли всего лишь тридцать тысяч. Надежды левых партий на общего кандидата не оправдались. Пришлось пережить холодок в отношении к нему коммунистов, раздражение лидеров социалистической партии, разброда в стане менее крупных союзников.

В Баррио Альто, на Витакура и Провиденсии пьют шампанское, танцуют и веселятся, поздравляют друг друга с очередной неудачей «вечного кандидата», на площадях золотая молодежь с хохотом плещется в чашах фонтанов, а в скромном доме Альенде на улице Старой

гвардии царит тяжелая тишина. Умолкли друзья, возмущавшиеся тем, что за Фрея голосовали доллары ЦРУ, что пропаганда олигархии свирепствовала, как никогда в истории Чили, что предательство Вальдо Греса обеспечило Фрею видимость поддержки слева, что в поблескавшем кальямпах как раз перед выборами безымянщие доброхоты раздавали пакеты с одеждой и продуктами («дар народа США»)...

Все было так, и пропаганда Фрея действительно не брезговала ничем. На улицах расклеены были афиши: «Чемпионат мира! Фрей (Чили) — Альянде (Россия). 2:1. Повторим успех наших футболистов на выборах!» Или так: «Чилиец! Ты хочешь, чтобы это произошло у тебя в стране? Голосуй за Альянде!» — и фотографии «кубинских ужасов», разумеется фальсифицированные, во пока избиратели разберутся... Радиопередачи начинались с автоматной очереди и истошного женского крика: «Убили моего сына! Это коммунисты!»

Но ведь на то и политическая борьба: значит, мы не нашли убедительных способов высмеять эту бесстыдную ложь, чтобы вся страна издевалась над этими грубыми предвыборными трюками...

Помощник государственного секретаря США заявил: «Альянде никогда не станет президентом...»

Друзья утешали: «Ты же набрал почти миллион голосов, такой поддержки левые еще никогда не имели...» Но в их глазах читалось: «Нужно было больше, намного больше...» Неудачника осуждают, от него стараются отстраниться. Один из соратников был настолько откровенен, что сказал на прощание:

— Фрей тебя обокрал. Он взял почти все твои лозунги, он постарался быть похожим на тебя... А ты слишком вяло отставал свою непохожесть.

Но вот ушел и он, и «вечный кандидат» остался один — со своей семьей, с дочерьми, которым он должен был смот-

реть в глаза... Для них, молодых, этапы биографии отца остались в давно прошедших, чуть ли не в доисторических временах. Наверное, им казалось, что для второй половины века отец слишком старомоден, не динамичен, не современен... Ну, разумеется, он преувеличивал: дочери переживали вместе с ним, жалели его. Именно жалели.

Тепча сказала:

— Чичо, не надо грустить. Ты своего добьешься. Другого, такого, как ты, в Чили нет.

— Для тебя — конечно, — с горькой улыбкой ответил он.

И запоздавший репортер, который пришел спросить Альенде о дальнейших политических планах, получил такой ответ:

— Когда я умру, на моем надгробье будут высечены слова: «Здесь покоится Сальвадор Альенде, будущий президент Чили».

Да, все это пришлось пережить: разочарование союзников, усталые соболезнования друзей, потерю уверенности в себе. Но в глубине души Альенде чувствовал — Тенча права, для левых он единственный приемлемый кандидат. Социалисты помнили, что он был одним из тех, кто стоял у колыбели партии: коммунисты ценили его как сторожника единства рабочих партий; левые радикалы и демохристиане видели в нем живое олицетворение непрерывности конституционного процесса, — и для всех, кто это знал, он был безукоризненно честным человеком, обладающим терпимостью, тактом и широтой взглядов. А самое главное — олигархия боялась именно его успеха и радовалась именно его неудаче. Правая печать обвиняла Альенде во всех смертных грехах, кроме разве что кровосмесительства, и в шутку он говорил: «Если поздно вечером я ложусь спать, ни разу сегодня не болгарный, значит, этот день я прожил впустую — или допустил какой-то промах». Он мог бы сказать о себе словами Неруды: «Кто

не громоздил ядовитые камни по течению моего бытия?» Это означало лишь одно: его победы со страхом ждали те, кому и полагалось бояться его победы.

Такие дни, как сегодня, выпадали в его жизни не часто. Он счастлив был, как ребенок: случилось то, что должно было случиться. Высокое чистое торжество справедливости, еще одно доказательство его правоты.

Нет, господа: мирный путь чилийской революции себя не исчерпал. И, как это ни парадоксально звучит, сегодняшняя суперовская авантюра — лишнее тому подтверждение.

...Шаги за спиной заставили его обернуться. Нет, это были не командующие, они не спешили подниматься по лестнице. К нему приближался капитан первого ранга Артуро Арайя, военно-морской адъютант.

Арайя щелкнул каблуками, нахлошил лобастую лысуватую голову. У него была внешность умного драматического актера: гладко выбритое, широкое, немножко отечное лицо его не имело определенного выражения и казалось полусонным.

— Ну, что, пессимист? — лукаво спросил его Альенде. — Хватает у нас рычагов власти? Кто же был прав?

Арайя развел руками.

— Разумеется, вы, президент, — ответил он без тени улыбки. — Я не посмел оказаться правым.

Погрозив ему пальцем, Альенде прошел через комнату адъютантов, Рамон Патучо остался возле лестницы, а Хосе занял свое место в приемной: оттуда в кабинет президента вела другая дверь.

В кабинете — просторном помещении с красно-зелеными стенами — Альенде сел за стол с микрофоном, жестом пригласил командующих и министра садиться.

— Можно подвести итоги, — обратился он к Хосе Тоа, — или, как обычно, еще рано?

Тоа попял намек (он имел пристрастие к фразе «под-

подить итоги еще рано») и, потрогав бороду, улыбнулся милой, застенчивой улыбкой.

— В самых общих словах,— проговорил он,— мятежники потеряли сокрушительное поражение.

— Ну, если вы так считаете,— добродушно заметил Альенде,— значит, так оно и есть.

В том, что президент позволял себе сейчас по-дружески подшучивать над добреишим Тоа, проявлялось не только его отличное настроение. Президент знал, что отношения между социалистом Тоа и профессиональными военными складывались далеко не идеально. Надо было создавать пепринужденную обстановку, как-то по-человечески приближать военных к штатскому министру. Трудно сказать, насколько это удавалось: командующие оставались замкнутыми и серьезными, как будто разговор двух гражданских их не касался. Даже Пратс — в бытность свою министром внутренних дел он частенько обращался за советом к Хосе Тоа, эти деловые отношения переросли в дружеские, и теперь генерал и министр дружили, как говорится, «домами»,— так вот, даже Карлос Пратс в присутствии коллег сохранял кастовую невозмутимость.

— Частности же таковы,— продолжал Хосе Тоа.— Мятежники сделали пятьсот выстрелов по дворцу, двадцать два человека погибло, из них семь военных, остальные гражданские... сорок пять ранено. Среди погибших — оператор аргентинского телевидения Леонардо Энрикен. Офицеры-мятежники арестованы и предстанут перед военным трибуналом.

— Двадцать два человека... — повторил Альенде.

Наступило молчание.

— Число жертв могло быть и большим,— сказал Тоа,— если бы не решительные действия правительенных войск.

— Как поступили с солдатами, втянутыми в мятеж? — спросил Альенде.

— Среди солдат арестов пет,— отвечал Хосе Тоа.— Выяснилось, что зачинщики угрожали им военным судом.

— Этого следовало ожидать,— заметил президент.

— Необходимо отметить личную храбрость генерала Пратса, руководившего операцией в центре столицы, и дивизионного генерала Бопильи, штурмовавшего с артиллерийским полком «Такна» казармы мятежников. Особо хотелось бы сказать об умелой организации обороны дворца правительства, которой руководили заместитель министра внутренних дел товарищ Вергара и лейтенант корпуса кавалерии Серхио Рейес.

— Все всякого сомнения,— сказал Альенде,— имея опыт и мужеству всех названных лиц мы обязаны сегодняшней победой. Я попрошу вас, генерал,— он повернулся к Пратсу,— представить списки всех отличившихся сегодня солдат и унтер-офицеров полков «Такна» и «Буин», а также курсантов пехотного училища.

Пратс молча кивнул.

— Какова обстановка в гарнизоне Темуко?

— В Темуко все спокойно,— ответил Пратс.— Какой-то майор из штаба округа подстрекал гарнизон поддержать мятеж, но встретил отпор офицеров.

— Какой-то майор? Хотелось бы знать, кто имея.

— Я это выясню,— коротко ответил Пратс.— Он безусловно понесет наказание.

— Надеюсь. А что происходит на базе ВВС в Киптеро, сеньор Руис?

Лысоватый плотный командующий военно-воздушными силами посмотрел на Альенде своими пемигающими глазами, выдержал паузу.

— Вы прекрасно осведомлены, президент,— как бы пехота ответил он.— Собственно, несколько летчиков из патриотических побуждений вызывались лететь к Сантьяго...

— С какой целью?

— Нанести бомбовые удары по указанию командования. Командование базы запросило меня, я ответил, что в этом нет необходимости.

Альенде помолчал.

— А транспортный самолет в Лос Серрильос был подготовлен к вылету... тоже из патриотических побуждений?

Руис усмехнулся.

— Этот вопрос можно было бы адресовать адмиралу Монтеро,— ответил он.— «Геркулес-130» был выведен на полосу по требованию военно-морского флота.

Президент повернулся к Монтеро.

— Военно-воздушная база,— сухо отвечал адмирал,— слишком ретиво откликнулась на просьбу капитана фрегата «Васкес». Командование флота ни о чем подобном авиацію не просило.

— Чего же хотел капитан «Васкеса»? — терпеливо спросил Альенде.

— Мне ничего об этом не известно,— твердо ответил генерал Руис.

— Охотно верю вам, генерал,— язвительно проговорил Монтеро.— Но капитан «Васкеса» сообщил командованию базы BBC о своем намерении послать самолетом через Лос Серрильос в столицу отряд морской пехоты.

— Для поддержки правительства, не так ли? — спросил президент.

— Боюсь, что нет,— ответил адмирал.— Капитан «Васкеса» арестован, ведется следствие.

— Еще раз повторяю,— резко сказал Руис,— мне лично об этом ничего не известно.

В наступившей тишине раздался короткий телефонный звонок, и Альенде взял трубку.

— Я, кажется, предупреждал,— гневно заговорил он,— чтобы никого...— Пауза.— Ах, вот оно что,— тон его голоса вновь стал ровным,— соединяйте, копейко.

Альенде выждал немного, обвел присутствующих веселым взглядом.

— Приветствую вас, сеньор Айльвиц,— заговорил он.— Да, абсолютный провал. Абсолютный и окончательный. Правительство полностью контролирует положение. Благодарю вас, вы очень любезны. Благодарю вас. Нельзя не оценить всей важности этого заявления.

Президент положил трубку, присутствующие почтильно молчали.

— Христианские демократы в лице Патрисио Айльвица,— сказал он,— осуждают действия мятежников и заверяют в своей полной поддержке конституционной системы.

— Весьма своевременно,— улыбаясь, проговорил Хосе Тоа.— Весьма своевременно.

7

Ресторан «Кариптия» находится на одиннадцатой милю, недалеко от авенюды Лас Кондес. В соответствии с названием внутренняя отделка его выдержана в так называемом альпийском стиле: олени рога на стенах, тяжелые стулья с высокими спинками, тщательно выскоблепные некрашеные деревянные столы. Сводчатые перекрытия с арками делят помещение ресторана на несколько обособленных маленьких залов. Официанты одеты по-тиrolьски, хозяин «Кариптии» — австриец, роскошный толстяк, охотно откладающий на имя дон Энрике и не устающий повторять, что вино и пиво ему поставляют из самой Европы (что не вполне соответствует истине). Если вы захотите здесь бутылку «Гато негро», это будет воспринято как оскорблениe заведения. Ждать вам придется долго: на ваши вопросы официант будет повторять, что сейчас за ним *куда-нибудь* пошлют. Но это не высокомерие хозяина-европейца: в целом дон Энрике неглуп и уживчив, он

умеет ценить гостеприимство страны, обеспечившей ему белебную жизнь, приличный доход и счет в швейцарском банке. Охотно подсаживаясь за столики к своим старым клиентам, дон Энрике не вмешивается в разговоры о политике. Единственный политический намек, который он себе изредка позволяет, звучит примерно так: «Когда «Каринтию» национализируют, здесь будут подавать куранто». Куранто (странная, с точки зрения европеца, смесь баранины со свининой и с морскими ракушками) в заведении дона Энрике неизменно, зато здесь можно заказать «настоящие сосиски», ростбиф, телячьи ножки с капустой или пиццель по-венески. Пиво здесь подается в тяжелых фаянсовых кружках, и пиво, надо сказать, превосходное: настоящий «нильзенер». Между тем сам дон Энрике является горячим поклонником красных чилийских вин (что не слишком выгодно отразилось на цвете его лица и толстой шеи), он знает толк и в «Токорпалесе» и в том же «Гато негро».

Постоянные посетители «Каринтии» живут по соседству, в Баррио Альто, они по телефону заказывают столик («тот самый, Энрике, ты знаешь») и оставляют машины на Лас Кондес. Долгие годы здесь, в «Каринтии», не было молодежи, влюбленные парочки обходили это заведение стороной: дорого и людно, можно натолкнуться на папу с мамой, а это не всегда удобно. Последнее время, однако, ситуация изменилась: в «Каринтию» стала захаживать молодежь — длинноволосая, в джинсовых костюмах и кожаных куртках. Нередко в центре молодежной компании оказывался какой-нибудь толстячок средних лет в черной паре, при галстуке, с чемоданчиком «атташе-кейз»: в разгар застолья чемоданчик открывался, пышные пачки эскудо и тощечные плотные — долларов мгновенно исчезали в карманах джинсовых и кожаных униформ.

Столик у выхода на Лас Кондес занимали молчаливые парни в черных свитерах и черных кордовых брюках с

черными же лакированными поясами, их мотоциклетные каски ярко-желтого цвета и дубинки с коваными металлическими наконечниками горой лежали тут же, в углу. Это были боевики «Роландо Матуса», личные гости дона Энрике, с утра до вечера евшие и пившие за его счет. Эту банду матусовцев на шею дону Энрике посадил один почтенный клиент, депутат от Национальной партии, личный друг самого Харпы. Он запугал хозяина «Кариптии» слухами о том, что миристы собираются громить Баррио Альто, и убедил его, что заведению нужна эффективная защита, поскольку на карабинеров надежда невелика. Однако с тех пор прошло уже несколько месяцев, и ни одного мириста в этих местах дон Энрике не видел...

Габриэла была здесь частой гостьей, дон Энрике давно уже приветствовал эту красивую рыжеволосую и зеленоглазую совсем юную особу, которая свободно чувствовала себя в компании деляг с «аттавис-кейзами», по не чуралась и своих сверстников в джипсовой униформе. Знаком дон Энрике и отца этой девчушки, вполне респектабельного клиента, единственным недостатком которого было неумение со вкусом одеваться: вечно какая-то кричащая деталь в его костюме выдавала неевропейца.

Дон Херардо Лария Эррасурис появлялся в «Кариптии» с моложавыми особами, приветственно махал дочери рукой, но никогда не садился с нею рядом. А Габриэла издали критически оглядывала очередную избранницу отца. Мать Габриэлы, известная мексиканская актриса, ослепительная красавица, умерла лет десять назад, и дон Херардо никак не мог от этой потери оправиться.

Свой крохотный «репо» Габриэла никогда не ставила на стоянке: вечно бросала у входа, как трехколесный велосипед, попрек дороги, с вывернутыми колесами, нередко с распахнутыми дверцами, и дон Энрике посыпал мальчишку присматривать за машиной: еще не хватало, чтобы у его ресторана произошла автомобильная кража и



доброе имя «Карштии» пошло в газеты. Это обходилось хозяину в лишнюю монету, он приносил ее к счету Габриэлы, по которому всегда платили другие. Особенно часто платил за Габриэлу крашеный, мордастый, наголо остриженный детина с близко посаженными маленькими глазками, в компаниях его звали Гато («кот»), надо полагать, это было не настоящее его имя. Впрочем, у Габриэлы тоже была кличка — Марисоль: в то время моложея Баррио Альто с увлечением играла в конспирацию — перестуки, перезвоны, сигнальные дудки, тайные системы оповещения. Для юной Габи, однако, ухватистый и матерый Гато был совершенно неподходящим партнером по играм, и на месте отца доц Энрике постарался бы этознакомство прервать.

Сейчас Габриэла-Марисоль сидела за столиком под аркой одна и исла «шильзенер», облизывая с губ пену. По мнению Энрике, девочка разыгрывала из себя Мату Хари, но вряд ли та почтенная дама так злоупотребляла пивом. Впрочем, полнота Габриэле пока еще не грозила.

Все это доц Энрике видел, стоя за декоративной стенкой, отгораживавшей его кабинет от малого зала. Само слово «кабинет» доц Энрике произносил с оттенком иронии, хотя отгороженное помещение было достаточно просторно и обставлено с европейским комфортом. Перегородка была вполне звукоизолированной, и, находясь в своем уединении, хозяин «Карштии» мог полностью контролировать обстановку в залах, а при необходимости и посматреть в специальное окошечко, замаскированное со стороны зала плашкой, к которой были прибиты огромные оленьи рога. В это окошечко доц Энрике сейчас и смотрел, подстерегая своих постоянных клиентов.

Как знать, думал доц Энрике, не останемся ли мы сегодня без гостей: день для Баррио Альто выдался черный. С утра здесь лакающие гудели клаксоны, лилось шампанское в честь «храбрых танкистов», а к вечеру Баррио

Альто приуныл. Впрочем, может быть, именно **уныние** приведет гостей в «Карнитию» на вечерний огонек — посидеть, позлословить, оплакать крушение утренних надежд.

К сегодняшнему триумфу Альенде дои Энрике отнесся спокойно: у него сложилось убеждение, что дни «товарища президента» так или иначе сочтены. Более того, размышляя дои Энрике, не является ли жалкая авантюра танкистов всего лишь попыткой усынить бдительность Альенде, внушить ему блаженную мысль о своем вессилии? Если так, то задумано и исполнено довольно хитро. Честно говоря, дои Энрике было даже жаль «товарища президента»: как-никак, его с Альенде связывало старинное, хотя и краткое знакомство — обстоятельство, которым дои Энрике втайне гордился.

В далеком 1935 году белобрысый, худощавый и бойкий сын австрийского колониста, еще не «дон» и даже не «Энрике», а Генрих, задумал посвятить себя рыботорговле и, скопив немного денег, отправился рыскать по северным провинциям в поисках надежных и не слишком избалованных близостью к столице поставщиков. Молодость, милая молодость, где ты? Сейчас дои Энрике с содроганием вспоминает все тяготы и мытарства, которые ему пришлось пережить.

В небольшом приморском поселке Кальдера, забравшись от столицы чуть ли не на тысячу миль, дои Энрике приуныл. Рыбного Эльдорадо ему так и не удалось обнаружить: местные рыбаки весь свой улов «на корню» продавали торговцам из Копьяпо, а тех совершеенно не устраивало появление в Кальдере тонкого бродячего австрийца. Как-то вечером несколько здоровенных парней подкараулили дои Энрике и, накинув ему на голову пропахший рыбой мешок, изрядно намяли ему бока — так, что он еле доковылял до дома. Опасаясь внутренних повреждений, дои Энрике попросил хозяйку послать за каким-нибудь медиком. К его удивлению и радости, вместо полуграмот-

шого заскорузлого лекаря явился плотный, по-столичному одетый человек, в полуутыне рыбакского домика показавшийся ему пожилым. Над неизделичливым коммерсантом склонилось добродушное участливое лицо с заметно определившимся двойным подбородком, при свете коптилки поблескивала оправа очков и слегка золотились усы. «Вы именец?» — слабым голосом спросил дон Энрике. Врач покачал головой. Уверенным, сильными руками он опустил постанивавшего коммерсanta и, выпрямившись, весело сказал: «Все в порядке, сеньор, па этот раз обошлось. Если будете пабегать одиноких прогулок, благополучно дожните до апоплексии, к которой, как мне кажется, вы склонны». Дон Энрике почувствовал себя задетым и проговорил: «Как и вы, доктор?» Врач усмехнулся, но спорить не стал. Когда дон Энрике, привстав па постели, начал сорвать ему деньги, врач наотрез отказался их взять: «Оставьте, ради всех свитых. Мне не нужны деньги. Я путешествую... за государственный счет». «Это невозможно, — настаивал дон Энрике, щепетильный в денежных вопросах, как и все его соотечественники. — По всему видно, что вы опытный врач. Неужели вы никогда не брали денег со своих клиентов?» «Вы льстите мне, сеньор, — со смехом возразил доктор. — Четыре раза я участвовал в конкурсах на должность ординатора, но отцы города Вальпараисо сочли меня недостойным. А практику я получил в городском морге. Мои клиенты были куда менее платежеспособны, чем вы. Давайте остановимся па том, что я буду считать вас своим несостоявшимся клиентом». И, поклевав дону Энрике благополучного выздоровления, доктор ушел.

Дон Энрике прииялся расспрашивать хозяйку. Оказалось, что это социалист, важный государственный преступник, сосланный в Кальдеру по личному указанию президента Александри. «И какой добрый человек, — сказала хозяйка, — у соседки моей Хуаниты прииял двойню и тоже денег не взял. Дай ему бог долгой жизни».

Наутро дон Энрике решил пачести ссылочному врачу ответный, так сказать, визит: культурные люди должны быть любезны друг с другом, в каких бы обстоятельствах они ни находились. Должно быть, доктор действительно был важным преступником: на окраине Кальдеры для него была поставлена армейская палатка, и, надо полагать, обитатель этой палатки, столь неудобной для жизни на берегу океана, находился под неусыпным наблюдением властей. Возле палатки под открытым небом был вкопан в землю грубо сколоченный стол, недалеко толпа босоногих ребятишек с восторгом и обожанием наблюдала, как доктор, стоя лицом к океану, делает утреннюю зарядку. Дон Энрике залюбовался его великолепным мускулистым торсом, а когда доктор обернулся, стало ясно, что это молодой человек, лет около тридцати, в полном расцвете сил. Если бы дон Энрике читал газеты, ему показалось бы знакомым это округлое ясное лицо со скорбно сложенными губами и аккуратной щеточкой рыжеватых усов. В те дни вся прогрессивная печать страны требовала возвращения этого человека из ссылки, в сепате делались запросы о его судьбе. Но обо всем этом дон Энрике узнал только впоследствии, по возвращении в Сантьяго. А там, в Кальдере, практичному австрийцу пришла в голову мысль о том, что небесполезно познакомиться поближе с государственным преступником: Чилийская Америка — страна неожиданных поворотов, и сегодняшний ссылочный мог завтра оказаться большим и влиятельным человеком в столице.

Близоруко прищурясь, опальный доктор взгляделся в лицо подошедшего и, узев его, приветливо заулыбался: «А, мой несостоявшийся клиент! Рад видеть вас в добром здравии. Не рано ли вы поднялись со своего одра?» Дон Энрике заверил доктора, что он чувствует себя превосходно, и, извещившись, доктор вошел в свою палатку и вернулся через минуту одетый. В легкой рубашке защитного цвета, в светлых брюках и сапдалиях па босу ногу, под-

типутий и легкий в движениях, но легкий не суетливо, а как бы нарочито замедленно, доктор похож был на рыболова-спортсмена, прибывшего сюда на собственной яхте, которая сейчас стоит, покачиваясь, где-нибудь поблизости, за скалой. Лицо цепкий взгляд сметливого человека, привыкшего оценивать людей по одежде (а дон Энрике обладал этой способностью смолоду), мог уловить отпечаток многолетней, застарелой и в то же время аккуратной бедности: казалась рубашка была застирана до ветхости, брюки занесены в нескольких местах.

Они уселись за стол, на котором оказалась бутылка местного светлого вина, блюдо вареной рыбы. Завязался разговор. У доктора был завидный аппетит. Отдавая должное еде и вину, он с живостью расспрашивал гостя о том, что происходит сейчас в столице. «Все только и делают, что бастуют,— сказал ему дон Энрике,— совершили отыскали работать». Такой подход к столичным делам, видимо, позабавил ссыльного. Он весело посмотрел на гостя и с улыбкой, легко и непринужденно, сменил тему разговора. Дон Энрике посетовал на неудачу своей деловой поездки, доктор выслушал его с сочувствием. «Да, сеньор, эта идея была обречена. Возить отсюда рыбу в Сантьяго — не проще ли открыть здесь, в Кальдере, на берегу океана, ресторан и привозить сюда клиентов из столицы?» Дон Энрике на минуту задумался. Сейчас уже трудно судить, но, может быть, идея «Каринтии» в тот день пустила первые корешки в его душе. «Нет, это будет невыгодно,— сказал он с уверенностью.— Прогорим». Доктор захочотал. «А почему вы решили, сеньор, что я папрапиваюсь к вам и компаниям?» «Я был бы рад,— искренно сказал дон Энрике, ему был симпатичен этот веселый человек.— Но нам это ни к чему, ваша профессия — живые деньги. О, если бы я был врачом... гинекологом, например, в Вальпараисо или лучше в Вилья-дель-Мар! Стабильные заработки, солидная клиентура, известность, связи... Разве

стал бы я мотаться по провинции, питаться бог знает чем, спать на омерзительных лохмотьях?..» «Полно, вы слишком мрачно смотрите на мир,— добродушно возразил доктор.— Вы молоды, легки на подъем, здоровы, у вас вся жизнь впереди, чего же лучше?» Веселый хмель ударили дону Энрике в голову. «О да,— сказал он с жаром,— я многое добьюсь, я это чувствую. Сейчас я побогат и мало кому известен, но лет через тридцать... посмотрим! Солидные люди будут считать за честь пожать мою руку!» О молодость, милая молодость... Сейчас дон Энрике не мог без растроганной улыбки вспомнить о своих тогдашних пылких речах. Да, он достиг кое-чего, и старость его обеспечена, но люди солидные говорят ему, старику, «ты, Энрике» и никогда не протянут руки...

Доктор смотрел на него участливо, и, почувствовав это, дон Энрике смутился. «А вы? — спросил он.— Наверно, у вас тоже есть большие надежды. Недаром же вы тратите свои лучшие годы в этой дыре!» «Надеюсь, недаром,— ответил доктор.— Но я уверен, что через тридцать лет все те, кого вы называете солидными людьми, будут чувствовать себя неуютно. Во всяком случае, я сделаю все от меня зависящее, чтобы им приплюснуло туго». Дон Энрике недоверчиво посмотрел на хозяина — лицо его было серьезно. «Да полно вам, доктор! — воскликнул дон Энрике.— В вас говорит жажды мести. Они вас послали сюда и поступили прескверно. Но вы помиритесь с ними, вы же благородный человек!» «А с этими как прикажете быть?» — спросил доктор, делая широкий жест рукой в сторону каменистого берега. Дон Энрике повернулся — и никого не увидел. «Да, да, именно с этими! — с изумлением повторил доктор.— Разве для такой жизни они родились?» Теперь дон Энрико понял: ональный доктор имел в виду ребятинск. Одетые в серое, драное, большие и маленькие, они сидели поодаль, кто на корточках, кто на крупных камнях, и не сводили глаз с доктора и с его собеседника.

Дон Энрике поспешил сунул руку в карман и, пробормотав «Ах, эти... ну да, конечно...», достал несколько мелких монеток. «Не делайте этого,— остановил его доктор.— Им не нужна ваша милостыня...» Лицо доктора стало пасмурным и недобрый, глаза сквозь очки холодно и колко блестели. Внезапно дон Энрике почувствовал, что потерял к этому человеку интерес и что это — взаимно. Он поднялся и стал прощаться. Нет, милый мой, думал он, тряся руку доктора и бормоча слова благодарности, просчитаешься ты, не на ту карту ставишь. Наивный человек: думаешь, толпа обворащцев поднимет тебя на волне. Что ж, и такое бывает. Но голытьба и есть голытьба: почувствовав поощрение, она ринется бить витрины и хватать все, что плохо лежит. А когда солидным людям надоест все это терпеть, наступит расплата... Отойдя от палатки подальше, дон Энрике остановился, свистнул, подзываю к себе ребятню. Надо отдать должное смышленым рыбачатам: многие из них заранее почуяли, чем кончится дело, и побрали вслед за доном Энрике, держась в отдалении. Дон Энрике кинул им горстку монет, началась свалка. Любопытство кипело у него не было никакого желания, и он бодро, с усмешечкой зашагал к поселку, и до самого дома его преследовали детские крики: «Дай еще! Дай мне! Мне! Дай! Дай!»

И вот опальный доктор стал хозяином Ла Мопеды, а люди его подбираются к «Каринтии» — храму, который дон Энрике воздвигал всю жизнь... Любопытно, узнал бы Альенде при встрече своего «несостоявшегося клиента»? Вряд ли: растолстел дон Энрике, обрюзг, и апоплексия действительно висит над ним как дамоклов меч. Сам Альенде очень мало изменился внешне: такой же плотный, подбранный, только больше обвисли щеки да поседели виски и усы. Ах, не стоило тебе, доктор, пренебрегать обществом солидных людей. Стоишь ты сейчас во главе разносорного сброва и гадаешь: то ли свои затопчут, то

ли чужие тебе уберут, и все опять пойдет мирно, по-старому. Черная кость так и останется черной костью, президентскими указами ее не выбелишь...

...Междуд тем рыжеволосая сеньорита кого-то ждала: она с нетерпением поглядывала в дальний конец большого зала, где был выход к стоянке машин.

В половине шестого в малый зал вошел молодой человек в ярко-рыжей куртке и таких же рыжих чрезмерно узких штанах, которые, видимо, с большим трудом были натянуты на его кривые ноги. У посетителя было смуглое плебейское лицо с бакенбардами, док Эпинке видел этого парня впервые. Вдогонку появился он через боковую дверь, которой обыкновенно пользовались в служебных целях, так как она выходила в узкий переулок, ведущий к улице Фернандо Кончи, где невозможно было припарковать автомобиль. Осмотревшись, молодой человек прошел под арку малого зала и здесь увидел сеньориту Ларин. Лицо его засияло.

— Ола, гайо! — крикнул он.— Вот я тебя и нашел!

Словечко «гайо» было в ходу среди золотой молодежи Баррио Алто (так называли здесь друг друга, без различия пола, мальчишки и девчонки «из лучших семей»), но произносилось это слово, насколько док Эпинке мог судить, с другой интонацией.

Не нужно было быть опытным физиономистом, чтобы определить, что явился совсем не тот «гайо», которого сеньорита ждала.

— А, это ты, Мемито,— безразлично проговорила Габи и отшила крохотный глоточек пива.— Как-то ты странно вошел. Через кухню, паверис?

— Нет,— широко улыбаясь, ответил парень и подсел к ее столику. Он, видимо, не чувствовал, сколько яду было в словах сеньориты Ларин и в ее крохотном демонстративном глоточке.— Я первый раз сюда попал, но мне здесь

правится. Уютное местечко. Высоковато, правда... И кор-
мит хорошо? А то поесть хочется. Ты ела?

От каждой его фразы Габриэлу коробило. Мемито говорил на языке равнины, это был тот же благородный ка-
стельяно, но все в нем — и построение фразы, и интона-
ция — казалось ей плебейским, заскорузлым.

— Откуда ты узнал, что я здесь? — вместо ответа спросила она.

— Твой отец мне сказал... по телефону.

— А кто тебе позволил разговаривать по телефону с
моим отцом?

Мемито насупился.

— Я десять дней тебя не видел, черт меня побери. Не
думал я, что ты меня так встретишь. И не зови меня Ме-
мито, ты знаешь, что я этого не люблю. Нарочно только
влишь.

— А разве там, у вас внизу, Гильермо и Мемо — это
не одно и то же? — издеваясь, спросила Габриэла.

— У нас внизу — точно так же, как у вас па-
верху.

— Ну, так в чем же дело?

Парень молчал. Право, дон Энрике от души ему посо-
чувствовал: рядом с прелестной сеньоритой Ларин все
плебейство этого Мемито так и выступало, так и шибало
и нос, и не помогали никакие кожаные доспехи, они си-
дели на нем так, будто сняты были с чужого плеча. Сам
вышедший из низов, дон Энрике был демократом, но он
понимал, что существуют непреодолимые сословные пре-
грады: клиенты «Каринтии» охотно балагурили с ним за-
столиком, но в дом к себе не пустили бы — даже на по-
рог.

Видимо, сеньорита попяля, что перегнула палку.

— Ладно, не дуйся, — дружелюбно сказала она. — При-
шел так пришел. Но на будущее, гайо, — сеньорита под-
черкнула это слово, дав наглядный урок, как его произ-
водят.

носить, — имей в виду, что большие являются сюда тебе не следует.

— Почему? — простодушно спросил Гильермо.

— Да потому, что это одиннадцатая миля. Потому что ты здесь бросаешься в глаза. И, боже мой, что за наряд, гайо, что за вкус?

— А чем тебе не правится мой наряд? — сверкнув глазами, спросил Гильермо. — Что, Гато одевается лучше?

Габриэла фыркнула.

— При чем тут Гато? Гато здесь не бывает.

Вдруг она, прищурясь, посмотрела ему в глаза.

— Мемо, дорогой, — проговорила она, понизив голос, — что я сейчас придумала! А ты, случайно, не переодетый упельенто?

Это словечко парню по пришло объяснять: наверняка не раз он слышал его на улицах. Упельентос — так Баррио Альто называл людей Народного единства (произведенное от «У Пе» — «Унидад Популяр», с ядовитым оттенком чего-то немытого, нечесаного, покрытого коростой), отося это слово ко всем миристам, люмпенам, рабочим, беднякам с равнины.

Гильермо и глазом не моргнул.

— Да, я переодетый упельенто, — сказал он с улыбкой. — А ты разве не знал? Я для тебя переоделся в эту чертову кожу, чтобы прикрыть свои розовые лица. В Винья на пляже ты их прекрасно видела.

— Ну, не надо так обострять, — несколько смущившись, проговорила Габриэла. — Ты чист, как стеклышико, я это прекрасно помню. Я просто хотела спросить: уж не из тех ли ты, с улицы Макенна? Слишком ты интересуешься персоной Гато.

Всему Сантьяго было известно, что на углу Театинос — Макенна помещается Управление службы расследований — ведомство Альфредо Жуаньяна.

— Конечно, интересуюсь, — спокойно отвечал Гильермо.

мо.— Вы обещали мио дело. Я десять дней сидел и ждал как идиот. Тут такие события... а я о них узнаю по радио.

— Да, события...— задумчиво повторила Габриэла.— Кстати, что ты обо всем этом думаешь?

— А что тут думать? Все яспо. Армейские сыграли с нами шутку. Специалько спустили со сворки этого Супера и вас, чтобы посмотреть, как будут действовать ученые. А потом ошпарили всю кипятком.

— Ерунду говоришь, гайо,— перебила его Габриэла.— Слишком хорошо ты думаешь об армейских. Все они танцуют под дудку коротышки Пратса, а он с потрохами прошёлся правительству. Некому с пами шутки шутить, не будь оптимистом.

— Некому так некому,— согласился Гильермо.

И, пододвинув свое хитрецкое волосатое лицико поближе к лицу сеньориты, спросил:

— Ну, а где же ваши тридцать два батальона боевиков, девяносто шесть рот? Где ваши разведчики, взрывники, бомбисты?

Габриэла молчала, прихлебывая из кружки пиво.

— Где же все это, гайо? — не унимался Гильермо.— Бегали по крышам там несколько идиотов, морды себе тряпками завязали... Если это и есть все ваши дела, то мне такого не надо.

— А напрасно,— облизнувшись, сказала Габриэла.— Тебе бы так пошло...

— Ладно,— стукнув кулаком по столу, перебил ее Гильермо.— Или дело давайте, или катитесь вы к чертовой матери, трепачи.

— Мемо, миленький,— Габриэла улыбалась, ласково глядя ему в лицо,— пу, помилуй, что ты говоришь? Какое я тебе могу дать дело?

— Не о тебе разговор. Я должен увидеться с Гато.

— А с Набло Родригесом не хочешь? Или, па худой конец, с Шефером?

— Шутишь, гайо,— проворчал Гильермо.— Эти уж давно в эквадорском посольстве отсиживаются. Обкакались — и в кусты.

— Откуда тебе это известно? — осведомилась Габриэла.

— Да весь город об этом говорит. Ты же не знаешь, что внизу делается. Я здесь бросаюсь в глаза, пусть так, а ты только сунься туда — в своих брючках да в своем «рено»... да еще вот в этом... — он брезгливо приподнял «этот» двумя пальцами со спинки соседнего стула, — в этом мокхеровом попчо...

— Слушай-ка, — сказала Габриэла, перекладывая пончо подальше от его рук.— Давно хочу тебя спросить, гайо: что ты вяжешься с нами? Куда ты лезешь? Тебе же самое место среди упельентос!

Гильермо потемнел лицом.

— Когда я сорил зелененъими у моря, — хранило скавал он, — мно па мое место никто не указывал. Вы здесь, наверху, я там, внизу, мно это не правится. Я тоже хочу быть наверху! И буду. И мы тогда с сэльоритой поговорим. А если Альенде пересилит, ваша милость смотрится за границу, и там мие вас вовек не достать.

— Ах, вот в чем дело, — смеялась, сказала Габриэла.— Все дело, значит, во мне. Гайо, ты очень любезен.

— Смейся, смейся, — ответил Гильермо.— Я тоже хочу тебя кое о чем спросить. Тебе-то зачем нужна вся эта грязь? Красивая, чистенькая, молодая... зачем? Я понимаю — Гато, он к власти рвется, с ним доктор Киссинджер за ручку здоровался, ему очень надо, но ты-то здесь при чем?

— А мне это просто интересно, — охотно объяснила Габриэла.— Еще никогда я так весело не жила.

Сэльорита говорила правду, дон Энрике мог бы это подтвердить. Много здесь было таких — красивых, чистеньких, юных, воспитанных в духе конформизма, в тра-

лициях лояльности к власти предержащим... С победой Альенде они как будто вырвались на волю, почувствовали пьянящий вкус иного образа мыслей, согласно которому утомительная лояльность отмелялась, добропорядочность обывалась постыдным пороком, а правонарушение возодилось в норму.

Гильермо молчал, глядя на сияориту во все глаза.

— Эй, гайо! — насмешливо сказала Габриэла. — Ты что — остеоклепел?

— Да нет... — пробормотал парень. — Это я так...

— Допей мое пиво, хочешь?

Гильермо молча кивнул.

Габриэла пебрежно подвинула к нему свою кружку. Гильермо схватил ее обеими руками и прижался с жадностью к ней. Дон Энрике крякнул и задвинул свое окошко. «Пропал бедняга», — сокрушенно подумал он. — Жаль паренька».

8

Сесар считал отца большим чудаком и пожилым пурпостком, которым должна была бы управлять умная и твердая женская рука. Со дня смерти матери прошли годы, но не нашлась еще такая женщина, которая с охотой и умением взялась бы за управление допом Херардо. И состояние его, некогда блестящее, постепенно пришло в упадок. Овдовев и не зная, чем заняться, он необдуманно вложил солидную часть капитала в эффективное предприятие, которое вылетело в трубу, что сильно подорвало веру дона Херардо в капиталистический строй. Дон Херардо сблизился с радикальным крылом христианско-демократической партии, однако не рискуя покинуть ряды ХДП вместе с группой Гарретона и остался на промежуточной позиции. Дон Херардо высоко ценил острый политический ум Радомиро Томича, любил вслед за допом Ра-

домпро потолковать о коммунистическом социализме, не понимая хорошенько, что это значит. Считал себя левее Томпча и утверждал, что ни за какие блага не согласился бы поехать послом в Вашингтон, как это сделал Томпч по настоянию Фрея. Впрочем, никто и не предлагал дону Херардо такого поста, и, как договаривали злые языки, именно это и настроило дона Херардо против Томпча и против Фрея.

Сегодня, второго июля, исполнилось ровно десять лет со дня кончины доны Арманды Ластарриа де Ларин, известной некогда в кинематографическом мире обеих Америк под именем Марисоль, и Сесар, послушный сын и исправный католик, далекий, впрочем, от мысли чтить память матери согласно требованиям официальной церкви, счел долгом своим провести этот вечер в доме отца, в кругу семьи.

Он любил этот старый особняк (или, как здесь было принято говорить на американский манер, «бапгало») под высокими густыми деревьями на Витакура... В пустынных комнатах отцовского дома еще витал дух красивой, умной и пижной женщины — его матери. Малышка Габи была и похожа на маму, и не похожа, черты ее лица почти полностью повторяли мамины (отец не мог говорить об этом без старческих слез, а Габи отворачивалась и раздраженно морщилась), по было в ней что-то по-молодому свирепое. В свое время Сесар писал несколько портретов сестры, но ни один из них ей не понравился. «Неужели я такая безобразная? — возмущалась Габриэла. — Какая-то неандерталька!»

Сесар отселился уже давно: снял депевую квартиру-студию и жил на те средства, которые мама предусмотрительно завещала ему. Средства эти быстро таяли, и дон Херардо все реже задавал вопрос, не копчился ли у него депьги. Зато отец охотно устраивал Сесару продажу его картин в хорошие дома Баррио Альто. Это случалось не

так часто, по регулярию и со временем обещало превратиться в источник скромных доходов.

Когда Сесар приехал, Габи сидела в «ливинге» за ширмой и смотрела телевизор. Оттуда доносились приглушенные крики и леденящий душу смех. Передавали сериал ужасов «Пляшущие тени», по которому сходили с ума все гайо Витакуры.

— И как ты можешь смотреть эту мертвячину? — прогорчал Сесар.

— Поэтому я и поставила ширму, — весело отозвалась Габи. — Мне здесь хорошо: сижу одна и пью пунш с персиками.

Дон Херардо, взбудораженный и нарядный, только что вернулся из конгресса, где в этот день шли горячие дебаты. Отец ценил свое положение в конгрессе, хотя выступал в палате редко и голосовал точно по указаниям Национальной хунты своей партии. Дон Херардо любил зал заседаний, высокий, как театр, с гигантскими колоннами, с балконами, где поминутно вспыхивали репортерские блины, с огромной картиной над трибуной... Обо всех перипетиях парламентских дебатов (неважно, участвовал он в них лично или нет) дон Херардо рассказывал домашним. Уны, его единственный пристойный слушатель Сесар не часто баловал отца посещениями, а Габриэла отличалась редкой для женщины нетерпимостью. Поэтому сегодня дон Херардо был счастлив, войдя в гостиную и увидев сына.

— Мой друг! — вскричал он, бросаясь к нему. — Мой друг, ты не представляешь себе, какой щелчок по носу получил сегодня в палате этот наглец, как бишь его, из Национальной партии!

Склонив голову, Сесар дал поцеловать себя в лоб. Он был намного крупнее отца, выше и мощнее, серая тройка одна не трещала по швам на его плечах.

— А кстати, — оживленно продолжал дон Херардо, отстраняясь, — каким это ветром тебя занесло? Или ты тоже

почуял, что режим Альенде доживает последние дни? За-
хотелось услышать последние новости, свеженькие, теп-
ленькие, а?

— Сесар совершенно не интересуется политикой, па-
па,— подала голос из-за ширмы Габриэла. Удивительно,
как она расслышала, о чем они говорят.— Сесар приехал к
нам не за тем. Сегодня мамина годовщина, ты разве забыл?

Она выглянула из-за ширмы и посмотрела на отца в
упор своими безжалостными светлыми глазами.

— Ах, да,— нахмурясь, проговорил дон Херардо и от-
ступил на шаг, потирая лоб,— копечно, ну как же...

Сесар пришел ему на помощь.

— А что у вас там происходило в палате? — спросил он, возвращаясь к журнальному столику, на котором стоял любимый им писко-скур — коктейль из виноградной водки, лимонного сока и яичного белка, который Габи умела готовить как истая чилийка.— Насколько я помню то,
чему меня учили, конгресс у нас имеет лишь наблюдательную функцию, или я что-то напутал?

— Ты ничего по напутал! — благодарный ему за под-
держку, заговорил дон Херардо.— Статья тридцать девять,
параграф второй. Но, видишь ли... А впрочем, что ты
пьешь?

Сесар объяснил.

— Странно,— сказал дон Херардо, усевшись в свое
глубокое кресло, куда не имел права никто садиться, кро-
ме него,— странно, а я полагал, что художники пьют один
лишь неразбавленный джин.

И, довольный шуткой, которую каждый из домашних
слышал по меньшей мере тысячу раз, дон Херардо захо-
хотал.

— Мне, будь добра, вина со льдом,— сказал он дочери,
отсмеявшись.— Надо немножко остыть, дебаты были слиш-
ком горячими.

Габи выплыла из-за ширмы и, смерив обоих мужчин спокойствием взглядом, отошла к бару.

— Послушай, она настоящая фашистка,— понизив голос, дон Херардо наклонился к сыну.— Жену я вывез из Мексики, а дочь, похоже, из самого Парагвая. Меня это, право же, начинает нервировать. За что она меня так ненавидит?

— Ты ошибаешься, папа,— возразил Сесар, смакуя свой коктейль.— Габи нас любит, обоих. Но — не такими, какие мы есть.

Склонив голову, дон Херардо прислушался к себе, потом хмыкнул.

— А это ты неплохо сказал: не такими, какие мы есть. Ну, так вот, если ты еще не знаешь: сегодня в палате обсуждался вопрос о введении в Чили осадного положения на девяносто дней.

Он поднял палец.

— На девяносто дней! Ты представляешь, на что замахнулся Альенде?

— Но позволь,— проговорил Сесар, чтобы поддержать разговор,— что же здесь такого ужасного? Была попытка переворота, а кроме того — разве осадное положение еще не введено? Меня это удивляет.

Дон Херардо вздыхнул.

— В том-то и дело, что лет! Введено чрезвычайное положение в Сантьяго и провинции, но Альенде этого мало.

— А разве есть какая-то разница? — спросил Сесар.

— Папа, Сесар притворяется,— сказала, подойдя с высоким стаканом, в котором плавали льдинки, Габриэла.— Товарищ Сото давно уже все ему объяснила. Опа читает ему политический курс каждый день.

И Габриэла, ослепительно улыбаясь, села рядом с мужчинами.

Дон Херардо насунулся. Упоминать имя Каролины в этом доме было запрещено. А вину тому было совершен-

по пустячное, даже смехотворное обстоятельство. Однажды в «Сигло» появилась довольно остроумная заметка, где имя сеньора Ларина не называлось, но речь шла о широком ярко-голубом галстуке, которым украсил свою христианско-демократическую грудь один из депутатов оппозиции. От всей души похвалив обновку, Нья Пируса (это она вела колонку «В стенах конгресса») выдвинула предположение, что эта неожиданная и радующая деталь туалета, возможно, свидетельствует о каких-то внутренних процессах в парламентской фракции ХДП, поскольку извия пока не заметно. Доц Херардо не читал коммунистической прессы, находя ее скучноватой, и на следующий день вновь надел этот галстук, совершившись не подходивший к темному депутатскому костюму. Разумеется, он был неприятно удивлен, видя, что все оборачиваются и усмехаются в кулуарах. Добрейший человек, он обиделся на Каролину, обида же его проявлялась в том, что он тщательно избегал всякого упоминания ее имени. Поэтому сегодня Габи, настроенная агрессивно, была паверияка.

— Чили — маленькая страна, — сухо проговорил доц Херардо. — В ней нет места для глобальных амбиций. Вот в чем ошибка всех наших марксистов — больших и маленьких.

Но, утолив таким образом жажду мести, он понемногу успокоился. Вновь разговарившись, прихлебывая холодное красное вино, он дельно объяснил сыну, что осадное положение, в отличие от чрезвычайного, дает президенту возможность перемещать служащих из департамента в департамент, содержать их под домашним арестом, перетряхивать государственный аппарат — и оттого ведет к установлению единоличной диктатуры.

— Естественно, ваши министры внутренних дел и обороны... — теперь уже обида дона Херардо проявлялась лишь в том, что он намеренно отождествлял Сесара с Каролиной, — всячески расхваливали осадное положение. Мы

же считаем, что зона чрезвычайного положения достаточно широка. Кроме того, у нас нет гарантий, что осадное положение не будет использовано в политических целях. Мы согласны иметь дело с Народным единством по данному вопросу, если Альенде согласится гарантировать соблюдение демократических норм.

— Он на это никогда не пойдет, — вставила Габи.

— А по-моему, Альенде уже подписывал вам какие-то гарантии, — возразил Сесар. — Разве он их не соблюдает?

— Отчего же, — благодушно рассматривая стакан на свет, согласился дон Херардо. — Альенде обязался не препятствовать деятельности оппозиции, не вводить цензуру, не ограничивать свободу слова, не вмешиваться в армейские продвижения по службе, не создавать гражданских вооруженных формирований, пу и так далее. Мы за этим следим.

— Но теперь вам этого мало.

— Разумеется, мало. Мы согласились бы на осадное положение, если бы руководство провинциями было передано вооруженным силам. Но Альенде не желает об этом и слышать.

— Еще бы! Ведь вооруженные силы подняли против него мятеж.

— Совершенно верно. Но вооруженные силы этот мятеж и подавили. Как правильно заметил этот наглец из ИП, как бишь его... ох, моя память...

Ничего дон Херардо не забыл: он был верен своей привычке не называть по именам людей, которые чем-то ему досадили.

— Ну, хорошо, неважно, как его зовут. Но в остроумии ему не отказать. Он заявил, что события пятницы двадцать девятого — дело внутреннее, военное, и позачем президенту давать какие-то особые полномочия. Но дальше из него полезла белиберда, с которой мы решительно не согласны. Он уверял, что правительство Альенде после пят-

ницы перестало быть закопытым. Мы этого не видим, равно как и видим и логики в подобных насоках. Почему именно после пятницы? Это значит в субботу? А что ужасного Альенде совершил в субботу тридцатого? И тут социалист... как бишь его там? Впрочем, неважно... встает и напоминает, что именно в субботу карабинеры вскрыли нелегальный мясной склад, принадлежавший почтенному оратору. Сотни полторы коровьих туш, три тонны расфасованного мяса... По нынешним временам — это капитал! Конфисковали и распродали с грузовиков по твердой цене, там же, на Эскобар Вильямс. Выручку, разумеется, передали хозяину. Надо было видеть лицо этого мясника, когда он спускался с трибуны!

— Дожили, — насмешливо фыркнула Габриэла. — Расфасованное мясо стало дороже бриллиантов! Скоро станем носить ожерелья из куриной печени.

Дон Херардо не оценил этой реплики.

— И всем стало ясно, — похвастывая, продолжал он, — отчего мясник злобствует.

— Ничего, — сказала Габриэла, — скоро этого мерзавца упрут за колючую проволоку. Где-нибудь на острове Мас-Афуэра.

— Ты кого имеешь в виду? — не попял дон Херардо. Глаза Габриэлы недобро блеснули.

— Ну, разумеется, социалиста, этого паршивого упельято.

Дон Херардо был огорчен.

— Что за выражения! — воскликнул он. — Откуда эта испанность в моем доме? Впрочем, я знаю, откуда: это ваш Альенде, — он направил указующий перст на Сесара, — ваш Альенде и его друзья-догматики ухитрились восстановить против себя весь средний класс. Будь у меня мало-мальски солидная недвижимость, я бы тоже не мог снять почами, я бы тоже задыхался от бешенства: проснешься — а ты уже нищий, в твоем гараже, в твоем магазине, в твоей

мастерской, которые достались тебе цепью трудов и лишений, ни с того ни с сего распоряжаются господа Мигель Энрикес и Карлос Альтамирано. Видите ли, эти досточтимые кабальерос по собираются возвращать те предприятия, которые их волосатики... извпни, дорогой... их бандиты заняли в пятницу двадцать девятого. Видите ли, они еще подумают, что возвращать, а что пет. Это ли не возмутительное беззлописие? Это ли не торжество грубой силы? Отсюда — климат петеринности, климат ненависти, в котором растут наши дети.

— Я думаю, все виноваты в создании климата ненависти, — задумчиво сказал Сесар. — И твой мясник, и ты тоже. Да, собственно, ненависть — это сущность любой политики.

— Неперю! — вскричал дон Херардо. — Мы всегда были слишком терпимы по отношению к Альенде! Мы никогда не отказывались сотрудничать с ним! В нашей программе шестьдесят девятого года, которая, кстати, так и называется «Политическое и социальное единство народа»... где оно, это единство? Где оно, если уже в моем доме слышатся разговоры о колючей проволоке? Так вот, эта программа еще тогда предусматривала соглашение с коммунистами и социалистами. Мы уже давно пришли к выводу, что необходимо отказаться от капитализма с его системой ценностей, разве это не основа для соглашения? На втором этапе выборов семидесятого года мы по предписанию Национальной хунты голосовали за Альенде, хотя лично я был против, я все предвидел уже тогда!.. Видите ли, они называют себя партиями рабочего класса! Экая монополия на рабочий класс! Да общезвестно, что большинство рабочего класса голосовало как раз за христианских демократов!

— То есть за тебя, — вставила Габриэла.

— Да, и за меня тоже. Что ты против этого имеешь?

— А мне скучно слушать ваши разговоры о рабочем

классе,— сказала Габи, помешивая в бокале свой детский коктейль.— И об Альенде тоже скучно. И все, что делает этот старик,— ужасная скуча. Я не хочу быть труженицей, работницей, не хочу, чтобы меня судили квартальными суды, не хочу, чтобы моими личными делами занималось министерство защиты семьи. Я не хочу, чтобы меня лапали паршивые упельентос.

— Бедная Габи! — засмеялся Сесар.— Бедная Габи убеждена, что вся эта суэта затеяна с единственной целью — лапать бедную Габи.

— А что ты хочешь? — серьезно возразил дон Херардо.— Наша Габи слишком красива для демократии. Красота — это тот же комплекс. Красивые люди часто склонны к тоталитаризму, я это замечал.

— Ну, что ж,— кротко сказала Габи,— если оставить слово «комплекс» на твоей отцовской совести, меня вполне устраивает это объяснение. Кстати, Сесар, товарищ Сото тоже очень хороша собой, ты не находишь?

— Ну, мошенница! — Дон Херардо захохотал.— И ведь умна, ведь умна! Горе тому, кто с тобой свяжется!

9

В понедельник девятого июля Альенде выехал в Ла Монеду чуть раньше, чем обычно, без двадцати девять. Всю ночь шел проливной дождь, по утром распогодилось, и президент попросил Хано опустить боковое стекло «Фиата».

— А не простудитесь? — спросил Хано, с неохотой выполняя просьбу.— Мне донья Ортепсия не велела...

— Ну, не такая уж я старая развалина,— недовольно возразил Альенде.— Вы с доньей Ортепсиею готовы обложить меня ватой.

— А кто прошлой зимой болел?

— Ты, друг мой, с такой гордостью об этом говоришь, как будто это твоя заслуга. Сам-то в пальто, и шарф поп какой намотал. Спортом надо было заниматься в детстве.

Хано обиделся.

— Я, товарищ президент, легкие в Мачали испортил, на медеплавильном. Серную кислоту не выпошу, стало в груди кипеть...

— Вот оно что, ну, прости. Значит, ты у меня — живой представитель элиты, рабочий аристократ?

— Бывший, товарищ президент. Бывший.

— Хорошо. Как ты думаешь, будут они там еще бастовать? Каждая их забастовка для нас — разорение.

— Я скажу так, товарищ президент, — степенно начал Хано. — Рудничный рабочий класс винить во всем нельзя. Забастовку на руднике организовать — плевое дело. Достаточно водителям подстrekнуть. Не выйдут утром автобусы от поселка к руднику — вот тебе и забастовка. Пешком-то в гору не пойдешь.

— И ты полагаешь, все дело в этом? — прищурясь, спросил Альенде.

— Ну, конечно, не только в этом. Но подговорить на забастовку целый рудник — это, скажу вам, задачка: кто согласен, кто нет. А водители всегда готовы: нерабочий они народ, к руднику не привязаны, одна в голове забота — скопить деньжонок да свой грузовичок заиметь. Сунь им в руки по кошельку — они и рады стараться. Вот такое у меня мнение. А правду говорят, товарищ президент, — Хано сделал попытку обернуться, но тут же раздумал, — правду говорят, что скоро медь пойдет в Лондоне по доллару за фунт?

— Да похоже на то, — ответил Альенде. — На сегодняшний день биржевая цена — девяносто восемь центов без малого.

— Ишь, как скачет. А давно ли было пятьдесят.

— Сорок восемь центов даже было,— с горечью сказал Альенде,— когда инки свою медь на рынок выбросили. Отомстить нам хотели... за национализацию.

— Ну, когда до доллара поднимется,— рассудил Хапо,— тогда и заживем.

— А что ж, может быть, и заживем,— весело сказал Альенде.— Как вы считаете, Артуро, заживем или нет?

Капитан Арайя, устало смежив веки, сидел рядом с президентом.

— Вам не здоровится? — участливо спросил Альенде.

— Знают немногого,— через силу отвечал Арайя.— Пустики, я всегда плохо переношу зиму.

— Холодный душ по утрам — лучшее средство от озоба.

Арайя зябко передернул плечами и усмехнулся.

— Ну, если это радикальное средство вас не устраивает,— сказал Альенде,— могу предложить прогулку. Хапо, останови машину, мы пройдемся пешком.

Хапо, взглянув в зеркало заднего вида, дал два коротких гудка, и кортеж остановился на углу Бандера и Уэрфапос.

Подбежал встревоженный Хосе.

— Что-нибудь не в порядке? — спросил он.

— Нет, нет, не волнуйся,— ответил Альенде, выходя из машины.— Мы с капитаном дойдем до дворца пешком.

Президент и Арайя медленно двинулись по бульвару Уэрфапос. Хосе сделал знак, Рамон пошел следом, в некотором отдалении, чтобы не докучать президенту своим обществом.

— Старательные ребята,— проговорил Альенде, оглянувшись.— Дай им только волю — каждый кустик на пути у нас так и будет выкрикивать: «ГАП! ГАП!» А вы не боитесь, что у вас такой опасный попутчик?

— У Пабло Родригеса плохие стрелки,— ответил Арайя.— Их тренируют отставные полковники, а это дур-

или школа. Ни разу в жизни не видел полковника, который бы хорошо стрелял.

Некоторое время оба молчали.

— Вы чем-то удручены? — спросил Альенде.

— Президент, — неожиданно энергично заговорил Арайя, — мы с вами говорили о плачах дальнейшего вовлечения военных в политическую жизнь. Мне хотелось бы изложить вам свое частное мнение. Правда, последнее время я нахожусь в офицерской среде в некоторой изоляции...

Быстро взглянув на него, Альенде хотел что-то спросить, но промолчал. Минуту они шли в тишине, затем Арайя продолжал:

— Именно поэтому я остро ощущаю, насколько косна и замкнута эта каста, насколько затемнено ее сознание, насколько низменны мотивы ее действий. Президент, там преобладает страшный нарыв. Супер проиграл лишь потому, что изговорщики более высокого ранга решили подождать другой оказии.

— У армии нет оснований быть нами недовольной, — заметил Альенде. — У армии в целом, я имею в виду. Мы тратим на нее в семь раз больше, чем тратило правительство Фрея.

Арайя горько рассмеялся.

— Что им до этого? Предел мечтаний рядового офицера — попасть на стажировку в зону Панамского канала, в какой-нибудь Форт-Гулил. Конечно, янки выгонят из него семь потов: он будет неделами мотаться по сельве, отрабатывать методы ведения перегулярной войны, питаться лягушками и змеями, учиться вспарывать кишечки кривым ножом... У нас это называется «пройти канализацию». Но зато, вернувшись с «канализации», офицер привозит машину и достаточно долларов для покупки хорошего «бандало» с кондиционером. Естественно, стажировка на Кубе ничего такого ему не даст. Так как же после этого

он будет отпоситься к нашему антиимпериализму? В лучшем случае с насмешкой. Нет, президент, офицерский корпус не готов к вовлечению в политику. Прививать ему вкус к политике — все равно что пить хищника теплой кровью...

Наступило молчание. Со стороны можно было подумать, что двое юнкеров уже братьев прогуливаются по бульвару, причем младший, в форме флотского офицера, почтительно склонив голову, готовится выслушать поздианье от старшего.

Альенде ласково смотрел на Арайю. От большинства военных Артуро отличался своей подлинной интеллигентностью — раскованностью мышления, широтой подхода к вещам и событиям. «Пока в вооруженных силах есть такие офицеры, — думал Альенде, — наше дело не безнадежно». Над Арайей не довлеял «призрак пещеры», о котором писал когда-то Бэкон, — тот свод привычных представлений, выше которого, кажется, ничего нет. Арайя принимал Народное единство как альтернативу фреевскому маразму, но, сблизившись с Альенде, передко высказывал сомнения: возможно ли осуществить задуманное, пользуясь лишь одним рычагом власти? «Помимо руля, в государственном агрегате есть и другие педали». «Например, тормоз», — пропинчески подсказывал Альенде. «Нет, я о тормозе не говорю. Я знаю, что вы не поставите ногу на тормоз. Но вот сцепление в нужный момент вам отжать не дадут. Все хорошо, пока машина движется по инерции. Впрочем, я от души желаю вам успеха».

— Отчасти вы правы, друг мой, — помолчав, сказал Альенде. — Пратс предлагал мне посыпать офицеров, помимо зоны, в ознакомительные поездки по странам мира. Дать им возможность почувствовать, что мир не пачкается и не кончается у стен Пентагона. Но это долгий процесс. Он вовсе не отменяет необходимости преобразования вооруженных сил, их демократизации и в то же время ук-

репликация их профессионального характера. Надо только, чтобы эти преобразования шли изнутри армии, по ее собственному убеждению. И я верю, что такое убеждение сохраняет — в процессе приобщения к политической жизни страны.

— Но может так получиться, — возразил Арайя, — что гораздо раньше в офицерской среде возникнет вкус к политической власти. За сорок лет этот вкус слегка притутился... по стоит начать...

— Вы так говорите, любезный мой Артуро, как будто в нашей власти пачать политизацию или ее запретить. Да если вы хотите эпать, политизация давно идет! Вооруженные силы — это по отъемлемая часть общества, и все, что происходит в обществе, непосредственно касается вооруженных сил. Не из швейцарских же наемников они, черт возьми, состоят. Такие же чилийцы, как мы с вами. Поэтому изолированность от политики есть вещь принципиально невозможная. Опасна лишь однопартийная политизация вооруженных сил: это — раскол! Вы говорите об автомашинах и домиках с кондиционерами, которые приходят из Панамы наши стажеры. Но ведь не помешало же это армии поддержать национализацию медных рудников. Как вы думаете, отчего? Ведь эта мера больше хлестнула по империализму якис. Или вы думаете, что в Форт-Гулико плохо промывают мозги? Нет, дело в том, что национализация меди — каждому чилийцу ясно — идет на пользу нации, а крепнущая экономика — это растущая обороноспособность, в чем вооруженные силы, несомненно, запретированы, не станете же вы это отрицать!

Арайя молчал. Он снял фуражку, заложил руки за спину и упорно смотрел себе под ноги, не поднимая глаз.

— Вот по такому пути должна пойти политизация армии, — мягко, но настойчиво говорил Альенде. — Армия в политическом смысле для нас — это устойчивый элемент системы, обеспечивающий непрерывность конституционно-

го процесса, что на пышном этапе означает — обеспечивающий необратимость перемен.

— Гарант, верховный арбитр, — глухо проговорил Арайя, — страховая компания, к которой в критический момент может обратиться кто угодно...

— Отчего же кто угодно? Мы, и только мы, имеем на это право. Наши реформы должны принести ощутимый успех, который в первую очередь почувствуют на себе народные массы. А следом и армия осознает, что граница национальной безопасности проходит не только по рубежам, но и внутри страны, что страна без голодных, безработных и неимущих выигрывает не в последнюю очередь именно с точки зрения обороноспособности.

— Пока эта мысль дойдет до последнего супера... — вяло проговорил Арайя.

Альенде посмотрел на него выжидательно, по капитан не договорил.

— Наденьте фуражку, прохладно, — сказал Альенде. — И вдумайтесь, Артуро, от чего вы пытаетесь меня предотвратить. Прекратить, запретить политизацию армии — это же значит окончательно превратить ее в касту, замкнутую и косную. Не с этого ли мы начали наш разговор?

Они подошли к углу Ля Монеды. На Моранде, напротив президентского входа, уже собралась толпа. Прохожие замедляли шаги, останавливались, ждали, когда президент подойдет. В толпе, на голову возвышаясь над остальными, виднелась фигура Рамона: щурясь, как от яркого солнца, он зорко поглядывал вокруг.

— Смотрите, а Патучо уже здесь! — засмеялся Альенде. — Наверно, проклинает нас за то, что мы прибавили ему работенки.

Увидев, что президент смотрит в их сторону, люди замахали руками.

— Я вас не убедил? — вполголоса спросил Альенде.

— Не знаю, — ответил Арайя, — меня терзают дурные

предчувствия... Нет, не стрелки Родригеса держат нас под прицелом: другие, профессиональные стрелки.

Он посмотрел на президента — и спохватился: лицо Альенде, такое оживленное с утра, стало серым, измученным.

— Простите, я вас огорчил. До Чичо, я и в самом деле поддался дурному самочувствию! Ну как мне искупить свою вину? Взгляните: вас ждут одни только женщины! Альенде невесело рассмеялся.

— Хитрец! Да, с женщинами мне всегда не везло: они упорно голосуют против меня. Наверное, я недостаточно для них импозантен.

Они подошли к толпе. Альенде, улыбаясь, стал здороваться с людьми. Руку одной девчушки, круглоголовой, смуглой щекой, он задержал в своей руке; рядом с нею, цепко держась за ее юбку, стояла девочка лет пяти.

— Дочка? — спросил Альенде.

— Сестрёнка, — зарумянившись оттого, что все обратили на нее внимание, ответила девушка. — Очень хотела посмотреть на товарища президента.

Альенде наклонился, потрепал по голове девочку, которая весело и без всякого стеснения его разглядывала.

— Как тебя зовут, маленькая сеньорита? — спросил Альенде.

— Лусита, — бойко ответила девочка.

— Ну, Лусита, посмотрела на товарища президента? Обыкновенный старичок, правда? Наверное, ты разочарована?

— Да, разочаровала, — сказала Лус, отчетливо выговаривая новое для нее слово.

Сестра растерялась и покраснела до слез, а Альенде от души рассмеялся.

— Кого же ты ожидала увидеть? — спросил он.

Девочка поняла, что она отвечает не совсем так, как следовало бы, но все равно упрямо ответила:

— Я думала, вы весь красный.

Кругом заулыбались. Даже капитан Арайя болезненно улыбнулся.

— Я же не винил, что ты придешь на меня посмотреть,— серьезно сказал Альенде.— В следующий раз, когда ты придешь, я сделаюсь весь совершенно красивый.

Лус посмотрела на него, потом на сестру и спросила:

— Весь? Или как мама?

— Это она меня так зовет,— поспешило объяснила девушка,— а на самом деле меня зовут Мануэла.

— Ну вот, совсем смутили Мануэлу,— сказал Альенде, смеясь.— Вы учитесь? Работаете?

— Работаю,— торопливо ответила Мануэла.— Вернее, работала, а сейчас... Я скоро уезжаю учиться.

— Вот как! Поздравляю. И куда, если не секрет?

— В Гавану,— гордо ответила Мануэла, покраснев при этом еще больше.

— Это прекрасно,— сказал Альенде.— Обещаю вам, Мануэла: через год, когда вы приедете на каникулы, жизнь будет лучше, намного лучше.

— Я знаю,— ответила Мануэла.

— А! — Альенде поднял палец.— Вот я вас и поймал! Значит, сейчас не так уж хорошо?

Но этим Мануэлу было не сбить.

— Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня,— отвечала она.

— Ну так уж сегодня лучше? — допытывался Альенде.— Рис приходится на черном рынке покупать, ведь так? И растительное масло тоже?

— Ну и что? — возразила Мануэла.— Все это временные трудности. Зато сахар с Кубы привезли, двенадцать тысяч тонн, я читала. Раньше как питались? Хуже некуда. А в магазинах полки ломились. Вот поднимутся цены на мед — и все станет хорошо.

— Смотрите,— Альенде, сияя от удовольствия, повернулся к адъютанту.— Смотрите, как нам товарищ Мануэла все хорошо объяснила. Государственное мыслит!

— Нет, я еще не все сказала! — с детским простодушием заторопилась Мануэла, и пожилые женщины вокруг, понимая весь юмор ситуации, стали переглядываться и пересмеиваться.— Еще, конечно, спекулянты продукты придерживают, чтобы цены взвинтить: мыло, гвозди, нитки разные, даже аспирин.

— Зубную пасту,— подсказали из толпы.

— Вот, зубную пасту! — подхватила Мануэла.— И должны нам остались от Фрея, тоже надо расплатиться, а отсрочки не дают! Вы не беспокойтесь, товарищ Альенде, мы все понимаем! Режим экономии и дисциплины, борьба с инфляцией и черным рынком...

Рамон, незаметно пробравшийся поближе к девушке, наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Она растерянно умолкла, постояла немножко и повторила:

— Мы все понимаем, товарищ Альенде!

— Спасибо вам, Мануэла,— сказал Альенде.— Спасибо за то, что вы все понимаете.

И, повернувшись, быстро зашагал к Ла Монеде. В двух шагах остановился, подозвал к себе жестом Рамона.

— Славная девочка,— сказал он, когда Патучо подбежал.— Кстати, о чем это ты с ней першепентылися?

— Да так,— глядя в сторону, ответил Рамон.

— Что значит «так»? — рассердился Альенде.— Оборвал человека на полуслове — это не «так»! Хотел, наверно, поскорее сдать меня на руки дворцовой охране? Торопились куда-нибудь?

— Товарищ президент! — взмолился не ожидавший такого упрека Рамон.— Я просто предложил ей: «Давай-ка, чада, поговорим на эту тему со мной... после работы».

— А кстати, Рамон, ты женат? — спросил Альенде.

— Так точно, товарищ президент,— ответил Рамон.— Спасибо за внимание.

— Ну, так вот. Передай Хосе, чтобы он назначил тебе трое суток ареста.

10

В этот день вооруженные силы отмечали девяносто первую годовщину битвы при Консепсьоне. Торжественные церемонии должны были состояться в полках «Так-па», «Буки», «Пуэнте Альто», в пехотном училище. Посо-воевавших с военными, Альенде решил посетить пехотное училище, состав которого отличился в пятницу двадцать девятого. Сегодня по традиции курсанты-новички приносили воинскую присягу.

Выехали в половине одиннадцатого. Вместе с президентом на церемонию направлялись командующий сухопутными силами Прате, новый министр обороны Клодомиро Альмейда и бывший министр обороны Хосе Тоа, несколько дней назад оставивший этот пост. Со стороны начальника училища полковника Леонардо Кенинга было большой любезностью послать приглашение и министру, и экс-министру. Тоа хотел отклонить приглашение по недороду, но Альенде удалось его уговорить: эмоции не должны влиять на отношения с вооруженными силами, а кроме того, полковник Кенинг, по некоторым данным, готовил бывшему министру какой-то сюрприз.

Леопардо Кенинг, невысокий сухопарый пруссак с жестким лицом нестуপенно-шунктуального человека, начал церемонию ровно в одиннадцать. Он был похож на инструктора в кирасирском полку, где в молодости служил Альенде. Тот был настолько пруссак, что даже не старался правильно говорить по-испански. Дон Леонардо, напротив, безупречно владел «кастельяно». Немецкие колони-

сты в Чили поздравляли своих сыновей в военные училища, считая военную карьеру в этой стране наиболее перспективной.

Под звуки гимна «Старые знамена» на плацу были выстроены курсанты-новички, прошедшие предварительную воинскую подготовку. Молодые ребята, будущие пехотные офицеры, в боевых касках и полевом спарожении, выглядели как заправские вояки. Альенде вглядывался в их юные судорожные застывшие лица: поистине в простых солдатских душах ничего не изменилось с тех пор, как он, молодой кирасир, был приведен к воинской присяге в Енилья-дель-Мар без малого пятьдесят лет тому назад. То же высокое напряжение мицуты, та же волна восторженной любви к пожилым людям, стоящим перед строем и олицетворяющим сейчас для этих полудетей Родину... «Наш президент,— читал он в глазах курсантов,— наш командующий, наши министры...» Вот — чистая доска, на которой огненными буквами может быть начертан любой приказ. Нет, тысячу раз не прав капитан Арайя, армия адорова, трагические предчувствия обманывают его. Надо явить не допустить, чтобы эти святые в своей готовности души оказались игрушками в руках бессовестных честолюбцев... надо добиться того, чтобы на высших командных постах находились надежные, преданные конституции генералы, искрение заинтересованные в усиле грандиозного социального сдвига.

Спокойный и деловитый, но и в этой деловитости несомненно штатский, стоял рядом с президентом Клодомиро Альенде. Чуть поодаль, высоко подняв голову, с видом обезоруженного, но не побежденного рыцаря,— Хосе Тоа. Слева от Альенде — привыкший за долгие годы службы к подобным торжествам и оттого менее подобранный, почти безразличный генерал Пратс.

Фанфары, барабанщая дробь, вносят знамена. Древки — горизонтальны, тяжелая с шитьем и кистями ткань почти

каслется земли. И, вытянув руку вперед, курсанты повторяют слова присяги:

— Клянусь... перед богом и этим знаменем... верно служить... своей родине...

Отгремела присяга, вновь запели фанфары: «Слушайте все!» Слово — президенту республики.

— В этом воинском соединении,— заговорил Альянде,— на страницах из бронзы и славы живет и дышит история нашей страны. Нехота, издавна носившая гордое имя «царица полей», навсегда останется незыблемой базой чилийской истории. Армия — это душа народа и в то же время сам Народ в униформе...

Звонкие, бряцающие слова, лишенные серьезного смысла. Но, увы, по-другому здесь говорить было нельзя. Странная и в то же время вполне понятная вещь: президент республики не может сказать своим солдатам то, что он считал бы нужным сказать. Малейшее отклонение от канонического, тщательно выверенного текста — и шум в конгрессе, в печати: Альянде политизирует армию, ведет к расколу в рядах вооруженных сил, подрывает национальную безопасность страны! Но эти юноши, светло глядящие на него из-под хмурых, тяжелых касок,— неужели они не чувствуют муки безопасности в словах своего главнокомандующего?

— Ваши наставники, видимо, часто повторяют вам на занятиях: «Вариантов много, а решение всегда только одно — то, которое приводит к победе». Я и сам слышал в молодости эту фразу от своего ротного командира. В более широком смысле решение у армии действительно только одно: верность конституции, безупречное выполнение воинского долга...

Да, напряженность вибрировала в самом воздухе над этим уточтанным плацем, над плотными каре будущих офицеров пехоты. Здесь проходили невидимые оголенные провода чудовищного напряжения.

— Ваши старшие товарищи с оружием в руках подтвердили эту решимость армии на центральных площадях столицы, защищая под командованием испытанных генералов народную власть...

Даже слова «защищая народную власть» были уже опасным приближением к грозной линии проводов. Лицо полковника Кенинга словно окостенело, Клодомиро Альмейда переступил с ноги на ногу, Хосе Тоа еще разче вскинул бороду и шевельнул кадыком. А глаза из-под касок смотрели на Альенде с бездумным восторгом. Курсантов наверняка учили, что власть не может быть народной или антинародной, все это политические определения: если власть конституционная, то она просто власть. Впрочем, как судить, почему их учили? Хосе Тоа был в этом училище четыре раза, и ему так и не удалось побеседовать с курсантами. Всякий раз часы его посещения долго и тщательно согласовывались, как будто он был не министром обороны, а представителем враждебной державы, и в результате оказывалось, что курсанты уведены на стрельбище или на полевые учения. Преподаватели в офицерских мундирах (они стояли в стороне от высоких гостей, и Альенде чувствовал их настороженное внимание) ревностно оберегали своих питомцев от всякого влияния извне. «Мы — профессионалы, — всем своим видом говорили они, — мы знаем свое дело и, как нам кажется, знаем его достаточно хорошо».

Что поделаешь, армия, долгие годы не воевавшая, становится первой и митильной, как стареющая супруга. Здесь и гордыня, и комплекс неполноценности: смутное опасение, что могут вовсе без нее обойтись.

Альенде устал от этой речи и, как всегда с ним бывало, когда он выступал перед воинскими частями, остался недоволен собой. Все как будто сказано верно, все уговоры, гласные и негласные, соблюdenы, но отчего такая неприятная опустошенност в душе? Он успокаивал себя тем, что

личный контакт, устанавливающийся между оратором и массой на гражданском митинге, здесь невозможен, а именно личного контакта ему и недостает.

Вслед за президентом несколько слов сказал полковник Кеппинг. Он суховато упомянул о генерале Шнейдере, который предпочел умереть, но остался верным конституции. При этом — ни слова о том, что генерал Шнейдер пал жертвой заговора: слова начальника училища можно было истолковать так, что предшественник Пратса ушел из жизни добровольно. Злого умысла здесь, разумеется, не было: единственный умысел заключался в том, чтобы избежать малейшего политического намека.

И все-таки намек прозвучал:

— Пусть оружие, — заключил свою речь полковник, — мирно покончется в пирамидах наших казарм!

Резко подчеркнутое «наших казарм» не случайно упало последней каплей в пастившую тишину. Как раз на днях в печати началась кампания под лозунгами «Левые тайно вооружают своих сторонников», «На фабриках — нелегальные склады оружия». Видимо, речь полковника Кеппинга тоже былазвещена — до последнего слова.

Грянул гимн пехотного училища, и перед почетными гостями прошли парадным маршем три роты курсантов, которые с сегодняшнего дня стали профессиональными военными. Полковник Кеппинг и генерал Пратс смотрели на плотно сбитые ряды курсантов с удовольствием. Со стороны можно было подумать, что Альенде тоже поглощен созерцанием марша-парада. Но мысли его были далеко от этих несложных воинских радостей.

Послезавтра — День национального достоинства, предстоит выступать перед рабочими-медиками на руднике «Эль Сальвадор». В былые времена встречи с медиками доставляли ему живейшую радость: спланные, дружные, уверенные в своей правоте люди, золотой фонд рабочего класса, ядро нации... Выступавшие перед ними политики

и скучились на лестные слова, и они принимали это как должное: «Да, на нас держится страна, мы куем зарплату Чили». Что же теперь? Рудники национализированы, буквально вырваны из лап североамериканских монополий, и медики могут спокойно трудиться на благо нации, а вместо этого они, с тем же сознанием своей правоты, бастуют, требуют от правительства все нового и нового повышения своей и без того достаточно высокой зарплаты. Да, их подстрекают к забастовкам те, кто не заинтересован в укреплении при Народном единстве экономической мощи страны. Подстрекают, но ведь не призывают! Добряк Хано не прав: никакие переговоры с транспортом не могут заставить горняков и медеплавильщиков начать забастовку, если они этого не хотят. Как объяснить этим людям, что после национализации забастовки на рудниках — преступлы? Добыча меди сократилась на двадцать процентов, дошло до того, что приходится закупать медь в США, чтобы выполнить договорные обязательства перед другими странами, иначе — плати огромные неустойки. А себестоимость меди практически сравнялась с ее ценой на мировом рынке. «Зарплата Чили...» Сегодня медики получают в три-четыре раза больше, чем до национализации, и требуют еще большего. Вот и выходит, что чеканка зарплаты Чили стоит теперь дороже, чем выбитый на ней поминал. Общее слагается из частного, но далеко не тем простым и механическим способом, как здесь, на плацу...

Или — аграрная реформа. Нужды доказывать, что она жизненно необходима, — попросту нет. Фрей начал ее, но, естественно, не довел до конца. Народное единство взяло на себя обязательство завершить аграрную реформу. Помещик, никогда не имевший земли, стал хозяином надела. Но в итоге посевные площади не выросли, как ожидалось, а наоборот — сократились на четверть. Помещик получил от нас надел, засеял часть его кукурузой (впервые в жизни засеял для себя, для своей семьи) — и у него на дворе

праздник: голодать его детишки большие не будут, а всю полученную землю обрабатывать ему ни к чему, о государстве же думать он сице не привык. Было ли это предсказуемо? Или такие непредугаданные последствия неизбежны? Иными словами — наша ли близорукость всему виной или бывающая через край сложность живой многомерной жизни? В любом случае благая идея сама по себе еще не может быть регулятором человеческих отношений. Не поздно ли мы начинаем понимать это?

По окончании марша-парада полковник Кенинг пригласил гостей пройти по учебным помещениям. Альенде и Тоа с улыбкой переглянулись: который раз уже педантичный начальник училища, идя чуть сбоку и сзади, как командир почетного караула, проводил их по одним и тем же коридорам (класс стрелкового оружия, класс военной тактики с макетами рельефа Атакамы для проигрывания тактических задач, гигантский подвал для стрельбы из личного оружия), не отклоняясь от маршрута ни на шаг. При желании в этом можно было увидеть враждебность, но, может быть, именно так охраняется святая святых воинского професионализма? Ведь для Кенинга высокие гости были всего лишь штатскими. По кузнице и по обувной мастерской вас проведут точно так же, снисходительно показывая что-то и облегченно вздыхая, когда вы уйдете и можно будет вернуться к работе.

Клодомиро Альмейда внимательно выслушивал скучные комментарии полковника. Он даже задал несколько дельных вопросов и получил осторожный ответ.

— В первый раз я все записывал себе в книжечку, — шепнул, наклонившись к Альенде, Хосе Тоа. — Точно школьник на экскурсии в Национальном музее.

В этот момент любезный хозяин впервые за все время визита обратился к бывшему министру обороны.

— Сеньор Тоа! — торжественно произнес полковник Кенинг.

Они стояли в центре зала, где «экскурсии» обычно завершались.

— Сеньор Тоа, вы были в нашем училище не однажды, — Тоа с улыбкой поклонился, — и покорили сердца пехотинцев. Позвольте, — полковник оглянулся, и двое дюжих курсантов поспешили впесли что-то тяжелое, закрытое белой матерней, — позвольте вручить вам памятный подарок от всего инструкторско-преподавательского состава училища: бюст солдата-пехотинца времен битвы при Консепсьоне.

Преподаватели в офицерских мундирах, приятно улыбаясь, дружно зааплодировали. В самых изысканных выражениях Хосе Тоа поблагодарил хозяев, и бюст был вынесен на улицу, к автомобилям.

Во дворец Алленде и Тоа возвращались в одной машине. Алльейда и Пратс направились на очередную юбилейную церемонию, а президент еще должен был посетить выставку известного советского художника — своего рода творческий отчет о поездке по Чили.

— Хранят свою политическую невинность, — ворчал Хосе Тоа, — как девицы из хороших домов. Мы покупаем им самые дорогие подарки: французские вертолеты — по-жалуйста, английские истребители — ради бога, хотите крейсер — вот вам целых два, подводные лодки — развлекайтесь на здоровье. А они тайком открывают в американских банках долларовые счета.

— Друг мой Хосе, ты це оригинал, — весело отвечал Алленде. — Когда пашу любовь отвергают, мы сразу требуем вернуть все подарки назад.

Но Хосе Тоа меньше всего сейчас был расположен шутить.

— Нет, в самом деле, — не успокаивался он, — перед уходом в отставку я подписал решение о строительстве трех тысяч офицерских домов. Три тысячи домов! Целый город. И принимают как должное, не моргнув глазом.

Может быть, мы слишком перед ними заносчиваем? Может быть, тем самым мы обнаруживаем в их глазах нашу слабость?

— А как ты посоветуешь продемонстрировать им нашу силу?

Тоа молчал.

11

Квартира Сесара находилась в районе Парке Форесталь, недалеко от школы изящных искусств. Каролина приехала туда в воскресенье утром, чтобы поработать над текстом выступления по телевидению: Оливарес пригласил ее на седьмой канал, в завтрашнюю программу «Парламент-73». А если честно сказать, ей просто хотелось похвастаться перед Сесаром, что в понедельник он сможет увидеть ее на экране. Правда, для этого Сесару придется ехать на Витакура к отцу: телевизора у себя в квартире он не держал из принципа.

В самом предложении Оливареса не было ничего удивительного и неожиданного: Каролина считалась специалистом по парламентским делам, вдобавок была вполне телегенична, и Аугусто сам удивился, как это раньше ему не приходила в голову эта идея.

Набросок выступления Каролина сделала дома. Суть его заключалась в том, что парламент выдвигает против министров по нескольку конституционных обвинений ежедневно, без всякой нужды, исключительно для практики, чтобы не потерять квалификации,— так шулер машинально тасует карты, набивая себе руку. Можно использовать и фельетонный прием: министр выходит из дома, садится в машину, здоровается с профтером — прекрасно, правительство кокетничает с народом. Не повод ли это для конституционного обвинения? Ах, он не стал здороваться за руку, ограничился кивком? Как далеко зашла бюрократизация

аппарата Народного единства! Министр высокомерен с падом, нация не может ему этого простить.

Сесара дома не было. Решив, что он уехал на этюды и был застигнут дождем, Каролина огорчилась. Но возвращаться домой не имело смысла. Она открыла дверь своим ключом — и ужаснулась беспорядку, который царил в квартире: только холостяк с аристократическими замашками мог превратить свое жилье в такой хлев. На полу валялись опустошенные тюбики из-под краски (некоторые выдавлены, оттого что хозяин на них наступил), скомканные листы плотной бумаги, пахнущие растворителем тряпки, которыми Сесар вытирали кисти, и пустые баллончики от фиксатора для пастели. И, помянув недобрым словом балованную сестрицу Сесара, которая могла бы хоть раз в неделю заехать сюда и прибраться, Каролина принялась за работу.

Габриэлу она видела здесь лишь однажды. Было это незадолго до «Танкаса». Так же как сегодня, открыв дверь своим ключом, Каролина вошла — и остановилась в оцепенении. Сесар стоял у окна, обнимая за плечи высокую худенькую девушку с распущенными по плечам пушистыми рыжими волосами, и что-то шутливо ей бормотал, потираясь щекой о ее голову. На девушке были тугие джинсы и ярко-зеленая шелковая блуза, надетая на голое тело. Когда оба опи обернулись, Каролине захотелось провалиться сквозь землю. Она оскорблению вскинула голову и произнесла первое, что пришло на ум: «Простите, я, кажется, опиблась дверью». Тогда девчонка фыркнула, закашлялась и со смехом проговорила: «И ключом! И ключом тоже».

Габриэла чувствовала себя здесь хозяйкой: церемонно познакомившись с Каролиной, она еще долго ходила по студии, рассматривала картины, кривилась пренебрежительно и что-то при этом жевала.

Надо сказать, Каролина тоже не считала Сесара очень

талантливым и, если бы он спросил ее мнение, оказалась бы в затруднительном положении: она по-детски гордилась своей прямотой и не смогла бы уйти от ответа. Но Сесар был достаточно проницателен, чтобы не спрашивать.

Богатый баловень, не знающий, чем запастись, — таким она воспринимала его вначале. Позднее, по некоторым отрывочным его репликам, поняла, что он серьезно мучается своей, как он говорил, работой, пытается что-то найти. Но подробнее рассказывать Сесар не хотел, а она не настаивала. «Пытаюсь, не получается», — вот все, что Каролина от него слышала.

Познакомились они на репетициях спектакля в Католическом университете. Сесар окончил там Школу архитектуры и по старой памяти приносил в студенческий театр эскизы декораций, которые постановщикам безумно нравились. Каролина должна была написать об этом спектакле, который обещал стать событием в театральной жизни. Но спектакль заглох на репетициях — к огорчению всех заинтересованных лиц, за исключением Сесара и Каролины, которые были настроены чрезвычайно юмористически. Это их сблизило; у Сесара оказался веселый и добрый нрав. Он был совестлив, деликатен, отзывчив, единственный его недостаток заключался в сомнительном, с точки зрения некоторых, происхождении, но к происхождению своему Сесар относился пренебрежительно.

Тогда Сесар предложил написать ее портрет, и Каролина, поколебавшись, согласилась. Так она впервые попала в его студию в районе Парке Форесталь. Портрет, в голубоватых тонах, на темно-синем фоне, висел у Каролины над изголовьем ее постели, и подруги восхищались необыкновенным сходством. Даже Сарита, уверенная, что «этот момъячо» (мумия, реакционер) ни на что не способен, не хотя признавала, что Сесару удалось схватить что-то неуловимое — холодноватую и горькую складку губ, затаенное смятение в глазах.

Но это была не его манера: сам Сесар вовсе не считал этот почти реалистический портрет своим достижением.

— Я нарисовал, что я тебя люблю и знаю,— просто объяснял он.— И еще — что я люблю и знаю Модильяни.

Здесь, в студии, висел другой ее портрет, написанный Сесаром «для себя». Каролина его не любила. На фоне плоско раскрашенных акватинтой прямоугольных гор стояла тонконогая девочка с круглым, растерянно смеющимся лицом, прикрывающая обеими руками обнаженную грудь. Несколько раз Каролина заводила разговор о том, что пора уже спрятать это уродство подальше, но Сесар, не обижаясь, смеялся и твердо стоял на своем:

— Я тебя такой вижу, и все. Настоящая Нья Пируса, А на том, другом, компаньера Каролина Сото. Я понял объяснил?

Картины Сесара были Каролине чужды: размытые темные вариации на библейские темы, неправдоподобно пестрые горные пейзажи. Подлинные горы за окном студии выглядели куда скромнее, Каролина и сейчас недоумевала, где Сесар разглядел эти ярмарочные цвета. Последнее время он рисовал городские пейзажи, зимний дождь: казалось, с неба льют ведрами краску. На одном из этюдов Каролина как-то разглядела красно-зеленые знамена — то ли над отражениями огней в мокрой брускатке, то ли над запрокинувшей лицо тощей. Обрадованная, поинтересовалась с деланным равнодушием, зачем он это нарисовал.

— Знамена? — с улыбкой уточнил Сесар.— Да их у вас столько, что трудно найти перекресток, где бы они не висели.

Каролина, разумеется, не считала себя большим знатоком, но убеждена была, что искусство чуждым политике быть не может.

— Тебе нужна публика? — допытывалась она.

— Ну, допустим, нужна, — неохотно отвечал Сесар.

— А где публика — там уже и политика, никаку от этого не уйдешь!

Сесар пожимал плечами.

— Да пойми, — горячилась Каролина, — аполитичность — это тоже политическая позиция, как в математике отсутствие знака — тоже азарт. Значит, и тебя кто-то использует в своих целях.

— Меня это не волнует, — спокойно отвечал Сесар. — Все и вся используется в чьих-то целях. Важно, что я об этом не знаю.

— Не знаешь или не желаешь знать? — наступала Каролина.

— Мне некогда об этом думать.

— Чем же ты так занят?

— Я рисую. Работаю.

— Но это же не самоцель! Для чего ты рисуешь? Для кого?

— В конечном счете для себя. А значит — для всех. Ты хотела бы, чтобы я рисовал партийные плакаты?

— По крайней мере, тогда бы ты был хоть чем-то полезен.

— Что за чепуха, Пирусита! — мягко говорил Сесар. — Кому, какой партии полезен Матисс?

— Почему обязательно Матисс? Ты еще скажи Веласкес. А Сикейрос, Ороско, Ривера?

— Если бы они меньше писали плакатов, как художники они только выиграли бы. «Родина или смерть! Мы победим!» Пустые слова! И правые, и левые их повторяют. Что за выбор такой нелепый — родина или смерть? Кто вам его предлагает? Я попимаю — «кошелек или жизнь»...

— О да, «кошелек» — это тебе уже близко.

— Не делай из меня толстосуму. И, ради бога, не втягивай меня в свою возню. Твой политический азарт я считаю ребяческим: меня он умилляет и трогает, но не больше. Когда начнется заваруха, я не стану разбираться, кто

прав, кто пиноват. Я помчусь тебя выручать. Только тебя, и никого больше. Я чищец, художник, христианин, я люблю тебя — этих убеждений с меня достаточно.

— Но ты веришь, по крайней мере, что я — на стороне справедливости?

— Верю. Верю, что все порядочные люди выступают на стороне справедливости. Я знаю, что доктор Альенде — глубоко порядочный человек, твой сенатор Корвалан — тоже. Впрочем, сенатор Томич тоже порядочный человек, я взялся бы за его портрет. А вот у сеньора Харпы лицо недостойного человека. Ну, как, с твоей точки зрения, я разбираюсь в политике?

Эти споры были бесплодны, они утомляли, как мучительный бег на месте.

В прошлый понедельник они вместе ходили в Национальный музей на выставку русского художника. Там они видели Альенде. Сесар с большим интересом наблюдал, как окруженный свитой президент идет от картины к картине. Сам автор, сопровождая его, через переводчика давал какие-то пояснения. Альенде слушал, кивал. Лицо его было серьезно, он не высказывал неумеренных восторгов и на картины смотрел просто, не отступая с прищуром, не делая глубокомысленных замечаний, — словом, по изображая из себя тонкого ценителя, каким он, возможно, себя и не считал.

— Молодец, — сказал Сесар, — люблю, когда так смотрят картины.

Случайно Альенде оглянулся, увидел Каролину, улыбнулся ей, кивком попросил подойти. Каролина потянула за собой Сесара.

— А тебе не стыдно, — спросил вполголоса Сесар, — идти к президенту с таким деклассированным элементом, как я?

Узнав, что Сесар художник, Альенде спросил его, исправилась ли ему выставка.

— О да,— сказал Сесар, и у Каролины замерло сердце: вдруг случится что-нибудь не то? — Этот художник пишет так, как, во моим понятиям, должен писать художник с родины Достоевского и Толстого.

Альенде внимательно посмотрел на Сесара, потом на встревоженную Каролину. Что-то похожее на сочувствие мелькало у него в глазах.

— У вас это почему-то звучит как осуждение,— проговорил он, хмурясь.

Сесар улыбнулся:

— Президент, по моим понятиям, наш гость должен писать именно так. Это очевидно. А очевидности в живописи быть не должно.

Альенде помедлил, повернулся к переводчику, хотел сделать знак, чтобы тот не передавал гостю содержание разговора, но у гостя было такое заинтересованное, радостно-удивленное лицо, что Альенде передумал.

— Я не силен в теории живописи,— сказал он поторопливо,— и не могу судить, чего в ней быть не должно. Но в этих картинах я вижу боль и радость за нас, чилийцев. Человек из России понимает нас по-своему, радуется и сострадает нам по-своему — что же тут плохого? На этих портретах — родные нам, креольские лица. Пусть через их иконописные глаза на нас глядит иная душа, по — душа!

Сесар молчал.

— А ведь бывает и так,— продолжал Альенде, все более оживляясь и обращаясь уже не столько к Сесару, сколько ко всем окружающим,— что наш соотечественник, художник, не испытывает ни сострадания, ни радости за свой народ. И я задаю себе вопрос: а художник ли он вообще?

Гость стоял чуть в стороне и, поглядывая то на бородатого гиганта Сесара, то на президента, вслушиваясь в то, что говорил ему вполголоса переводчик. Видно было, что гость изголодался по настоящей беседе.

— О'Хиггинс в изгнании, — продолжал Альенде, — писал по памяти чилийские пейзажи, писал, тоскуя по родине, нашу весну, а сколько мастеров обрекают себя на добровольное духовное изгнание или, если хотите, заточение, не выглядывая из окон своих артистических темниц! Что им мешает посмотреть наружу, в лица и души чилийца и чилийки, как это сделал наш гость из России? Что им мешает? Пренебрежение к реальности? Страх перед именем? Может быть, стыд? Или — простая зависимость от суда богатых меценатов? Нетворческие чувства, не правда ли?

Сесар молчал. Деликатный Альенде давал ему возможность сделать вид, что вопрос не обращен прямо к нему.

— Ну, что, попало тебе? — смеясь от облегчения, спросила Каролина, когда Альенде в окружении своей свиты отошел.

Сесар пожал плечами.

— А почему ты решила, что он читал вправоучение мне? Разве ты ему обо мне рассказывала?

Несколько смутившись, Каролина покачала головой. Вопрос был не так уж и прост... Во всяком случае, на него нельзя было однозначно ответить. «Послушайте, Лина, — сказал однажды Альенде. — Вы что-то выглядите подавленной, мне это не нравится. Он что же, не считает возможным жениться?» «Нет, Тата, я сама не хочу, — ответила ему Каролина. — Он слишком далек от нас, это мешает». Вот и весь разговор.

— Ну, так вот, — невозмутимо заключил Сесар. — Он не мог говорить обо мне, потому что не видел моих картин.

— А если бы видел? — лукаво проговорила Каролина. — О, как ты самопадеян, оказывается!

...Сесар вернулся ближе к вечеру, усталый, мокрый и продрогший. Спутанная шевелюра его сверкала от дождевых брызг.

— Черт знает что! — пробормотал он, входя в переднюю. — В центре все улицы залиты водой по колено.

— Где ты был? — сухо спросила Каролина.

— В кинотеатре, — ответил Сесар, расчесывая мокрые волосы. — Смотрел кинокартину «Один». А что мне было делать? Ты же теперь большой человек, общаясь исключительно с сенаторами.

Каролина пожала плечами, помчалась на кухню, включила в колонке газ: надо было согреть воду для ванной.

— А все-таки, если серьезно, — спросила она, вернувшись. — Где ты пропадал в такой дождь?

— Если серьезно — то в соборе Майпу, слушая проповедь кардинала Эпикеса. Потрясающая новость, — улыбаясь, добавил Сесар. — Оказывается, отчий дом нашей церкви — среди бедняков.

— С каких пор ты стал посещать воскресные службы? — спросила Каролина, пытаясь скрыть досаду.

— Ну, как же можно такое пропустить? Сегодня праздник святой Кармен, покровительницы вооруженных сил.

— И что с того?

Сесар стала серьезным.

— Слушай, что я скажу, это важно. Не спрашивай, от кого я это узнал, но сегодня в соборе Майпу при стечении народа должны были сработать ящики с динамитом.

Каролина побледнела.

— И ты, — все еще стараясь не верить, проговорила она, — отправился туда на этюды?

— Очень грубая шутка, — с досадой проговорил Сесар. — Порою тебе изменяет вкус. Ты приготовила что-нибудь поесть? И немедленно выпить.

— Да, конечно, — машинально ответила Каролина, глядя в сторону. Значит, вот как... не получилось с «Танкасом» — они решили с провоцировать армию по-другому. — От кого ты это узнал?

— Мы же договорились,— морщась, Сесар снимал мокрые ботинки.

— Прости, я имела в виду — это... этот источник заслуживает доверия?

— Похоже, что так,— Сесар сокрушенно рассматривал мокрые следы на полу.— Я сказал этому источнику, что непременно поеду туда, и пусть знают все, что это стыдно — убивать безоружных людей вроде меня.

— И тогда?..

— И тогда источник занервничал, и я понял, что это серьезно, и поехал сегодня в Майву, и опа не сработала.

— Кто «опа»?

Сесар рассмеялся.

— Нын Пируса, вы ревнивы. «Опа» — это адская машина. Я был очень рад, что она не сработала: толпа собралась огромная, не повернуться, не прдохнуть. Кардинал заклинал не начинать гражданской войны. Люди плачали и молились, грешило их, плачущих, убивать.

— И тебе не было страшно? — гляди на него в упор, спросила Каролина.

— Конечно, страшно,— Сесар подошел к ней, обнял ее за плечи,— что я никогда не увижу тебя. Ведь на небесах мы не встретимся, у тебя другие небеса.

Уткнувшись лицом в его плечо, Каролина мозчала.

— Ты не думай,— гладя ее по голове, продолжая Сесар,— я далек от мысли, что этим что-то предотвратил. Но на всякий случай «стюарту» свою поставил на видном месте, чтобы они знали: я здесь. А возможно, им было налевать на меня, просто что-то испортилось. Либо рассудили, что слишком мало офицеров в соборе; им ведь надо офицеров побольше взорвать.

— Ты хороший,— сказала Каролина.— Ты очень хороший.

— Ну, конечно,— сказал Сесар.— Я даже лучше, чем ты думавши. Я настолько хорош, что мне даже прислали

приглашены в театр «Ориенте» на концерт Жюльетт Греко. Это будет двадцать пятого вечером. Пойдешь со мной?

— С тобой — куда хочешь, — ответила Каролина.

Отсторонилась, постояла, пошла к телефону.

— Передай Жуаньяну привет, — сказал Сесар. — И спроси, как там с камерой, которую я подобрал.

— Пленка уже проявлена, — ответила Каролина, держа в руке трубку. — Ужасные кадры: человек снял собственную смерть. Солдат стреляет в него, а он это снимает. Потом камера падает, продолжая снимать и в надежии...

— Черт побери... — сказал Сесар и посмотрел на свои ладони. — А я это держал... трогал...

Каролина удивленно посмотрела на Сесара — и поняла, что он не шутит. Лицо его было болезненно исхажено, он потирал руки, одну о другую, как будто пытался с них что-то стереть.

— Тебя просяли поблагодарить, — проговорила Каролина растерянно. — Не беспокойся, я не называла твоё имя. Я сказала «один знакомый».

— Очень мило с твоей стороны... — пробормотал Сесар, продолжая с зябкой дрожью потирать руки.

...Ящик динамика, о котором проболтавшись Габи, взорвался на рассвете следующего дня — не в Сантьяго, а в Винья-дель-Мар, в доме флотских офицеров.

12

Вечером шестнадцатого июля члены группы ПИЛ, к которой был приписан Гильермо, собрались у Адольфо. Отец его, полковник ВВС Фернандо Шиллинг Рохас, служил на базе в Эль-Бельто и появлялся дома раз в две недели, так что квартира была в их подиум распоряжений. Полковник держал Адольфо в черном теле, воспитывал военному, вспышая: «Я сам себя сделал и горжусь этим; хочу, чтобы и ты имел основания гордиться собой». Соб-

стремно, это было их внутреннее семейное дело, но виски и кока-колу пришлось добывать Укке: уезжая на свою базу, полковник не оставлял в доме ничего лишнего. В холодильниках и на кухне было пусто и денег — ни единой монеты. Деньги, положим, Адольфо доставать удавалось: его дядя-холостяк, владелец фабрики прохладительных напитков, считал его своим единственным наследником. Но в день «Таппако» фабрика была захвачена бойцами социалистической партии, возвращать ее не спешили, поэтому Адольфо не рисковал обращаться к дяде в такие трудные времена. Долгов под будущее наследство он падал уже порядочно, во то были крупные долги, мелочиться Адольфо не хотел.

Укка приволок с собой бутылку «Хейга», джип «Гордо» и ящик баючной кока-колы, не забыл и несколько пачек сингапурских сигарет с доброй примесью травы. Достать все эти блага ему было нетрудно, поскольку он сам ими и торговал.

Всем был хорош парень Укка, покладистый и безотказный,— одна была у него неприятная черта: любил рассказывать о своих амурных приключениях, называя девушки «жерточками», и, глядя на его паршивенькое лицико с острыми зубами да помнище о кличке Этьондо («вонючка»), которому наградили Укку в отряде, Гильермо испытывал чувство, близкое к тошноте.

Адольфо рядом с ними обоими чувствовал себя ущемленным. Вечное безденежье как-то не шло к его происхождению и аристократической внешности, и оттого он пыжился, пытаясь по поводу и без повода подчеркивать свою интеллектуальную мощь. Вот и сегодня, пока Гильермо и Укка раскладывали на низком столике принесенное добро, Адольфо сидел в плетеном кресле ноги на ногу и читал газету. По телевизору передавали прошлогодний фестиваль итальянской песни, «орлатори» старались перезванивать друг друга, по это Шиллингу не мешало. Гильермо

несколько раз уже многозначительно на него поглядывал, собираясь сказать пару слов, но Укка глуповато подмигивал: оставь его, пусть сидит.

Они собирались отметить начало тотального наступления, объявленного по всем боевым группам ПИЛ. И, разумеется, свою операцию: сегодня рано утром они бросили из автомобиля бутылку с горючей смесью в колледж на улице Серды. За рулем сидел Адольфо, бросал Гильермо, Укка просто был на подхвате и, когда удирали от карабинерского джипа, указывал повороты. Несколько дней назад подобная же операция закончилась для другой группы весьма плачевно: карабинеры догнали этих тихоходов и взяли троих.

— Нет, вы только послушайте! — воскликнул из-за газеты Адольфо. — Какой великолепный ход! «Годовщина Джакарты. Коммунисты имели в правительстве Индонезии три министерских портфеля, огромное влияние на президента и широкую сеть проникновения в средства массовой пропаганды...» Стиль, однако... Ладно, слушайте дальше. «Вооруженные силы Индонезии не смогли сдержать давления антикоммунистических настроений народа и вынуждены были вмешаться. Чем это кончилось, мир хорошо помнит. Реки, заполненные трупами, мостовые, залитые кровью, истребление по политическим мотивам, уничтожение целых семей...» Как вам это нравится?

— Где это? — спросил Гильермо. — А, «Меркурио». Ясно.

— А при чем тут Индонезия? — спросил Укка. — Я что-то не совсем понимаю...

Адольфо положил газету на колени и презрительно на него посмотрел.

— Видимо, клиенты твои еще большие, чем ты, идиоты, — раздраженно произнося каждое слово, сказал он, — раз они позволяют тебе их обжекливать. Так им и надо.

— Я работаю честно, — обиделся Укка.

Ему можно было говорить в лицо что угодно — что он
тупица, вонючка, подопох, и он только радостно сме-
лся, но обвинять его в жульничестве значило перегибать
палку.

— Да я сейчас, если хочешь, позвоню по десяти телев-
фонам и скажу: «Привезите сюда сто тысяч эскудо». Че-
рез час у нас будет здесь, на столе, миллионы. Ты так смо-
жешь? Нет. А зачем говоришь? Привезут, потому что мне
верят. В нашем деле без доверия пельзя. Так что там
стрилось в Индонезии?

— О боже,— вздохнул Адольфо.— Да пе в Индонезии,
у нас. Коммунисты в правительстве, коммунисты везде
проникают, коммунисты вертят президентом как хотят,
народ недоволен.

— Нет, у нас не так,— возразил Укка.— У нас не ком-
мунисты, у нас марксисты, это похуже. Это отборный со-
всего мира народ.

— Будь по-твоему,— великолушно согласился Адоль-
фо.— Так вот, когда в Индонезии было так, как у нас, во-
енные не сидели в казармах сложа руки. Они выложили на
стол кулаки, и реки заполнились трупами.

— Давно? — поинтересовался Укка.

— Восемь лет назад.

— Ну, что ж, молодцы,— сказал Укка.— А у нас Аль-
енде сел на сто лет. Говорят, скоро будем питаться одной
мороженой рыбой да этой, как ее, киттишой с русских ко-
раблей. Я слышал, сам Маркс любил рыбу, вот и нас
ищельентос хотят приучить к рыбе, чтобы лучше у них
дело пошло.

Эту шутку все слышали уже тысячу раз, поэтому засме-
ялся только сам Укка.

— Ты знаешь,— сказал Шиллингу Гильермо,— я тоже
что-то не понял. «Меркурио» хочет, чтобы военные выло-
жили на стол кулаки. Ну, а мы тогда ни при чем, так по-
лучается?

— Мы тоже делаем свое дело,— возразил Адольфо.— Мы делаем жизнь людей пепыносимой. Только в таких условиях военные могут вмешаться.

— Расчищаем путь генералам? А потом: «Прочь, быдло, расступись, танки идут». Так, что ли?

— А ты что же,— насмешливо спросил Адольфо,— рассчитываешь на мистерский пост?

— Мне твоих постов не надо, я сам себе пост. Но у меня нет папаши полковника, а ради чужих офицерских сынов я еще подумаю, стоит ли стараться.

— Что же после Супера не подумал?

— Супер — это еще не армия. Так, штурмовой батальон. А армия пусть лучше сидит в казармах, мы без нее справимся.

— Еще один законник нашелся,— пробормотал Адольфо.— Вот, пожалуйста,— он щелкнул пальцами по газете,— какие интервью дают ваши генералы. «Демократическая традиция в Чили помешает вооруженным силам быть ввергнутыми в гражданскую войну. Когда народ смело устремлен в будущее...» Ну, и так далее и тому подобное.

— Кто это, Пратс? — спросил Укка.

— Да нет, не Прате. Компаньеро Аугусто Пиночет Угарте. Марксистский выдвиженец, при Альенде в гору пошел. Такая же красная шапка, как Пратс, как Шнейдер, как вся эта сволочь, не одержавшая ни одной победы. Прав мой отец: генералы без войны загнивают на корню, как перезрелые ананасы. Книги пишут, преподают, интеллектуалов из себя корчат. Так что напрасно мы спорим: не будет у нас Джакарты. Все будет не так, а как — не знаю.

— Да, проморгали мы своих генералов,— сказал Укка.— А посему выпьем. Черт с ними, сделаем дело — всех их на пенсию, старых козлов. Выпьем, ребята. Чтобы нам было лучше, а им — хуже.

— Пабло говорит, среднее офицерство не рассчитывает на повышение,— продолжал Адольфо,— пока эти должители сидят наверху. Они как пробка: не вышибешь — не нальешь.

В день «Танкасо» Адольфо отвозил Пабло Родригеса к посольству Эквадора. Этим их знакомство и ограничилось, но Адольфо не уставал подчеркивать, что он у Пабло был доверенным человеком.

Раздался телефонный звонок. Адольфо протянул руку, но Укка, ближе сидевший к аппарату, опередил его.

— Вас слушают,— проговорил он, и вдруг мордочка его замаслилась.— А кто его спрашивает? Одну минуточку, сеньорита.

Он протянул трубку Гильермо.

— Тебя, Мемо,— сказал он.— Из наших какая-то «жертвочка».

Гильермо схватил трубку.

— Сидите, пьянеете, скоты? — услышал он сердитый голос Габриэлы.— Не вздумай называть меня по имени, слышишь? Или ты не способен ничего понимать?

— Нет, почему же, способен,— хрюплю пробормотал Гильермо, и Укка хихикнул.

— Хочешь увидеть Гато?

— Хочу.

— Увидишь — расхочешь,— зловеще сказала Габриэла.— Так вот, слушай. Немедленно уноси оттуда ноги. Отребью своему объясни, что тебя вызывает подружка, скучилась, сил нету ждать.

— Ты это вправду?..— спросил Гильермо.

— Молчи, идиот. Конечно, нет. Повторяю: срочно уходи как можно дальше. Есть у тебя где отсидеться неделю?

— Найду.

— Так вот, сиди и не дыши. Сейчас к вам приедет Гато, зубы будет считать. А у него, знаешь ли, рука тяжелая.

— Но почему?

— «Почему»... — передразнила Габи. — Кретины, бутылку как следует не могли бросить. Там же ничего не загорелось, школьники потушили. И все наши бумаги достались Жуаньяну. Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю.

— Так вот, уходи и скажи мне спасибо. Мне тебя просто жалко. А этим ничего не говори: должен же Гато на ком-то отвести душу.

— Хорошо, жди, сейчас приеду.

— Ты с ума сошел! Куда приедешь?

— К тебе.

— Да кто тебя пустит? Звони мне ежедневно вот в это время, попля? Минута в минуту.

И Габриала положила трубку.

— Такие вот дела, ребята, — бодрым голосом сказал Гильермо. — Приглашают на «Нежность рыси», фильм для мальчиков и взрослых. Придется идти.

— Мы ее знаем? — завистливо спросил Адольфо.

— Откуда, — ответил вместо Гильермо Укка. — Аристократка, красавица. Ничего себе Мемо подобрал «жертвочку».

— Откуда ты знаешь? — Адольфо был недоволен: чужие успехи его всегда печалили.

— Да выговор у нее богатый. Голосочком так и играет. А что красотка — это я всегда по голосу узнаю. Бывает, идет впереди девчонка, лица не видно...

— Ладно, парни, я пошел, — сказал Гильермо.

Он вышел на улицу, на углу оглянулся, свернул в переулок. Встал за дерево, вытянулся, притих. Минуту спустя в дальнем конце улицы вспыхнули фары, и к дому подкатил серебряный «ситроен». Плотный мужчина с бычьей шеей и наголо остриженной головой вылез из кабинки, огляделвшись, аккуратно замер машину. Обошел ее со всех сторон, подергал дверцы. Потом вошел в подъезд.

Какое-то время Гильермо стоял неподвижно, видимо, раздумывая. Нет, это был не Гато. Фигура, рост — все похоже, но Гато не стал бы беспокоиться за машину, и этому он просто не привык. Вместо Гато прибыл какой-то «седяк».

Гильермо усмехнулся.

— Проверочка, — пробормотал он. — Не побегу ли я к Жуаньяну. Ну-ну, крошка Габи. Ну-ну.

И быстро зашагал прочь.

13

Загородная резиденция Альенде Серро-Кастильо находилась на полпути между Вальпараисо и Вилья-дель-Мар. Это был старинный замок колониальных времен, стоящий на высоком холме. С застекленной террасы открывался чудесный вид, слышен был шум океана. Летом Альенде отдавал замок в распоряжение детей, которые группами приезжали сюда отдыхать. Но сейчас, в середине зимы, резиденция пустовала даже по воскресеньям.

Утром двадцать второго июля на террасе вокруг белого металлического столика сидели преадепт Альенде, генерал Пратс, сенатор Альтамирано, сенатор Корвалан. По беранде гулял холодный ветер. Альенде был в кожаной куртке, Луис Корвалан — в серой пиджачной тройке. На ходившийся, с пушистыми седыми висками, Корвалан непрерывно курил. Любимое его светло-коричневое пончо, аккуратно свернутое, припорощенное пеплом, лежало у него на коленях. Пратс держал фуражку в руках, негустые волосы его с пробором, зачесанные назад, были слегка изъерошены, что придавало ему несколько обескураженный вид.

Лицо Альтамирано запоминалось: напряженно сжатые губы, острый нос с гневным волевым рисунком поздней. Даже очки на этом лице сидели неспокойно, и казалось,

что опи возбуждению блестят. Внешность человека, испепеляемого внутренним огнем.

— Христианские демократы,— напористо, резко говорил Альтамирапо,— это хвостовой вагон реакции, его болтает то влево, то вправо, но поступательное движение от этого не меняется. Переговоры с христианскими демократами, то есть с Фреем, Айльвином и компанией, свидетельствовали бы в глазах реакции лишь о нашей способности управлять страшой, а это с неизбежностью поставило бы их в сильную позицию и позволило бы им добиваться того, чтобы стремление к компромиссу переродилось в согласие капитулировать...

Все слушали молча, сосредоточенно, не перебивая. Глаза Альенде за стеклами очков были прикрыты. В голове его все еще шумел холодный дождь, застигший их в пути.

...Стеклоочистители машины работали беспрерывно: дождь то обрупался на крышу машины, то утихал, и с океана сеялась мелкая водяная пыль. Шоссе блестело от воды, временами все вокруг затягивалось белой сверкающей пеленой, и дорога, казалось, пропадала в облачном небе, но потом машину встряхивало порывом ветра, мгла рассеивалась, и слева от шоссе проступала сочная, сейчас седая от измороси, зелень, справа начинали чернеть скалы, между которыми мелькали небольшие пляжи, светлые рядом с темной, вспухшей громадой океана. Жалко выглядели сейчас, в разгар зимних ливней, ярко выкрашенные летние домики, повернутые зеркальными окнами к океану...

— Как генеральный секретарь Социалистической партии Чили,— гневно говорил Альтамирапо,— я со всей определенностью заявляю: мы, чилийские социалисты, принципиально выступаем против любых переговоров с ХДП: христианские демократы — не тот партнер, с которым можно было бы обсуждать перспективы социалисти-

ческого развития революции. И кто утверждает, что такое обсуждение возможно, тот в лучшем случае обманывает самого себя. В марксистской революционной практике не было случая, чтобы партия буржуазии была заинтересована в социалистической перспективе.

...Холодный зимний ливень, бурный, но холодный. В молодости своей, здесь в Вальпараисо, Альенде слышал немало зажигательных революционных речей, за которыми стояло пепоимание реальности. «Признать реальность? Да это все равно что примириться с пею, капитулировать перед ней!»

О, как говорили в дни его молодости, на заре тридцатых годов, безымянные ораторы Вальпараисо, сторонники Кропоткина, молодые революционные католики и не менее революционные ибанисты! Бледные, одухотворенные, жгущие словом не столько чужие, сколько свои собственные сердца... Надо было видеть, как, закоптив свою пламенную речь (о преступной роли государства, о евангелическом братстве обездоленных, о социализме духа — да мало ли о чем еще!), такой говорун, с бледным и лоснящимся от волнения лицом, с затуманившимися гордостью глазами, пробирался сквозь толпу, пульсируя каждым своим нервом — так, что это чувствовалось на расстоянии... и отправлялся, окруженный небольшой кучкой прихожанцев, в дешевую таверну, чтобы проглотить там что-нибудь наспех, не чувствуя вкуса, и вновь ринуться в гущу очередного митинга... «Как ты говорил сегодня, друг мой, как ты говорил!..»

А митинги шли один за другим: то была иолоса организации социалистической партии, Альенде считал себя обязанным присутствовать на всех собраниях социалистов. И вот вечерами, опустошенный после трех-четырех вскрытий (покончила с собой уличная женщина, скончался от пиррояза почки сорокалетний мужчина — кормилец семьи из десяти человек, бездомный старик окоченел почью —

это в райской долине! — прикорпнув у обочины шоссе), Альенде надевал свой единственный потертый, но еще приличный костюм и отправлялся на митинг единомышленников. Всей внешностью своей он был похож на тех, кого по-испански призывают называть «помощниками соискателя вакансии исполняющего обязанности претендента на должность ассистента», и если уж выходил на трибуну, то дельно и скучно говорил о двух сортах молока — для бедных и для богатых, о проституции среди несовершеннолетних, о спецодежде для работающей молодежи, — словом, как всякий узкий специалист, шел к общим выводам сквозь дебри ползучего pragmatизма.

— Вы бросите в толпу революционный лозунг, — говорил он, — и, допустим, вас поймут, вам поверят и лозунг этот подхватят. Но когда бедняки, задирая головы к вашей трибуне, будут восторженно выкрикивать ваши боевые призывы, не поленитесь, не побрезгуйте заглянуть в их рты — и вы увидите, что у семидесяти из ста гнилые, разрушенные зубы, а остальным тридцати попросту нечем жевать.

— И что же? — нетерпеливо спрашивали его говоруны.

— Возможно, это научит вас трезвости. Народ на наших плакатах слишком уж белозуб, это иллюзия. Надо видеть реальность во всех ее мелочах.

Увы, кощовка речи была у него, по обыкновению, слабой, и даже те, кто прислушивался к Альенде, недоуменно пожимали плечами.

В студенческие годы Альенде состоял в революционной группе со звонким называнием «Наступление». То был тридцать первый год, год радостных и нетерпеливых ожиданий. В группу входило четыреста студентов университета, убежденных в необходимости сокрушить старый, безнадежно устаревший мир. Однажды на собрании был зачитан манифест, призывающий к немедленному созданию

чилийских Советов рабочих, солдатских и студенческих депутатов. Во время чтения в зале неоднократно вспыхивали овации. Тогда Альенде вышел на трибуну и заявил, что это глупость или сумасшествие, что для создания Советов нет никаких предпосылок, что революции не делаются в университетах, и лично он никогда не подпишет документ, которого потом будет стыдиться.

Вначале аудитория оцепенела. Затем поднялся шум, вспоминанье, крики «Долой!». Одна из авторов манифеста, бледный от ярости (это был первый в жизни Альенде случай, когда он почувствовал на себе ненависть не реакционера, но почти единомышленника, — ощущение былоовое и, надо сказать, поразительно острое), вскочил с места и тут же, не вдаваясь в дискуссию, предложил голосовать за исключение Альенде из «Наступления»: «Таким реакционерам нет места в наших рядах!»

Все время, пока шел подсчет голосов, Альенде стоял на трибуне. Поднялся лес рук: из четырехсот только двадцати воздержались, все остальные единодушно проголосовали за исключение. И председательствующий потребовал, чтобы Альенде покинул зал.

«Быть молодым и не быть революционером — здесь есть какое-то биологическое отклонение!» — кричал с трибуны новый оратор, когда Альенде шел через зал к выходу.

И любопытная вещь: из тех четырехсот только двое действительно связали свои судьбы с революционным движением. Остальные, получив дипломы, дружными рядами вступили в истеблишмент. Студенчество в то годы было значительно более, чем сейчас, привилегированной категорией, владельцы латифундий и держатели крупных банковских вкладов не мешали своим отпрыскам играть в революцию, и, став уже президентом, просматривая списки на экспроприацию и национализацию, Альенде передко встречал имена своих бывших товарищей по «Наступлению»...

Между тем он внимательно слушал Альтамирано — во всяком случае, следил за ходом его рассуждений. Необходимость переговоров с христианскими демократами была ясна и самому Альенде, и Корвалану, и Пратсу. Однако руководство социалистической партии решительно отвергало идею переговоров.

— Пусть мне ответят на вопрос, — запальчиво говорил Альтамирано, — можем ли мы рассчитывать на то, что сеньоры Фрей и Айльвии будут искренне сотрудничать с нами в деле построения социализма?

Альтамирано умолк.

— Прежде всего, — истеропливо начал Альенде, — этап социалистического развития в Чили еще не наступил. Наше правительство, часколько я понимаю, является антиимпериалистическим, антиолигархическим и демократическим, оно должно открыть путь к строительству социализма.

— Социалисты Чили придерживаются иной позиции, — вооразил Альтамирано.

Генеральный секретарь социалистической партии был вынужден говорить от имени большинства: три года назад за выдвижение Альенде кандидатом на пост президента голосовали лишь двенадцать членов Центрального комитета, в то время как тридцать (в том числе и сам Альтамирано) при голосовании воздержались.

— Кроме того, — продолжал Альенде, короткой паузой показав, что он принимает это возражение к сведению, — говорить о христианских демократах как о единой однородной партии буржуазии неправильно. Надо смотреть в лицо фактам: за христианскими демократами идет значительная часть масс.

— Вот и давайте, — подхватил Альтамирано, — устанавливать контакты с ними на уровне масс, на уровне низовых организаций, против этого мы никогда не возражали и сами делаем шаги в этом направлении. Но речь-то,

расколько можно судить, идет о переговорах с Патрисио Альвишом, то есть с партийной верхушкой, а не с винами?

Сенатор Корвалан затянулся сигаретой, обронил пепел на стол, аккуратно смел его в ладонь, не вынимая сигареты изо рта, ссыпал пепел в плошку, стоящую перед ним на столе и уже наполовину заполненную окурками. Пратс и Альтамирано, первый — сскутившись, второй — напряженно вытягивши спину, сосредоточенно наблюдали, как он это делает. У Корвалана была редкая способность — молча дать понять, что он собирается говорить и ждет внимания.

— Партийная верхушка, — сказал он, — также не ограничивается одним сеньором Альвишом. Среди руководителей этой партии есть люди, которые неоднократно заявляли, что выступают за новое общество, за новую демократию, за новую экономику, за замену системы ценностей капитализма. Здесь на нынешнем этапе нашей революции у нас есть точки соприкосновения с ними.

Альтамирано усмехнулся.

— Боюсь, что разговоры о том, чем именую христианские демократы собираются заменить систему ценностей капитализма, — отпариювал он, — уведут нас крайне далеко от насущных задач нашей революции.

— Опуская термин «социалистическая революция», — с улыбкой сказал Корвалан, — товарищ Альтамирано, если только это не случайная оговорка, дает нам надежду, что мы все-таки придем к согласованному решению. Ибо, если признать, что революция в Чили находится сейчас на своем демократическом антиимпериалистическом этапе, придется осознать и необходимость расширения социальной базы правительства.

— Включив в него и представителей христианских демократов? — саркастически осведомился Альтамирано.

— Нет, цель диалога иная, — возразил Корвалан, — и об этом уже говорил товарищ Альенде: добиться конструктивного сотрудничества со всеми демократическими кругами страны — чтобы достигнутые завоевания были закреплены, гражданская война как угроза — сила с повестки дня, а из нынешнего острого и критического положения найден взаимно приемлемый выход. Тем самым, и только так, мы добьемся решения своей главной задачи — открыть путь к строительству социализма.

— Утратив при этом свою роль гегемона, — жестко сказал Альтамирано.

— А что, — спросил Корвалан, взглянув на Альенда, — разве мы сами назначаем себя гегемонами? Нашу гегемонию должны признать наши союзники, только тогда гегемония рабочего класса перестанет быть венцом в себе.

— Итак, позиции изложены, — сказал Альтамирано. — Мне остается лишь повторить то, с чего мы начали: в случае начала переговоров с ХДП мы, социалисты, не исключаем возможности выхода нашей партии из Народного единства.

Наступило молчание. Пратс шумно вздохнул и, достав из кармана платок, вытер лоб. Альтамирано бегло взглянул на него и счел необходимым добавить:

— Поскольку мы не разделяем мнения, что можно строить социализм с опорой на христианских демократов.

Альенде сидел, скрестив руки на груди, и добродушно жмурился. Можно было подумать, что он наслаждается остротой спора и выразительностью паузы: так ридовой шахматист, наблюдающий за поединком первоклассных бойцов, после энергичного хода готов блаженство замурлыкать. Но добродушие его было сейчас напускным. Когда конфликт между социалистами и коммунистами обострялся, Альенде чувствовал себя особенно одиноким.

Друзья из масонской ложи, в которую Альенде входил по семейной традиции, нередко спрашивали его:

— Послушай, не слишком ли ты посыпься с этим единством? Их бесконечные распри губят твою политическую карьеру. Зачем тебе это нужно?

— Видите ли, дорогие друзья,— отвечал им Альенде,— я — социалист по убеждению, и здравый смысл подсказывает мне, что социализм без участия коммунистов — безнадежное дело. Есть люди, у которых приверженность к социализму является чисто платонической, таким единственно и к чему, но я не из их числа.

— Роль миротворца, которому достается с обеих сторон,— такая роль тебя устраивает?

— Я не чувствую себя миротворцем. Я рядовой политический деятель, и для чилийской революции я функционально необходим как олицетворение конституционной преемственности, как олицетворение единства левых сил, их колективной воли к переменам. Во имя перехода к социализму конституционным путем, без вооруженного восстания, без диктатуры пролетариата, без гражданской войны. Во имя величия родины, открывющей человечеству новый путь.

— Но твои коммунисты считают, что социализм без диктатуры пролетариата построить невозможно.

— Да, здесь наши точки зрения расходятся. Коммунисты опираются на опыт русских большевиков. Этот опыт бесценен, и священны жертвы, понесенные на этом пути, но у большевиков России не было за плечами долгого конституционного процесса, именно поэтому их революцияшла иным путем. Я полагаю, что диктатура пролетариата — не всеобщий закон, а следствие определенных обстоятельств и способ их преодоления. В наших условиях переходный период имеет иные формы. Точнее, может иметь.

Так (или примерно так) отвечал Альенде на эти вопросы. Но было еще одно обстоятельство, которое не так-то просто выразить словами. Когда Видела, политический

танцор, дергунчик, позер, в конце сороковых годов похоронил своим предательством Народный фронт и загнал коммунистов в подполье, социалисты остались ераать и креслах его правительства. Члены Центрального комитета комиартии были арестованы, сенатор Пабло Неруда, руководивший набирательной кампанией Видела, скрывался на тайных квартирах. Посольство СССР было обстреляно из пулеметов, и дипломатические отношения с СССР разорваны. Видела назвал свои шаги «первой битвой третьей мировой войны». Тогда Альенде вместе со своими единомышленниками покинул ряды опозорившей себя партии и основал другую, народно-социалистическую. Но через несколько лет и народные социалисты поддались демагогии Ибаньеса и поддержали его кандидатуру, после чего Альенде вернулся в социалистическую партию, которая к тому времени существенно очистила свои ряды от соглашателей. А коммунисты все это время, находясь в подполье, сохраняли чистоту своей линии. Альенде болезненно переживал политические метания тех лет, и именно надежностью коммунистов объяснялась его симпатия к ним.

Альенде считал, что мнение о жесткости позиции коммунистов ошибочно. В частности, сегодня в Серро-Кастильо сенатор Корвалан проявил много больше гибкости и зрелого понимания ситуации, чем Альтамирано. Альенде хорошо знал прежних руководителей коммунистической партии Энрика Марфертеса, Рикардо Фонсеку, Гало Гонсалеса, давняя дружба связывала его с Пабло Нерудой. Жест Неруды, сиявшего в интересах Народного единства свою кандидатуру на президентских выборах в семидесятом году, представлялся ему исполненным истинного величия. Далеко не каждый политик, пользовавшийся популярностью в своей стране и всемирной славой, решился бы на такой поступок. Сидя у себя в Исла-Негра, Неруда с пристальным вниманием следил за деятельностью своего

«моделильного друга», и, принимал то или иное сложное решение, Альенде постоянно чувствовал на себе сумрачный взгляд его глаз. Это была связь, выходившая далеко за пределы политических комбинаций, это была высшая человеческая связь. Неруда был еще и человеческим (не просто политическим) судьей. Так сложились их отношения после семидесятого года. Оба жизнелюбы, весельчаки, оба артистичные по складу натуры, они наслаждались общением, но каждая встреча с Нерудой была для Альенде праздником — и испытанием.

Что же касается разогласий, то Альенде считал их оселком, на котором оттачивается истина. Одной из высших мудростей человеческих он полагал терпимость, способность выслушать, понять — и если не признать правоту оппонента, то хотя бы согласиться, что его точка зрения заслуживает рассмотрения. Увы, его собственные сподвижники по партии все чаще объявляли себя носителями абсолютной, безоговорочной истины.

Перспектива выхода социалистов из Народного единства не пугала Альенде — хотя бы потому, что имелся уже прецедент: в октябре прошлого года, когда решался вопрос о введения военных в правительство, Альтамирано яростно воспротивился этому и буквально в таких выражениях («не исключена возможность») поставил вопрос о выходе социалистической партии из правительственной коалиции. Тогда пришлось срочно вызывать из Индии бывшего генерального секретаря социалистической партии Анисето Родригеса (тот находился в поездке по странам Азии), и совместными усилиями им удалось убедить Альтамирано отказаться от угрозы. Ультиматум, повторенный дважды, теряет свою остроту; возможно, Альтамирано подчеркивал свою непримиримость в присутствии генерала Пратса. Он уже высказал свое недовольство приглашением в Сарро-Кастильо военного и сегодня вел дискуссию в парочито сухом, официальном тоне. Тем самым он хотел, видимо,

показать, что присутствие «постороннего» вынуждает его отказаться от товарищеского обсуждения вопросов.

Между тем Альенде пригласил сюда Пратса сознательно. Прежде всего, он хотел показать командующему, что у партий Народного единства нет секретов от армии. Кроме того, генерал Пратс должен был лично убедиться в том, что, несмотря на все разногласия (о которых так много толковала правая печать), партии Народного единства действительно осуществляют это единство и обсуждают свои проблемы с максимальной откровенностью и прямотой. С другой стороны, присутствие Пратса должно было убедить несговорчивого Альтамирано, что вовлечение вооруженных сил в политическую жизнь есть процесс реально происходящий. И, наконец, генералу Пратсу предоставлялась возможность высказаться по существу обсуждаемых вопросов, а к мнению традиционно немногословных представителей вооруженных сил (Альенде знал, что Пратс выслушается за диалог с оппозицией) — к мнению командования в Чили привыкли относиться с вниманием.

Правда, Альенде с огорчением отметил, что острота спора несколько озадачила генерала: «тигр социализма» (так правые газеты именовали Альтамирано) постарался предстать сегодня во всем блеске своей непримиримости. Чувствовал себя Пратс немногого пеловко, не знал, куда левать свои крупные, мужицкие руки. Он, паверно, боялся, что Альтамирано обрушится на него всей мощью своей профессорской логики, а дискутировать с гражданскими генерал не хотел, да и не умел.

Реакция Корвалана на угрозу Альтамирано не заставила себя ждать: когда с генеральным секретарем компартии разговаривали языком ультиматумов, от его крестьянского добродуния не оставалось и следа.

— Поскольку мы, коммунисты, считаем, что альтернативы диалогу с оппозицией нет, — медленно, с напряжением заговорил Корвалан, — и иным путем обострения кри-

нися избежать не удастся, вы, товарищ Альтамирано, ставите перед нами ультиматум, не так ли?

— В том, что здесь было сказано,— возразил Альтамирано,— нет ультимативных требований «или — или». Проблемы, которые мы обсуждаем, слишком серьезны, чтобы тут играть судьбами революции. Повторяю: в случае начала переговоров с сеньором Айльвионом мы, социалисты, не исключаем возможности выхода нашей партии из правительства. Где гарантии того, что в ходе переговоров не будут сделаны программные уступки руководству христианских демократов?

Это было уже что-то: произошло «в ходе переговоров», Альтамирано тем самым допустил, что переговоры могут начаться.

— Лично я,— продолжал Альтамирано,— по вижу формулы соглашения с сеньором Айльвионом. Боюсь, что любая формула такого соглашения, вместо того чтобы умиротворить страсти мятежников внутри этой партии и среди остальной части реакции, лишь воодушевит их.

— Разумеется,— согласился Корвалан,— очень многое зависит от партнера по переговорам, от той доброй воли, которую он проявит. Во всяком случае, программных уступок оппозиции никто из нас делать не собирается.

— Весь вопрос в том, что понимать под программными уступками,— заметил Альтамирано.

Дело пошло на лад, и Альенде счел нужным вмешаться и направить беседу в спокойное русло.

— Было бы хорошо,— деликатно проговорил он,— если бы товарищ Альтамирано указал те принципиальные пункты, по которым он не уступит ни под каким нацином.

Это был достаточно тонкий ход: человеку, который отвергал в зародыше саму идею переговоров, предлагалось обсудить их содержание.

— Я не стану перечислять те программные пункты, по

которым у нас нет разногласий,— сказал Альтамирано,— поскольку убежден, что они для вас так же святы, как и для нас.

Корвалан и Альенде согласно кивнули. Генерал Прате впервые за время спора поднял голову и стал разглядывать говорящих.

— Но ведь в ходе этих гипотетических переговоров,— продолжал Альтамирано,— несомненно, реакцией будет поднят вопрос о рабочих предместьях, или, как их было принято называть, «индустриальных кордонах», находящийся в тесной связи с вопросом о судьбе предприятий, экспроприированных народом в день мятежа. Я сказал «несомненно», потому что логика действий реакции нам ясна: столь оплакиваемые ею предприятия стали мощным подкреплением индустриальных кордонов, являющихся, по нашему убеждению и по убеждению сеньоров, которых мы здесь называем партнерами, органами подлинно народной власти. Что и показал день суперовской авантюры, когда именно индустриальные кордоны, и только они, неукоснительно выполнив все указания президента, обеспечили четкую мобилизацию. Здесь позиция социалистов Чили тверда: мы намерены всеми силами оберегать независимость и дееспособность этих органов народовластия, рожденных самим революционным процессом, и ни в коем случае не допускать возвращения предприятий их бывшим владельцам, поскольку именно захват предприятий и учреждений революционным народом является конкретным выражением углубления революционного процесса. Сеньор Айльвии будет требовать, чтобы подобная практика была прекратлена. Но это, по нашему мнению, означает прекратить революцию, на что мы не имеем морального права. Значит, никаких гарантий такого рода сеньор Айльвии получать не должен.

— В вопросе об индустриальных кордонах,— закуривая, медленно начал Корвалан,— у нашей партии есть

особое мнение. Что ато за независимость, которую вы на-
мерены всеми сплами оберегать? Независимость от кого? от правительства? от Единого профцентра? Но это предмет или особого разговора. Что же касается занятых и пятынику предприятий, то не следует, по нашему мнению, подходить к их списку огульно. Судьба этих предприятий должна рассматриваться индивидуально.

Альтамирано промолчал. Он выглядел утомленным.

— Ну, что ж,—резюмировал Альенде.—У меня создалось впечатление, что категорических возражений против переговоров с ХДП не имеется.

Альтамирано остро взглянул на президента, но ничего не сказал.

— В таком случае я попрошу нашего друга генерала Пратса сказать несколько слов, поделиться своими соображениями, если он считает нужным.

Пратс положил фуражку на свободный стул, вытирился.

— Я благодарен сеньору президенту,—сказал он,—за предоставленную мне возможность присутствовать на обсуждении на столь высоком уровне важных для нации проблем. Само мое присутствие здесь символизирует участие вооруженных сил в политике. В сущности, принцип подчинения вооруженных сил гражданской власти является политическим принципом. Во имя этого высокого принципа генералы вооруженных сил вышли двадцать девятого июня на улицы столицы с автоматами в руках. Ныне армия едина, как никогда. Впервые в истории армия противостоит не пролетариату, а буржуазии, той части ее, незначительной и алчной, которая находится в конфронтации с правительству. Я заверяю вас, господа: если кто-то думает, что сможет выстоять против объединенной мощи вооруженных сил и корпуса карабинеров, верных конституции, то он безумец, слепец, самоубийца. Рад, что обмен мнениями привел к единодушному решению, которое при-

ветствую от всей души как единственно возможное и государственно мудрое. Рад также убедиться, что в нашей стране имеется достойное руководство, которое умело и эффективно управляет массами. Сегодняшнее решение — важный шаг на пути преодоления политического разнобоя. С точки зрения национальной безопасности и гражданского мира...

Альтамирано звучно откашлялся: когда антикомм «гражданской войны» становился «гражданский мир», он не мог промолчать.

— Вот именно в таких выражениях, — негромко проговорил он, — сеньор Айльвиц будет спекулировать именем вооруженных сил на переговорах.

Пратс подождал, не скажет ли «тигр социализма» еще что-нибудь. Но Альтамирано больше ничего не сказал.

— Так вот, с нашей профессиональной точки зрения, — продолжал Пратс, — соглашение с крупицей партией парламентской оппозиции жизненно необходимо, так как именно парламентское большинство в его нынешнем виде является гнездом мятежа.

Пратс умолк.

— Соглашение, если оно будет достигнуто, — сказал Альенде, — затронет вопрос о создании военно-гражданского правительства. Мне бы хотелось спросить генерала, как он относится к тому, чтобы в будущем правительстве занять пост министра внутренних дел.

— Благодарю за честь, — ответил Пратс, — однако думаю, что генералитет будет возражать. Я слишком долго был оторван от армии: с ноября по март возглавлял министерство внутренних дел, а с апреля по июнь находился в зарубежной поездке. Меня и так упрекают, что как командующий я слишком мало бываю с войсками. Надеюсь, вы понимаете, господи, что к этому мнению я не могу не прислушаться.

Утром двадцать шестого июля по городу потянулись длинные вереницы тяжелых грузовиков: вновь объявили забастовку камьонерос. Машины порожняком перегонялись на набережную Мапочо, а оттуда — за город, где уже были подготовлены специальные лагеря. Наученные горьким опытом прошлогодней октябрьской забастовки, жители Сантьяго бросились в магазины скупать продукты и товары первой необходимости. В очередях говорили, что на шоссе, ведущих в столицу, устроены вооруженные засады, пикеты забастовщиков обстреливают груженые машины и скоро подвоз продуктов в город прекратится.

Сразу после совещания в редакции Каролина поехала в Сан-Хуан. Ее отец в октябре не участвовал в забастовке, и надо было его предупредить, что дороги стали намного опаснее.

Каролина всегда была против того, чтобы отец стал камьонеро. Но что поделаешь, обзавестись грузовиком было его давней мечтой.

— В Чили это верный хлеб! — говорил он. — Верный хлеб.

Отчасти он был прав: в стране, где на один километр железной дороги приходилось почти пять километров шоссе, от камьонерос зависело очень многое. Доставка товаров населению, подвоз сырья и оборудования — практически вся экономическая жизнь страны держалась на автомобильных перевозках.

Нашелся ловчил, предложивший отцу половинный пай, и отец с энтузиазмом взялся за прибыльный бизнес. Правда, прибылей едва хватало, чтобы расплатиться с долгами, но все равно он был счастлив.

— Сегодня у меня задняя половина машины, — шутил он.

Это означало, что в езdkу отправляется его напарник.

...Перекрестки были забиты порожними грузовиками, и дорога в Сан-Хуан заняла чуть ли не два часа. Водители не спешли: они ликующе склоняли, переговаривались из кабин в кабину и охотно вливались в уличные пробки, увеличивая тем самым общий хаос. Обычно предупредительные, уступавшие дорогу уязвимым легковушкам, сегодня они шли на наглые обгоны, и несколько раз степенный редакционный шофер дядюшка Густаво яростно тормозил среди огромных колес, расшатанных деревянных бортов, в чаду выхлопных газов.

— Ничего, дочка, — говорил он Каролине, не оборачиваясь. — Ничего, как-нибудь доедем.

Это была вакханалия безнаказанности: грузовики являлись слишком мелкой собственностью для национализации, редкий камьонер владел десятком машин (хотя встречались и владельцы пятидесяти). Лидер Конфедерации камьонеров Вильяррип демонстрировал правительству свое могущество: сорок тысяч машины должны были встать сегодня на прикол.

И случилось то, чего Каролина опасалась: она не застала отца. Отец встал очень рано, часов в пять утра, и, никому не сказавшись, ушел.

Каролина была очень удивлена, увидев в отцовском доме Гильермо. В дорогом дакроновом костюме, с двумя тяжелыми перстнями на пальцах, Гильермо был великолепен. Но узенькое лицико его вовсе не сияло довольством. Вообще братец Мемо осупился и отошел, как бродячий пес. Оказалось, он живет здесь, в Сан-Хуане, уже несколько дней, снимает комнатенку у молодой бездетной вдовы.

Когда Каролина вошла, Гильермо, развалившись на родительской постели, о чем-то оживленно разговаривал с Фито. Судя по пятнам на щеках младшего брата, разговор был довольно острый.

— А, сестренка! — весело закричал Гильермо, подпи-

Марись.— Как славно, что ты пришла. Умиротвори петуха, а то у нас тут гражданская война начинается.

— Не шути такими словами,— оборвала его Каролина.— Отец бастует?

— Не знаю,— буркнул Родольфо.— Он не докладывал.

— Ты видишь, как он с тобой разговаривает? — спросил Гильермо и, достав пачку дорогих сигарет, закурил.— Как будто ты перед ним ировинилась. Меня — так вообще пристрелить собирается как собаку.

— И пристрелю, если будет нужда,— пообещал Родольфо.— Рука не дрогнет.

— За что? — притворяясь веселым, спросил Гильермо.

— А вот за эти сигареты, которыми ты балуешься. За твой костюмчик, за твои колечки. Все это краденое на тебе, сразу видно.

— Что-то вы, ребята, не то говорите,— сказала Каролина.— И ты, Фито, не забывай, что это твой старший брат. Если что не правится, можешь и потерпеть.

— Воц, потерпелись,— неопределенно махнув рукой в сторону окна, мрачно сказал Родольфо.— Все вы там сорвались терпеливые. А прижмут вас — сразу о нас вспомните.

— Сплошные загадки,— засмеялась Каролина.— Кто мы? Где «там»? И о ком это мы должны вспомнить?

— Чаще дома надо бывать, Пиросита,— наставительно промолвил Гильермо.— Братец у нас политически созрел. Теперь он левым революционером заделался. С автоматическим карабином играет. Воц, руки все в порохе.

— Это правда? — спросила Каролина.

— А что, не правится? — Родольфо криво усмехнулся.— Читаю я твои статьи, Нья Пироса. Прямо рыдать хочется, до чего жалобно написано! «Милые работницы и крестьянки, сенаторши и депутатки! Вам нужна гражданская война? Ну копечко же не нужна. Она нужна только боякам капиталистам, латифундистам и олигархии. Так

рогах стреляют. И проводите меня до автобуса, я машику отпустила.

Они вышли на улицу. Лус, держа за руку Нью Пирусу, увлекаю сосала свою карамельку, Мануэла и Фито шагали рядом.

Посреди пустыря у самой остановки автобуса стояла машина с фабрики Леру, молодые работницы продавали прямо из кузова пряжу.

— Вот, — сказала Мануэла, — сколько воюю против этого безобразия — все без толку.

И тут же крикнула девушки:

— На базу за продуктами поедете?

— Распродадим — и поедем! — отвечала одна из девчонок. — Обещали вермишель отгрузить!

— Беги, — скомандовала Мануэла Лусите, — беги домой, скажи Марии Эстеле, что скоро вермишель привезут!

Девочка неохотно отпустила руку Нью Пирусы и побежала домой.

— Чем, интересно, занимается Мемо? — спросила Каролина.

— Да ничем, — ответила Чивита. — Ест, спит, думает. То у нас щоует, то у этой... Бегает куда-то звонить. Мне кажется, девчонка какая-то дала ему отставку.

— Ну, прямо, — пробурчал Родольфо, — так уж все в девчонок упирается! Спекулянт он вонючий. Сидет за решетку — всю семью опозорит.

Со стороны гор дунуло холодным ветром. Каролина заметила, что на сестре совсем драпая кофта. Она обняла Мануэлу за плечи и притянула к себе.

— Господи, скорей бы ты уехала! — сказала она. — Прямо жду пе дождусь.

— Нет, не скоро еще, — отозвалась Мануэла, прислонившись к ней, как маленькая. — Нам сказали, что задержимся до первого октября. В связи с обстановкой.

Родольфо, глядя под ноги, молча шел рядом.

— Я ведь из-за кофты об этом заговорила, — сказала Каролина. — Разве у тебя нет ничего получше одеть?

— Есть, — отвечала сестра. — Только я берегу. Там вадепу.

Подойдя к Парадеро Очо, они остановились.

— А ты знаешь, — сказала Каролина брату, — фильм и этот смотрела. Там винтовки действительно были под каждым станком. Но — под станком, а не где попало. Ты меня понял?

— Не совсем, — удивленно сказал Фито и посмотрел ей в лицо. У него были совсем еще детские глаза.

— Фито, мальчик мой, — Каролина взяла его обеими руками за плечи, — не ожесточайся против всех и всего. Вспомни хорошее! Вспомни, как мы радовались три года назад, как мы с тобой танцевали.

— Дело прошлое, — глядя себе под ноги, пробормотал Родольфо и покраснел: ему было тяжело вспоминать о своей радости в те дни, когда победил Альенде. Взявшись за руки, они втроем с Чинитой и Нья Ширусой бегали вокруг стола и выкрикивали что-то вроде «Паконец, паконец! Наш Альенде — молодец!». И даже папа, который в общем-то скептически относился ко всяким выборам-непрерыв выборам, — и тот, глядя на ликующую молодежь, пощипывал жиденькие усы и бормотал: «Ну-ну... поглядим. Может быть...» «Тихо вы! — кричала из соседней комнаты Мария Эстела. — Малышку мне напугали!» Мачеха не сердилась, она любила, когда в доме был праздник.

— Дело прошлое, — повторил Родольфо. Потом вдруг криво усмехнулся, быстро взглянул на Каролину и опустил глаза. — Сегодня и ты не очень спяешь.

Каролина ответила умночайвой улыбкой. Она и правда не должна была, не имела права ему этого объяснять.

Несколько дней назад, бродя в цоколях Сариты по второму этажу Ла Монеды, она случайно заглянула в маленькую столовую в левом крыле, недалеку от зала

Тоэски. Там, сутуясь, сидел спиной к двери какой-то человек. Он вяло жевал и одновременно читал газету. Каролина не сразу сообразила, что это Альенде: обычно президент обедал в большой столовой в окружении дюжины министров, секретарей и адъютантов. Тут же, за столом он решал деловые вопросы, посыпал куда-то помощников, выслушивал их доклады, не прерывая оживленной беседы с теми, кто никуда не уходил. В таком одиночестве Каролина видела его впервые. Он, не глядя, возил вилкой по тарелке и времени от времени вытирая салфеткой усы. Ни дать ни взять — скромный конторский служащий во время обеденного перерыва.

Почувствовав на себе взгляд, Альенде повернулся к двери, привстал.

— А, Лица, — приветливо сказал он. — Прошу, пропути. Каролина, извинаясь, смущенно отступила на шаг.

— Да заходите же, не стесняйтесь, — насторожившись, даже с досадой, сказал Альенде. — Я не люблю сидеть за столом один.

Каролина вошла, села на краешек стула.

— Читаю как раз вашу колонку, — сказал Альенде, соглашаясь рукой газету. — Хлестко, умно. А не боитесь, что отцы-законоодатели вас поколотят?

Похвала смутила Каролину еще больше. Она не пашла, что ответить, только потупилась.

— А почему вы не были на моей утренней пресс-конференции? — с шутливой строгостью спросил Альенде. — Или вам уже неинтересно, о чем говорит ваш президент... с тех пор, как вы замелькали на телекранах?

— Я больше не буду выступать на телевидении, — ответила Каролина. — Мне там не нравится. Очень жарко.

— Я тоже поначалу уставал и сердился перед камерой, — сказал Альенде. — Особенно когда эта техника была в новинку. Но потом привык...

Он долго молчал, глядя на Каролину немигающим

взглядом. Ей показалось, что он задумался и забыл о ее существовании. Она хотела уже встать и тихо выйти, но в это время Тата спохватилась и заговорила.

— Скажите, Лина,— она помедлила,— ваш отец, кажется, камбонеро? Как вы считаете, будут они опять бастовать?

— Мой отец не участвовал в пропилой забастовке,— покраснев, сказала Каролина.— И на этот раз, я уверена...

— Вот и ответ,— Альенде невесело посмеялся.— Яснее не скажешь: идея забастовки висит в воздухе...

— Нет ничего удивительного,— сердито сказала Каролина, досадуя на себя за свою оговорку.— Этот негодяй Вильяриш... он не чинец, он изменник, шантажист, моторизованный агент ЦРУ... Он упивается своим всесилием, как... как бандит с большой дороги. Он требует у нас запчасти и покрышки, прекрасно зная, что нам придется их покупать за валюту. Он...

— Сразу видно газетчику,— Альенде, усмехаясь, покачал головой.— А не слишком ли много эпитетов для одного Вильярипа? Не слишком ли мы смешим переложить на него ответственность за все наши неудачи?

Каролина удивленно молчала.

— Как вы думаете, решился бы он на забастовку, если бы знал заранее, что этим будут раздражены и торговцы, и ремесленники, и мелкие предприниматели, и крестьяне, и горожане?

— Нет, конечно,— подумав, ответила Каролина.— Конечно не решился бы. Он же труслив, как всякий паменик, ему нужен численный перевес.

— Да, численный перевес...— задумчиво повторил Альенде.— Сто сорок тысяч мелких торговцев, тридцать тысяч мелких промышленников, огромная масса людей. Пойдут они на этот раз за Вильярином?

— Могут пойти...— проговорила Каролина.

— Могут, — подтвердил Альенде. Он резко отодвинулся от стола, и щеки и шея его покраснели. — Могут пойти, а почему?

— Это как раз понятно, — заторопилась Каролина, первничая под его настойчивым взглядом. — Мы взяли в свои руки крупную промышленность, банковское дело, это же структурный сдвиг геологических масштабов... он сопряжен с неизбежными трудностями. Месть иностранных монополий, трудности со сбытом, отказ в кредитах, искусственное занижение цен на наши товары... и как следствие — колебания уровня жизни. А для промежуточных слоев уровень жизни — это единственный критерий.

Альенде слушал, кивал.

— А мы об этом, что же, не знали? — неожиданно спросил он. — Не догадывались, не предвидели? Нам кто-нибудь мешал дать этим промежуточным слоям гарантии на будущее, указать им перспективу, определить их точное место в экономике? Нас кто-нибудь приуждал тянуть с законопроектом о трех секторах?

Каролина молчала. Положение о трех секторах экономики (государственном, частном и смешанном) было записано в Программе Народного единства, оно предусматривало гарантии для мелкого и среднего собственника. Но христианские демократы опередили правительство и на неделю раньше внесли в конгресс свой законопроект «о социальных зонах», в котором оговаривалось еще и существование неких «предприятий трудящихся». Под «предприятиями трудящихся» подразумевалась коллективная собственность работающих, вопрос об этой форме собственности, недостаточно изученный и совершенно не разработанный, был поднят оппозицией в демагогических целях, чтобы осложнить позицию правительства. «Они нас попросту обокрали!» — возмущалась тогда Каролина. Но можно было посмотреть на проблему и с другой сто-

роны: «Мы опоздали, мы слишком увлеклись социализацией монополий, а надо было делать оба дела одновременно». Законодательная инициатива была утрачена, оппозиция торжествовала: «Вот видите, правительство вовсе не спешит предоставлять гарантии мелкому собственнику!» Бессмысличные экспроприации небольших предприятий только усугубляли недовольство промежуточных слоев, жесткий лимит в четырнадцать миллионов эскудо отбивал у среднего собственника охоту вкладывать в свои предприятия новые капиталы и расширять производство... отсюда нехватка товаров широкого потребления и новый исплеск недовольства. Законопроект о гарантиях мелким и средним собственникам был внесен правительством в июле прошлого года, но статус этих гарантий должен быть выработан в течение года после принятия закона конгрессом, а конгресс, естественно, не спешит.

— Конечно, — проговорила Каролина, — у «антипатрии» в экономике есть и опыт, и кадры, и ресурсы накоплены... а у нас ничего этого нет. Вполне естественно, что они умеют пользоваться каждым нашим промахом. Все это субъективные трудности...

— ...И надо помешать им объективизироваться, — подхватил Альенде. — Вильярин требует запчастей? Ну, что ж, мы предоставили кредиты сектору металлообработки — и скоро выбьем этот козырь у него из рук. Поздновато, правда, но...

Он помолчал.

— Так вы уверены, — пытливо глядя ей в лицо, спросил он после паузы, — что ваш отец и па этот раз не станет бастовать?

Каролина кивнула.

— На чем же основана ваша уверенность?

— Он любит работать, — сказала Каролина. — И знает, что нужен. И очень этим гордится.

...Хесус вернулся, как показалось Марии Эстелес, немного павеселее.

— Ну, встал на прикол,— сказал он.— Из самого Эль Монте пешком топал. Давай, жена, ужинать.

— Как «на прикол»? — удивилась жена.— И ты тоже?

— А что я, хуже других? — весело возразил Хесус.— В прошлый раз работал, как лошадь, посом клевал за барабанкой, из аварий чудом выезжал, а что заработал? Резины у Альбенде для меня не нашлось. Купил на черном рынке — и опять весь в долгах. Нет, больше рисковать не стану, пусть ищут других дураков. Компаний мой в Конфедерации большим человеком заделался, чуть ли не с самим Вильярионом за руку, а я что? Кем был, тем и остался.

— Значит, дома прохладжаться будешь? — подбоченившись, спросила Мария Эстела.— А жить на что? На деньги Гильермо?

— Обойдемся без его помощи,— благодушно сказал Хесус и похлопал себя по нагрудному карману.— Деньжата есть. Четыре тысячи домой привнес. Будет вам индейка с сельдереем.

Он, собственно, привнес восемь тысяч, но в последнюю минуту решил урезать сумму, отложив кое-что на черный день.

— Четыре тысячи! — ахнула Мария Эстела.— Так ты все-таки ездил? Каролина приходила, говорила, что это опасно...

— Нет, не ездил! — засмеялся Хесус.— Пешком за ними ходил. Выдали мне сегодня сорок долларов, я их сразу жуку одному снес, тот и обменял. Все надо делать вовремя! Через неделю на черном рынке этих долларов будет прорва, и они подешевеют.

— А отчего их будет прорва? — простодушно поинтересовалась Мария Эстела.

— Так всем же водителям платят! — ответил Хесус.— Кто бастует, конечно.

— Кто платит?

— «Кто, кто?», — передразнил Хесус. — А твоа какое зело. Дают — бери.

— И завтра дадут? — с опаской спросила Мария Эстела.

— И завтра, не бойся. Только далеко за ними ходить. Мария Эстела постояла, подумала.

— Ох, не правится мне это дело, — проговорила она. — Когда даром деньги дают, я бы ни за что не взяла. А то зонгра скажут: «Брал? Убей!» Что ж, пойдешь и убьешь?

— Эх ты, мудрая голова, — Хесус похлопал ее по спине. — Ступай за индейкой.

— Куда я пойду? — разозлил возразила Мария Эстела. — Да во всем городе ни за какое золото индейки сейчас не купишь. И сельдерей тоже.

— Это еще почему? — удивился Хесус.

— Да потому, что пешком индейки в город не ходят. И Мария Эстела, хлопнув дверью, вышла.

Хесус долго стоял в растерянности, поглаживая себя по нагрудному карману. Потом плюнул, сел на скамью и стал разуваться.

15

В тот вечер Гильермо так и не вернулся домой. С Гран-Авениды он позвонил Габриэле — и свершилось чудо: ему ответили. Вежливая прислуга интересовалась, кто спрашивает сеньориту, и доверительно сообщила, что сеньорита принимает ванну, но через десять минут ей можно будет перезвонить.

Гильермо поблагодарил и в течение получаса, выдерживая характер, прохаживался по улице. Редкие фонари тускло светили сквозь туман, ветра не было — только сырость и холод. На лице у Гильермо застыло странная улыбочка. И в самом деле, тут было чему улыбаться: с каких

это пор его имя стало магическим ключом, открывающим интимные тайны «бангало» на Витакура?

Наконец он снова позвонил и услышал голос Габриэля.

— Мемо, ты заставляешь ждать. Ладио, оправдываешься лично.

— Ты хочешь сказать, что мы увидимся?

— Меньше вопросов, гайо. Сверим часики. Половина девятого, ставь по моим. Ровно через час жди меня по третьему адресу. По третьему, понял? Там пустая квартира.

— Габи, это же чертова даль! — взмолился Гильермо. — За час я не успею добраться.

— Должен успеть, — лукаво сказала Габи, — если хочешь повидаться со мной. Целую тебя. Час!

И она положила трубку.

...Это был заброшенный двухэтажный дом в районе Португал, наполовину скрытый за темным садиком. Таких домов здесь стояло множество, они сдавались в аренду, но цепы мало кого устраивали.

Подходя по дорожке к двери, Гильермо не был похож на человека, находящегося во власти лестных для себя предположений. Напротив, у него был угрюмый, недоверчивый вид. Раза два он останавливался, собираясь повернуть назад, но все же решался: подошел к крыльцу и взялся за дверную ручку.

После недолгого блуждания в кромешной темноте он нашарил на стене выключатель. Гуская электрическая лампочка под темным потолком осветила комнату с голыми стенами и с единственным окном, наглухо закрытым жалюзи. Типичное логово: стены разрисованы свастикой, на полу — обрывки бумаги, промасленная чечошь, все пропитано запахом блевотины и оружейной смазки. Тут же драные номера «Селексьонес», тошнотворные комиксы — в общем, всякий хлам. И огромное количество пустых боков из-под пива «Сан-Мигель». Подобные берлоги, Гильер-

мо знал, содержались на средства местных промышленных и финансовых тузов, точнее, на их добровольные взносы — тысяч до десяти в месяц назначными и еще столько же разнообразной «натурой». Судя по всему, логово оплатил какой-нибудь король черного рынка — пинные банди говорили об этом совершенно недвусмысленно.

Усевшись на подоконник, Гильермо стал ждать. Теперь, когда он собственными глазами увидел, какая квартира значится «по третьему адресу» (детская игра в копи-спирацию: первым по списку для его группы шел адрес Адольфо Шиллера, вторым — ресторанчик Укки возле Вега Сентраль), ему стало ясно, что Габи сюда не придет. Пряником из ванили — и променять теплую чистую постельку на это воюющее логово... нужно быть идотом, чтобы поверить такому обману. Но уйти, не узнав, чего от него хочет эта взбалмошная девчонка, Гильермо не мог.

Он проходил почти до полуночи. Сатанаев от скуки, пересмотрел все комиксы, перечитал «Селексьюпес» и только собрался послать все к дьяволу и уйти, как услышал шаги в коридоре.

Шаги были, пессомиэльо, мужские. Гильермо сунул руку во внутреппий карман плаща — и тут же с деланным безразличием ее выпул: в комнату вошел Адольфо. На нем был светлый клетчатый пиджак — самая неподходящая одежда для почтных хождений. Впрочем, сам Мемо был одет как для сектского раута: его дакров и концертные подуботинки сверкали новизной.

Адольфо явился в широких темных, совсем не ко времени, очках, которые тем не менее плохо прикрывали широкие кровоизлияния под каждым глазом. Тот рыжий, которого Гильермо называл про себя «медяком», сделал его основательно, — ведь со дня их последней встречи прошло десять дней.

— Почему без пароля? — добродушно спросил Гильермо.

— Пошел ты! — огрызнулся Адольфо и встал возле двери, прислонившись спиной к стене. Он бегло оглядел дорогую одежду приятеля и демонстративно отвернулся.

— Что-нибудь пазревает? — осторожно поинтересовался Гильермо, но Адольфо сделал вид, что не расслышал вопроса.

У бедняги Шиллинга были все основания злиться на Гильермо: бутылку с горючей смесью бросал именно Мемо. Бросал и промазал, а от расправы ушел.

— Ладно,— с лицемерным вздохом Гильермо спрыгнул с подоконника на пол, потянулся.— Пойду пройдусь.

Но тут заскрипела дверь, и сладенький голос Укки произнес:

— Ребятки, это я. Цена свободы...

— Высока, высока,— отозвался Гильермо.

На Укке урок не сказался: он всегда был бледно-синий, с темными кругами вокруг глаз, с голубизной возле рта и с синими застарелыми прыщами на щеках. Синяков на нем заметно не было, лисья, острепькая мордочка его улыбалась как ни в чем не бывало.

— Я вижу, ты при параде,— сказал он, обращаясь к Гильермо, то ли с осуждением, то ли с завистью, не поймешь.

Гильермо пожал плечами и, не собираясь, видимо, отказываться от своего намерения выйти на улицу, двинулся к дверям.

— Правил не знаешь? — остановил его голос Укки.— По одному не выходить.

Гильермо обернулся:

— Где это написано?

Укка сделал плютovскую гримаску, озлащавшую примерно «рад бы ответить, да не могу», и, взглянув ему в глаза, Гильермо понял, что этот человек умеет не только

смердеть от страха, но и пепавидеть всеми силами своей промозглой души. Такой убьет не задумываясь, если только изловчится.

Хмыкнув, Гильермо вернулся к своему полоконику, взгромоздился на него, и Укка тотчас же стал спокойным и ласковым. Он прошелся по квартире, мурлыча «В последнюю ночь, что провел я с тобой...» Пошуршил в углу бумагой и торжественно поднял запечатанную банку пива.

— Уцелела, голубушка! — радостно сказал он. — Кто составит компанию?

— Пей сам, — отозвался Гильермо.

— Адольфо, а ты?

Шиллинг покачал головой.

— Ну, дело ваше, — пробормотал Укка. — Приятно, знаете ли, так иногда освежиться...

Он потянул за кольцо, крышка щелкнула, и темное пиво, фонтаном взметнувшись к потолку, хлынуло Укке на голову. Этот башенный «Сан-Мигель» выкидывал иногда такие фокусы: видимо, Укка трихнул банку, а этого делать не следовало.

— Лече... — выругался Укка, отшевиваясь и рукой утирая лицо. Это был, впрочем, лишь фрагмент замысловатого ругательства, исполнение которого запяло бы около минуты.

Гильермо засмеялся, и даже Шиллинг, взглянув на приятеля, позволил себе кривоватую усмешку.

Тут громко стукнула входная дверь, и в коридоре вновь загремели шаги. На этот раз шли по меньшей мере двое, у одного из них ботинки были по-армейски подкованы.

— Карабинеры! Свет!.. — шепотом сказал Гильермо, и Адольфо поспешил щелкнуть выключателем.

— Ладно, гайо, не балуй, — произнес бархатистый артистический голос со всеми мыслимыми модуляциями Баррио Альто. — Цепа свободы не может быть слишком высока.

— Гато,— прошептал из угла Укка.— Зажигай свет! Лампочка всякихула.

Посередине комнаты стояли трое. Первый паверияка был Гато: его Гильермо сразу узнал, хотя никогда раньше не видел. Одну руку Гато держал в кармане брюк, другую прикрывал от света глаза. Одет он был под ремесленника, в затрапезный пиджак и обвислые брюки, даже щетину отпустил. Однако любой полицейский комиссар обнаружил бы подделку. Гато был неприятно красив: глубоко сидящие глаза, мускулистая шея, крутой, массивный подбородок — и маленький, тонкогубый, мокрый рот.

— Так,— сказал Гато, опустив руку и внимательно разглядывая собравшихся.— Этого знаю,— он, прислушиваясь, посмотрел на Укку,— про этого слышал,— он повернулся к Адольфо,— да ты не хмурься, гайо, чего не бывает среди своих. А вот этого...— он пристально взглянул на Гильермо,— этого не знаю, по очень хотел бы узнать.

— Вопрос времени,— беспечным голосом проговорил Гильермо, лицо его слегка напряглось.

— Вопрос времени, да...— пробормотал Гато, не спускал с него глаз.— Ишь, дамский угодник, разоделся, баки распушил... удобные баки, чтобы за них подергать...

— А ты попробуй,— улыбаясь, ответил Гильермо.

За спиной Гато неподвижно стояли двое молодых парней: один в джинсах и свитере, в очках с дорогой итальянской оправой, второй — в форме пехотинца без знаков отличия.

— Ладно,— сказал Гато и копчиком острого языка быстро, как змея, облизал уголки рта, в которых пакипела слюна.— Зовите этого сегодня Гаймер,— он показал на очкарика,— а этого,— кивнул на пехотинца,— просто Рене. Пойдете вместе.

— Что, пачипаем? — льстиво выскоцил Укка.

— Да, пора,— Гато еще раз облизнул губы.— Наше время подошло: новой встрички Альянде не выдер-

жать, надо помочь старику. Ваша группа идет па Провиденса...

— Пратс? — дернувшись, спросил Адольфо.

— Сыну военного не мешало бы знать, где живут военачальники, — мягко пожурил его Гато. — Пратсом займутся другие. Ваша цель — улица Отейсы. Вы должны ликвидировать капитана первого ранга Арайю. Все инструкции получите у Репе.

«Нехотинец» стоял не двигаясь и смотрел прямо перед собой. Это был крупный, холеный, белокожий парень. Видно было, что солдатская служба его миновала.

— Они собирались передать русским карты наших рудников, — с привычной бодростью заговорил Гато, — на наших трупах построить кубинские военные базы, а тех, кто останется в живых, памертво замуровать в крупноблочных тюрьмах...

— А если без речей? — дерзко глядя ему в глаза, спросил Адольфо.

Гато помолчал.

— Ладно, желаю успеха, — сказал он.

Повернулся и вышел. Гильермо сделал неопределенное движение, как будто собирался пойти за ним вслед, но остался на месте.

Некоторое время все молчали.

— Стоит ли связываться с флотскими? — пробормотал Адольфо. — У них разговор короткий: повыдергивают ногти щипцами, в мешок — и в море.

— У тебя есть выбор, — неожиданно тонким голосом сказал Рене. — Ты можешь отказаться от участия, и тогда в интересах операции я тебя пристрелю. Лучше сделать это заблаговременно.

Адольфо дернул плечом и, ничего не ответив, отвернулся к наглухо закрытому окну.

— Тогда так, — сказал Рене. — Выезжаем через четверть часа. Раньше — пет смысла: капитан па коктейль

в кубинском посольстве. Надо дать ему вернуться, но — не позволить заснуть. Маршрут — Провиденсия, Педро де Вальдивия, Антуанес, Отейсы. Ставим машину под окна-ми, сами располагаемся вот так...

Из нагрудного кармана Рене достал сложенный вчетверо лист бумаги, развернул его.

— Смотрите сюда.

Гильермо и Укка подошли, Адольфо не двинулся с места.

— Ты, пиджак, — почуял Рене, — тебе, я вижу, не интересно. Мало тебя подселили. Задашь хоть один вопрос по дороге — станешь весь голубой.

— Я поведу машину, — с деланным безразличием ответил Адольфо, — это моя работа. Все оставшее меня не интересует. Располагайтесь, как вам удобнее, я подожду вас в кабине.

Рене усмехнулся и оставил эти слова без внимания. Гильермо взглянул на дверь (к ней скучающе прислонился Гаймер), наклонился над листком. Там был начертан аккуратный план участка улицы Отейсы с домом Арайи.

— Ты становишься сюда, — сказал ему Рене, — за дерево, прикрываешь подъезд. В доме несколько нижних чинов, могут сдуру выскоить. Я буду здесь, в центре, напротив балкона, а этот, — он указал на Укку, — встает на углу. Стрелять буду я.

— Не промахнешься в темноте? — спросил Укка. Он был доволен, что ему досталось самое безопасное место.

Рене посмотрел на него долгим взглядом.

— Спецпатроном трудно промахнуться.

— Это осколочным, что ли? — Укка развеселился. — Лихол

— Мессиво будет, — заметил Гильермо.

— А нам с него пять портреты писать, — ответил Рене. Укка и Гаймер засмеялись.

— Ты думаешь, он будет стоять на балконе и тебя до-
видаться? — спросил Гильермо.

— А мы его вызовем, — сказал Рене.

— Как? Серенадой?

Рене не удостоил его ответом. Он пристально смотрел на Адольфо Шиллинга, который ежился под его взглядом, но делал вид, что занят созерцанием жалюзи.

— Так ты, пиджак, — насмешливо спросил Рене, — по-прежнему сидишь в кабине?

— По-прежнему, — буркнул Адольфо.

— Ну, сиди. Значит, так. Отсюда, — Рене щелкнул по пистолету пальцем, — отсюда Гаймер бросает в машину пачки. Тут шум и освещение, все как в театре, как раз под балконом...

Адольфо повернул голову, посмотрел на Рене и медленно, нехотя приблизился.

— А как мы поедем обратно? — спросил он.

— Обратно, шиджакоч, придется пешком, поодиночке. Каждый сам за себя. На машине мы все вместе так в дермо и вляпаемся.

— Шикарный плац! — восхищенно сказал Укка. — Значит, на шум клиент высакивает на балкон, тут мы его и рисуем. Экономно!

— Ну, что, пиджак, — спросил Рене, — осталось в машине?

— Я не будист, — с достоинством ответил Адольфо.

— Ну, вот и договорились, — ласково сказал Рене. — Твое место будет здесь, возле гаражка. Имей в виду, там тоже может быть уилгер, следи за воротами в оба.

Он посмотрел на часы.

— Время, ребята. Трещотки в кладовой, патроны и пакеты у Гаймера.

Гильермо застегнул плащ, подпоясался и двинулся к двери.

- Куда? — спокойно спросил его Реде.
- Моя — со мной! — Гильермо похлопал себя по карману. — Чужими не пользуюсь.
- Так куда же ты?
- На улицу, к машине.
- Подождешь.

Выехали точно в назначенню время. Адольфо сидел за рулем общаринского «пикапа», с ним рядом — Рено, сзади — Гаймер, Укка и Гильермо. На полу кузова глухо побрякивало оружие. В городе стояла почная тишина, внизу, на равнине, было созвершено темно.

Слюнявя косынку, которой было завязано его лицо, Укка безудержно болтал:

— Дрыхнут упельентос! Не знают, какой подарок мы им готовим! Вот мы едем, настоящие хозяева города, отборные ребята, один к одному!..

— Заткни глотку! — рыкнул очкастый Гаймер. Лицо его тоже было завязано черным платком до самых очков, что придавало ему жутковатый вид невидимки.

— Оставь его, — сказал Гильермо. — Пусть лучше из него выходит через глотку...

Вдруг он резким движением руки сбил с Гаймера очки, схватился за повысокий бортик и, перекинув через него свое тело, пронал в темноте.

— Ух ты! — воскликнул ошеломленный Гаймер и, вскочив, принял что было силы молотить по крыше кабинки.

Укка сидел, не двигаясь и, похоже, ничего не понимая.

— Стойте! — сорвав с лица платок, кричал Гаймер. — Сучьи дети! Стойте!

Укка дрожащей рукой протянул ему очки. Гаймер нацепил их и продолжал стучать и кричать.

Прокатившись еще метров двадцать, «пикап» остановился. На мостовую выскоили все сразу — и Адольфо, и

Рене, и Гаймер. Только Укка, съежившись, остался сидеть на месте.

— Что там? — крикнул Рене, но, взглянув в кузов, понял все сразу.

Он посмотрел назад, в темноту, что-то быстро прикинул в уме — и, коротко взмахнув рукой, ударил Гаймера кулаком в лицо.

— Быстро по местам! — скомандовал Рене. — Черт с ним, не будем искать! Если и очухается, то не скоро!

Лицо Гаймера, когда он забирался в кузов, было страшным: все окровавленное, с глазом, остро глядящим сквозь разбитое стекло, как будто из глубины черепа. Он гневно шипел Укку ногой, машина рванулась с места.

— Зачем... зачем он прыгнул? — заикаясь, пробормотал Укка. — Он же сломал себе шею!

И Гаймер снова шипел его ногой.

...Глубокой ночью в холле резиденции на Томаса Моро Альенде, только что приехавший с приема в кубинском посольстве, молча стоял перед Альфредо Жуаньяном. Президент был смертельно бледен, седые усы его топорщились, подбородок мелко дрожал. Темный вечерний костюм казался траурным.

— Как это случилось? — негромко, сдавленным голосом произнес он наконец.

— Негодии взорвали возле самого дома кривый пакет динамика, — отвечал начальник службы расследований. — Дон Артуро выбежал на балкон, и в упор осколочным патроном...

— Я не об этом, — остановил его Альенде. — Как вы могли это допустить? Только не ссылайтесь на корпус карабинеров. Я спрашиваю вас, товарищ Жуаньян; есть у правительства служба расследований или ее нет?

Жуаньян молчал, твердо выдерживая взгляд президента.

— Вам было поручено держать под наблюдением... —

возвышенная голос, говорил Альенде, — все, повторяю — ис-
без исключения террористические группы, орудующие в
столице...

— Они нас опередили всего на один шаг, — отвернувшись,
глухо произнес Жуаньян. — Мы предполагали, что
они нацеляются на улицу Эррасуриса, по сегодня генерал
Прат...

И, увидев, что Альенде нетерпеливо переступил с ноги
на ногу, Жуаньян поспешил продолжал:

— Президент, я заверяю вас: мы сделаем все возмож-
ное, чтобы преступники были пойдены. Наш человек, ко-
торый шел по этому следу, сейчас в госпитале, тяжелое
 сотрясение мозга, по определению врача, —

— Тогда вы их арестуете, — сказал Альенде, — суд вы-
пустит их на свободу, а капитана Арайи больше нет...

Он помолчал, провел рукой по лицу.

— Вот что, Альфредо, — заговорил он после паузы. —
Последнее время ваши люди слишком много говорят о
том, что занимаются мелкой сошкой... что главное — не
полувоенные банды, а офицерский корпус вооруженных
сил.

Альфредо Жуаньян сделал попытку возразить, но пре-
зидент жестом остановил его.

— Подождите. Не кажется ли вам, что мы сейчас по-
жинаем плоды этой, мягко говоря, болтовни?

— Нет, президент, — твердо ответил начальник следст-
венной службы. — Думаю, что убийство вашего адъютанта —
именно попытка отвлечь наше внимание от подлин-
ного змеиного гнезда в армии...

— И вы будете продолжать на этом настаивать, даже
когда пиловцы расстреляют в упор последнего старшего
офицера?

Жуаньян молчал.

— Идите, Альфредо, — сказал Альенде, — и подумайте
над тем, что я вам сказал.

Когда Жуапъяп, ссугулившись, выпел, Альенде резким движением растянул душивший его галстук.

— Сколько ненависти... — прошептал он и вновь прошел рукой по лицу, пытаясь унять дрожь подбородка.

Сколько пепавицти... Он же ничего им не сделал. Более того, в списке людей, которых они хотели бы уничтожить, капитан Арайя, может быть, не значился вообще. Убить просто чтобы убить, чтобы напугать, потрясти, поколобать, продемонстрировать свое почвное могущество... Изврать человека в ключья — и спокойно отправиться, нешком ли, посвистывая, глядя в звездное небо, или в автомобиле, укатить по своим делам... Как же они живут после этого? Ведь не каждую минуту они убивают! Неужели ни одна клеточка их души не дрожит, не пульсирует от чужой смертной боли? Если так, то, быть может, они и не люди вовсе?

16

Целую неделю Нья Пируса не давала о себе знать. Такое с нею случалось и раньше, поэтому Сесар не особенно беспокоился, тем более что ему хорошо работалось; сочетающие желтого и фиолетового, которое раньше мертвило его этюды, теперь задышало. В самой природе этой комбинации, казалось, лежало что-то грациозное: склоны гор для Сесара мерцали желтым и фиолетовым, отблесками этих цветов был пронитан чилийский воздух. Даже если бы он, к примеру, умер, не создав больше ничего путного, след его работы остался бы в живописи: отныне эта, пусть частная, задача решена. В таком желто-фиолетовом ключе была исполнена небольшая картина «Зима в Эль Каондель-Майно», которую он писал в четыре заезда. Желтое небо, все в дождевом дыму, сквозь который пробиваются августовское солнце, и фиолетовые, лиловые, спрепеченные склоны холодных гор, оживленные яркой щепочкой

желтых вагончиков дачного поезда на светлом росистом лугу. Картина далась Сесару трудно, но он остался ю доволен. Нет-нет да и подходил к простенку, где она висела, любовался ее тусклым сиянием и отходил с улыбкой: «Моя малютка». Такую картину мог написать лишь чи лнец.

Когда работа была закопчена, Сесар загрустил без Ка ролины. Он позвонил в редакцию «Сигло» — там все важные телефоны были хронически заняты, а по второстепен ным отвечали, что попытаются что-то выяснить и надо перезвонить через полчаса. Но через полчаса там у телефо нов сидели уже другие люди, и все начиналось спа чала.

Наконец Сесар позвонил Сарите, с которой был, пустя бегло, по знаком.

Сарита с некоторым удивлением сказала ему, что вчера Каролина собиралась на фабрику Леру, и сегодня она паверняка должна быть там.

— Вы уверены? — спросил ее Сесар. — Насколько мне известно, Каролина специалист по парламенту, а не по фабрикам.

— Да вы что, совсем не читаете газет? — возмутилась Сарита.

Сесар честно отвечал, что он был страшно занят по следнее время.

— Ну, тогда все понятно, — загадочно отвечала Сарита и бросила трубку.

Сесар явственно ощущал комплекс неполноценности: и самом деле, чем теперь можно интересоваться, если не по литикой? По требованию Каролины он добросовестно перелистывал утренние газеты. «Делай хоть это, — говорила Каролина, — а то мы с каждым днем становимся все более и более чужими». Но шум вокруг переговоров Народного единства с христианскими демократами утомлял Сесара: те заявляли, что не желают быть кислородной подушкой

дли правительства, ведущего страну к краху, эти возражали, что оппозиция сама ведет страну к краху; те заявляли, что правительство не может более безнаказанно игнорировать мнение большинства, эти утверждали, что именно они представляют большинство и выступают от его имени.

Фотографии Альенде рядом с высоким импозантным густоволосым мужчиной (как явствовало из подписей, это был пытавший председатель ХДП Патрисио Айльвина, а Сесар был убежден, что председателем ХДП по-прежнему является Фрей) и карикатуры, на которых за спиной Айльвина выступала фигура Фрея с его острым, штыкообразным посом,— все эти изобразительные средства вызывали у Сесара лишь зевоту.

Он знал, что Айльвип выступил с каким-то ультиматумом, который Альенде, разумеется, отклонил, меж тем как страна сползала к ужасающему краху. Но какое отвращение эти джентльменские переговоры имеют к поездке Каролины на фабрику Леру, Сесар не понимал.

После некоторых колебаний он позвонил приятелю и попросил его рассказать, как проехать на фабрику Леру.

— Это далеко, в Сан-Хуане,— задумчиво сказал приятель.— А зачем тебе туда?

— Рисовать, конечно,— отвечал Сесар.

— Ого, это обещает стать новым веянием в твоем творчестве. А ты что же, собираешься ехать туда на своей «стойоте»?

— А почему бы и нет?

— Знаешь, я не советую. Все-таки равнина, могут быть эскалессы. Впрочем, по-другому туда и не доберешься.

Так и не добившись от приятеля вразумительных объяснений, Сесар решил ехать на такси. Может быть, действительно вид его бронзовой машины эпатирует обитателей Сан-Хуана и доставит Каролине неприятные минуты.

Выйдя па улицу и пройдя два квартала, Сесар удивился отсутствию такси. Обычно, если он прогуливался пешком, по меньшей мере одно такси следовало за ним вдоль бровки тротуара, и стоило немалых трудов от него отвязаться. Сегодня же улицы были пустыны: ни такси, ни грузовиков, ни микроавтобусов. Стоял час сиесты, жалюзи магазинов были закрыты. Но ведь на таксистов сиеста не распространяется!

Наконец Сесару удалось остановить потрепанный, не-когда роскошный «форд» с акульими плавниками. Шофер охотно завязал беседу.

— Вы, сеньор, я вижу, приезжий, не знаете наших порядков.

— Нет, я чилиец,— отвечал Сесар,— но долго был... за рубежом.

— Ну, тогда понятно. А то, я думаю, что можно делать приезжему в Сан-Хуане. Весь транспорт забастовал. Наверно, один я по Сантьяго езжу, так что, сеньор, вам повезло. И езжу па свой страх и риск. Перехватят пикетчики, ребра переломают, а машину сожгут.

— Так-таки сожгут? — не поверил Сесар.— За что?

— А за то, что не бастую. Ожесточился парод. Я-то думал, подзаработаю па конъюнктуре, но — опасный заработок, два раза уже камнями стекла били. Наверно, сегодня последний раз выехал. Так что, пропути извишения, возьму с вас подороже. А за город вообще не повез бы. Там люди Вильярина все дороги перекрыли, убьют — и никто не узнает. И что интересно — в прошлую забастовку я, наоборот, сидел дома, так меля же лишили лицензии.

Фабрика поразила Сесара. Не то чтобы он был потрясен технической мощью (мощь как раз была не так велика, да и техника с индустрией интересовали Сесара немногим больше политики, в уме он эти понятия как-то связывал), но новые варианты занимавшей его комбина-

ции цветов открылись ему здесь в неожиданных масштабах. Лиловые и белые пары, поднимавшиеся над котельной, над моечными и сушильными цехами, уходили в иллюзию неба, как бы пропитываясь скрытым солнечным светом, и становились... трудно сказать, какими они становились, но небо всасывало их толстые клубы без остатка и светило все так же ровно.

Он вышел из машины возле проходной. Решетчатый щит с огромными деревяшными буквами «Фабрика Леру» украшен был еще и фанерным листом с припиской, сделанной краской краской — «Бывш.» Огляделся: утоптанная грунтовая площадка, засыпанная чем-то черным, вроде шлака, вся в круглых лужах, по периметру ее в отдалении — жалкие одноэтажные строения, слепленные из кусков самого разнородного материала, пустая автобусная остановка.

Водитель с интересом за ним наблюдал, высунувшись из окошка кабинки. Он не произносил ни слова, но на лице его значился насмешливый вопрос: «Ну, и что мы теперь делать будем?» Блажен не ведающий; к левому крылу его колымаги была приkleена устрашающая листовка. «Смерть предателю!» — черными буквами, и поверх этих слов — кровавая пятерня.

— Назад поедем, сеньор? — спросил наконец водитель.

Сесар покачал головой. Он колебался — сказать о листовке или промолчать. Но тут машина сорвалась с места и умчалась по Гран-Авеню.

В проходной Сесара задержали. Несколько человек в полувоенной форме, выслушав его сбивчивые вопросы, долго что-то выясняли по внутреннему телефону, поглядывая на Сесара в окошко: должно быть, его внешний вид (костюм «сафари» цвета хаки, сандалии на босу ногу, воинственная борода) плохо укладывался в какие-то рамки безопасности. Наконец со двора в проходную вошел

миловидный курчавый юноша в сцетовке, протянул Сесару руку и просто сказал:

— Лавадос, Хайме. С кем имею честь?

Сесар назвался. Фамилия его заставила юношу задуматься.

Потом он с недоверием спросил:

— Вы... из редакции «Сигло»?

Сам себе удивляясь, Сесар кивнул. Впрочем, насилие над совестью он совершал незначительное: при необходимости дело можно было повернуть так, что редакция в ответ на запрос направила его сюда.

— Вы нас простите, товарищ,— сказал Хайме Лавадос,— но обстановка такова... присутствие на территории посторонних сейчас нежелательно. Редакция нас не предупредила. Впрочем, товарищ Сото сейчас придет. Вам придется подождать ее здесь.

Сесар кивнул и, подойдя к окну, стал любоваться серебристыми гавгольдерами, которые на фоне лилового и желтого выглядели очень эффектно. Хайме (ему, видимо, было поручено занять Сесара беседой) подошел и встал с ним рядом. Некоторое время оба молчали. В желтом небе плыл вертолет.

— С минуты на минуту ждем налета,— пояснил Хайме.— Все утро кружит над головой. Поразительно: если над каждым заводом они повесили по вертолету, как же тогда с национальной безопасностью?

— Только горючее жгут, подлены,— проворчал вахтер.— Не жаль им государственных денег.

— Скажите,— с любопытством спросил Хайме,— что слышно там, наверху, об этом кармоновском законе? Не лучше ли передать право на оперативки карабинерам?

— Одна сатана, товарищ Лавадос,— возразил молодой охранник.

— Нет, ты не прав! — Хайме резко обернулся.

Завязался спор. Если бы он велся на китайском языке, Сесар имел бы не большее представление о сути проблемы. Он опасался, что сейчас его попросят высказать свое мнение, и обман обнаружится. К счастью, в это время во дворе появилась Каролина. Опустив голову, она быстрыми шагами шла к проходной.

— Ола, папи,— войдя в караулку, сказала она.— Как славно, что ты за мной заехал. Редакционная машина заезжает.

У Каролины были жалкие, больные глаза, щеки ее опали и слегка покривели. Она достала сигарету, закурила.

— Я вот за что боюсь,— сказала она, взяла Хайме за руку и повернула к окну.— Вот за это,— она указала на гаубольдеры.— Ведь они ни перед чем не остановятся. Начнут стрелять — может выйти большая беда.

— Как в Курико,— проговорил Хайме.

— Да, как в Курико. Наши уже эвакуировали оттуда. Что делается! Настоящая Хиросима...

Каролина исперхнулась дымом и закашлялась.

— Мы это учили, товарищ Сото,— сказал Хайме.

— Ну, хорошо. Держите нас в курсе дела. Если придет редакционная машина, отошлите ее обратно.

Она крепко, по-мужски тряхнула руку Хайме Лавадоса, молчаливым кивком попрощалась с охранником и, взяв Сесара за руку, вывела его из проходной.

Сесар с удивлением смотрел на нее: еще никогда он не видел Нируситу такой жесткой и решительной.

На площадке у ворот Каролина огляделась.

— Так ты на машине? — спросила она.

— На такси,— виновато ответил Сесар.— Я все хотел тебе сказать, но ты сегодня такая деловитая...

Улыбнувшись, Каролина бросила сигарету, поцеловала Сесара в щеку.

— Ладио,— сказала она,— пойдем навстречу дяде Густаво. Погуляем пешком, как влюбленные. Это мои родные места, ты хоть знаешь?

Они вышли на длинную прямую удручающе грязную улицу. Ни тротуаров, ни перекрестков, размоины, рытвины и лужи, в которых отражалось бессолнечное светлое небо. Кругом облупившиеся стены домов, в прогалах меж ними — горы отбросов, повсюду раскиданы смятые пакеты от порошкового молока, муки, макарон круны, а дальше за домами — безбрежные моря дощатых бараков, сараев и утых лачуг.

Сесар чувствовал себя как будто в другом городе, не в том, где он родился и вырос, а в особенном, специально выстроенным для съемки жалостливого фильма о жизни бедных людей.

Сказать, что он видел все это впервые, было бы неправдой: в Архитектурной школе студенты-старшекурсники специально изучали такие районы, разрабатывали планы их перестройки. Но Сесар мало интересовался этой работой: на ватманах его коллег взамен безобразных лачуг возникали не менее безобразные ряды бетонных коробок с хмурыми лоджиями. Наглядное подтверждение мысли, что идеалы количественно выражены быть не могут. Сесар был прекрасно осведомлен о существовании районов, подобных Сан-Хуану, и мог не делать большие глаза, поскольку сам молчаливо санкционировал их существование.

Но сегодня, сейчас это море убожества и грязи связалось в его сознании с любимым, прекраснейшим в мире существом, которое, нежно прижимаясь к нему, стояло рядом... И это открытие было ужасным. Так, значит, здесь можно родиться и жить, провести свое веселое детство, бегать среди этих отбросов в школьном фартучке со связкой книг в руке и быть при этом для кого-то единственной, ни где и никогда не повторимой...

Сесар стоял и не знал, что сказать. Разумеется, ему было известно, что Каролина выросла в рабочей семье, в пролетарском районе, но все это казалось ему словами, взятыми напрокат из редакционного лексикона. Он просто не представлял себе, как это выглядит в настоящем, человеческом масштабе... Сказать ей, что это ужасно? Она может оскорбиться, люди не любят, когда задевают то, что связано с детством: это неприкосновенный духовный капитал. Умилиться? Увидеть ее здесь, маленькой замарашкой, вроде тех, которые играют сейчас в проулке между домами? На это у Сесара не было сил, весь его классовый инстинкт восставал против этого.

Должно быть, Каролина угадала его состояние. Она спокойно и молча взяла его под руку, и они не спеша пошли по Гран-Авеню в сторону Парадеро-Сейс.

Каролина вновь закурила. Делала она это неумело, с преувеличенной обстоятельностью.

— Послушай, Нья Пируса, — заговорил Сесар. — Я созидаец, я назвался человеком из «Сигло», а у вахтера на столе лежит твоя газета с огромным заголовком «Родина в опасности». Я ничего об этом не знаю. Она что, действительно в опасности?

Каролина печально на него посмотрела.

— Если бы ты знал, папито, — сказала она, и глаза ее наполнились слезами, — если бы ты знал, что творится! Военные озверели... Врываются на фабрики, штыками и прикладами сгоняют в кучу людей, под дулом автоматов заставляют их ложиться на землю, лицом в грязь, а сами рыщут по цехам, ищут оружие... У них это называется оперативками... По всей стране творится эта вакханалия, и ничего нельзя сделать. Мы едва успеваем выезжать на расследования...

— А разве они имеют на это право? — спросил Сесар.

— В том-то и дело, что имеют... — Каролина отшвырнула в сторону сигарету. — Мы сами дали им такое право.

Есть закон о контроле над оружием, его предложил сенатор Кармона, и мы его приняли. Мы думали, что этот закон поможет нам обезоружить ПИЛ, а вышло так, что обезоруживают нас самих. Достаточно апонимного звонка, устного доноса, что на такой-то фабрике хранится оружие, и армия кидается на оперативку. На некоторых заводах идут настоящие бои, есть раненые, убитые... А шиловцы спокойно пользуются своими арсеналами, и никто им не мешает... Вчера взорвали нефтепровод в Курико, начались пожары, есть жертвы...

— Да, это свинство, конечно,— сказал Сесар.— Я всегда был низысокого мнения о военных. Но скажи, разве на заводах должно быть оружие?

Каролина взглянула на него и ничего не ответила. Внезапно что-то ударило Сесара в спину между лопаток. Он обернулся: в стороне возле крытого ржавой жестью сарая стояла группа подростков. По тому, как озабоченно они смотрели в противоположную сторону, о чем-то тихо переговариваясь, Сесар понял, что это дело их рук.

— Прости их,— сказала Каролина.— Для этих мест... ты слишком наряден.

— Бог с ними,— сказал Сесар,— я не сержусь. Но ты не ответила: находит на оперативках оружие? Или все это попросту самоуправство?

Каролина молчала. Она достала из пачки новую сигарету, хотела закурить, но Сесар ее остановил.

— Не надо,— сказал он, взяв Каролину за руку.

Вдруг она повернулась, посмотрела ему в лицо.

— А как ты думаешь,— резко спросила она,— как ты думаешь, если дело идет к перевороту, может рабочий класс остаться безоружным?

— Не знаю,— сказал Сесар.

Новый камень, брошенный подростками, стукнулся о землю и, отскочив, больно ударил его по ноге, по он решил не обращать внимания.

— Текстильщица с автоматом, шофер автобуса с базукой, механик с ручными гранатами — по-моему, это просто иллюзия. Все должны заниматься своим делом. Во всем мире перевороты следуют за переворотами, но кто-то в этом мире добывает уголь, лечит детей, водит поезда. Каждая разница ткачихам, кто сидит в Ла Монеде, — Альенде или полковник Супер? Людям и при Супере, и при Альенде надо во что-то одеваться, и эта обязанность...

— Молчи о людях, лучше молчи! — раскрасневшись, перебила его Каролина. — Что ты знаешь о людях? Что ты знаешь об их обязанностях? У тебя-то у самого какие обязанности перед людьми?

Сесар хотел что-то сказать, но она не дала ему возразить.

— Молчи, тебе говорят! Да, искусство нужно людям... возможно, твое искусство тоже кому-то нужно, но живешь-то ты вовсе не на искусство! Живешь ты на деньги, которых не заработал! Ты берешь деньги в долг вот у этих ткачиков, которым ты высокомерно советуешь помнить об их обязанностях. Ах, это мамашы девятерки? Не троице святой? А то, что это святое вложено в недвижимость, в жилые дома, ты хоть помнишь? И кто живет в этих домах, не интересовался? Ты берешь у них деньги, у несчастных людей, а за что? Эти дома ты сам для них строил? Грабишь бедняков и пишешь на их деньги щегольские костюмы — да еще рассуждаешь о человеческих обязанностях? А то, что эти ткачики с автоматами в руках впервые в жизни работают на себя, а не на спекулянта-француза, тебе известно? Ты думаешь, они хотят, чтобы все вернулось назад, и мечтают вновь увидеть француза? Поработать на него всласть, от души, чтобы он наконец достаточно денежек и имел возможность коллекционировать твои картины, когда ты становишься мировой знаменитостью? Может быть, ты втайне этого и хочешь. Для тебя Леру — потенциальный клиент... Но мы — не хотим! Не для этого мы три года мучаемся...

Она остановилась перевести дух. Мальчишкам паскучило швырять в них камнями, и они стали подбираться поближе, прислушиваясь к странному разговору стоящих посреди улицы людей.

— Послушай, ты устала, — сказал Сесар. — Поедем ко мне.

— Нет, — упавшим голосом ответила Каролина и отвернулась. — Я к завтрашнему дню должна сдать статью.

— Ну, завтра и сдашь.

— Ты сумасшедший, — дрожащими руками Каролина вытряхнула из пачки сигарету и закурила. — Нельзя терять ни дня.

Она с жадностью затянулась, вскинула голову и открыто, даже, пожалуй, вызывающе посмотрела Сесару в лицо.

— А ведь ты, мой милый, мумия, — выпуская дым, сказала она. — Настоящий матерый момьячо.

Подростки, стоявшие от них уже шагах в десяти, пошептались с малышкой и, злорадно улыбаясь, вытолкнули вперед двоих мальчишек. Чумазые, сопливые, одетые в просторные обноски малыши принялись плясать и выкрикивать:

— Кто не скачет, тот момьячо! Кто не скачет, тот момьячо!

Вдалеке подпрыгивала на ухабах приближающаяся к ним машина.

— Напрасно ты, — глядя себе под ноги, сказал Сесар, — напрасно ты все свое ожесточение переносишь на меня...

Заслыпав шум мотора, подростки постарше с независимым видом, сунув руки в карманы и посвистывая, стали расходиться. Бросились врассыпную и малыши. Машину подкатила, это был «фольксваген» редакции.

— Пиусита? — высунувшись из окна, прокричал дядя Густаво. — Извини, никак не мог поспеть вовремя. Давно ждешь?

— Ничего, — сказала Каролина и пошла к машине.

Дядя Густаво вопросительно посмотрел на Сесара, который не двинулся с места.

— А товарищ с нами?

— Нет,— ответил Сесар.— Товарищ не с вами.

И зашагал прочь.

17

Вечером десятого августа в сопровождении Оливареса Альенде поехал на Центральный пункт неотложной помощи, где в палате ожогов находились семнадцать жертв пары в Курико.

Настроение у президента было подавленное, он сидел, отвернувшись от Оливареса, и смотрел на пустынные улицы города, не привычно свободные от транспортного потока, на огромные толпы возле магазинов, на прохожих, которые молча провожали взглядами скромный президентский кортеж.

Страшная гибель Арайи покрыла все эти дни своей тенью. Альенде был хорошо знаком со смертью, много раз видел ее во всей ее нагой простоте и никакого мистического ужаса перед ней не испытывал. Необратимость потери его терзала, но на седьмом десятке имеешь за плечами вищительный ряд необратимых потерь.

Мучительно, тяжело умирал отец. То было в бурном тридцать втором году, Альенде ожидал приговора военно-го трибунала, он был арестован на митинге в юридической школе. Его привели к отцу под конвоем, и с первого взгляда он понял, что часы отца сочтены. Глядя в сторону, бесцветным голосом отец говорил о том, что не сумел обеспечить своим детям достатка и оставляет им лишь незапятнанное имя честного человека, а много это или мало — решать должны каждый сам для себя, таким капиталом нужно еще уметь воспользоваться... И на лице его была печать отрешенности, оно как будто светлело сквозь сумрак. На следующий день отец умер, и десятки лет прошли с

того времени, но сердце до сих пор сжимается при воспоминании о тихой, почти равнодушной скорби, звучавшей в угасающем отцовском голосе. Быть честным человеком для Альенде означало не запятнать себя конформизмом по отношению к погрязшему в маразме строю, и весь отцовский капитал — незапятнанное имя — он пронес сквозь годы не-растраченным и целиком вложил его в победу семидесятого года...

В лице Артуро Арайи, хотя этого человека и не мучил тяжкий недуг, видна была при жизни та же скорбная тень, как будто он предчувствовал свою ужасную кончину. Артуро был болезненно чуток, и, может быть, по каким-то неясным признакам он уловил, что его избрали мишенью... Порой достаточно бывает беглого взгляда из толпы, чтобы прочесть в этом взгляде свою судьбу. Альенде корил себя за то, что не отнесся к тревогам своего друга внимательнее: читал ему политические сентекции — вместо того, чтобы его поберечь. Убив Арайю, «антитрата» давала Альенде понять, что его ожидает. Хоронили не адъютанта, хоронили его самого — изрешеченного, истекшего кровью, в наглухо закрытом гробу.

...Днем они с Оливаресом заезжали на рынок Вега Сентраль — ничего, кроме камышовых циновок и глиняных горшков. Свежие овощи были завезены утром в таком причудливом количестве (их доставляли на повозках и тракторах с прицепами только из ближних пригородов, дальше дороги были завалены камнями, засыпаны гнутыми гвоздями, перекрыты завалами из срубленных тополей), что их расхватывали в течение получаса. Сотни людей толпились в ожидании завтрашнего подвоза — и это несмотря на то, что было объявлено: цепы для оптовиков к утру возрастут вдвое, что для потребителя обрачивалось пяти-семикратным увеличением. И немудрено: ожидались лишь две колонны монархических грузовиков, которые в сопровождении карабинеров пытались пробиться к городу.

— Черт его знает, — бурчал Оливарес, — отчего крестьяне молчат. Им ведь тоже нет выгоды от такой блокады: скоропортящийся товар пропадает, семена не подвозятся, так и посевную можно загубить.

Альенде молчал. Вильярии прекрасно понимает, что делает: у него в руках мощный экономический рычаг, сорок тысяч тяжелых грузовиков американского производства, для которых, даже в случае их конфискации, не найдется ни водителей, ни запчастей. Сегодня перед Вильярииом был поставлен ультиматум: или он прекращает забастовку в течение сорока восьми часов, или в шесть вечера двенадцатого августа начнется реквизиция машин. В ответ он позволил себе зубоскалить: «Сеньор Альенде, вся страна сейчас смотрит комедию «Девушка, которая не умела говорить «нет». Так вот, Чили — это не та безотказная девушка, Чили умеет говорить «нет». И мы говорим вам, сеньор Альенде: нет. Ни вы, ни ваши марксисты нас не устраиваете».

Да, мелкий собственник непоследователен, осторожен. Но когда его ищущий одет в металлы мощных машин, это страшная сила, и мы, к сожалению, этого не учли.

Что же делать, как остановить фронтальное фашистское наступление? Объявить клику Вильярина вне закона, арестовать его самого как изменника и предать суду за агрессию против экономики Чили? Ни конгресс, ни Верховный суд не пропустят это решение. Вильярии, безусловно, изменник, он расплачивается со своими подручными валютой, которая поступает из-за рубежа. Североамериканские монополии не могут забыть успешного претворения в жизнь «доктрины Альенде» о национализации горнорудных богатств, а господа Киссинджер и Никсон проявляют отнюдь не философскую заинтересованность в том, чтобы чилийский мирный эксперимент был прекращен как можно скорее. Тактика ясна: вызывают хаос — и кричат о хаосе, делая вид, что это объективная реальность, а не их

рук дело. Нет сомнений: только решительное подключение вооруженных сил к выполнению правительственной программы может предотвратить развитие забастовки. Опыт прошлого года — тому подтверждение. Мы сорвали их планы тогда, можем сорвать и сейчас.

Оппозиция согласилась на создание кабинета с участием военных. Айльвиш, правда, оговорился при этом, что «само по себе новое правительство не удовлетворяет потребности страны в гарантировании восстановления порядка и безопасности» (типичная для сеньора Айльвина тяжеловесная формулировка — как будто дону Патрисио известны такие меры, которые сами по себе удовлетворили бы эту потребность, не говоря уже о том, что страна пушдается вовсе не в гарантировании, а просто в восстановлении порядка); пациональная же партия коротко констатировала свою поддержку идеи вхождения военных в кабинет. Видимо, сеньор Харпа рассчитывает на то, что в высшей тяжелой обстановке это шаг к созданию чисто военного правительства.

В кабинет вошли генерал Пратс, адмирал Монтеро, генерал Руис и генеральный директор корпуса карабинеров Сепульведа. На этих людей Альенде полагался, он был уверен в их гражданской и человеческой честности, каждый из них был по-своему ему симпатичен. Прямодушный, мужественный и в то же время застенчивый Пратс, хмурый, даже несколько угрюмоватый, по в сущности добрейший человек Монтеро, высоколобый умница Сепульведа...

Поведение Руиса в день «Танкаса» оставило в душе Альенде тягостный осадок. Ходили слухи, что Сесар Руис метит в диктаторы, по эти слухи ничем конкретным пока не были подтверждены. Руис занял пост министра общественных работ и транспорта, он уже начал переговоры с бастующими камьонерос. Как знать, быть может, ему удастся заставить Вильярина пересчитать претензии транспортников на пальцах и подвести черту.

Выйдя из Красного зала и спустившись в вестибюль
На Мопеды, четверо новых министров были окружены кольцом газетчиков. Люди «Меркурио», «Сегунды», «Терсеры» не намерены были упустить свой материал, но генерал Руис прошел сквозь толпу, «как пупческое ядро с глазами назыкате» (выражение Оливареса, оно эту сцену пересказывал в лицах), меж тем как Пратс, Монтеро и Сенульведа вынуждены были отбиваться от острых вопросов.

Адмирала спросили: «Ходит слух, что вы не имеете экономического образования. Как же вы представляете себе свою деятельность на посту министра финансов? Не будут ли изобретенные вами налоги изумлять профессоров экономики?» Монтеро ответил: «Будут, если я обложу налогами самих профессоров».

Сенульведа был поставлен перед таким вопросом: «Имеется ли прецедент в истории Чили, чтобы глава полиции был введен в правительство? Похоже, этого не делали даже диктаторы худших времен. А в каких странах это принято?» Сенульведа ответил: «В демократических. Именно в демократических странах принято, чтобы главой полиции был человек, пользующийся доверием правящих партий».

Пратсу был задан самый невинный (по форме) вопрос: «Генерал, чем объяснить столь высокое доверие к вам президента?» «По-видимому, президент знает, что я честный солдат», — ответил Пратс и вдруг, сорвавшись, закричал: «Я честный солдат, я сорок лет отдал службе отечеству, и никому не позволено меня оскорблять!» Дона Карлоса печать подвергла особенно изощренной травле, в ход пускались самые дикие измышления: и то, что Пратс был якобы заинтересован в гибели Шнейдера, расчистившей ему дорогу к вершинам военной карьеры, и то, что он будто бы является законспирированным членом социалистической партии. Личная храбрость, проявленная им в день «Танкаса», подвергалась сомнению: экая невидаль, с пистолетом в руке выехать на джипе против танков, пстра-

тивших свой боезапас! Честнейший Пратс переживал нападки прессы острее, чем они того заслуживали.

В новом правительстве генерал Пратс занял пост министра обороны, Сецульведа — министра земель и колонизации. Упреки в политизации вооруженных сил и корпуса карабинеров Альянде не страшили: Вильярин и компания разрушили экономические связи внутри страны, расшатали ее хозяйственную структуру и тем самым нанесли тяжелый ущерб национальной безопасности, так не прямой ли долг военных и карабинеров заняться восстановлением стабильности? Могут ли они оставаться безразличными к тому, что группа авантюристов в угоду своим узким интересам обрекает на паралич пятьдесят процентов промышленности и подвергает голодной блокаде города?

Долго ехали молча. Аугусто Оливарес, теребя усы, поглядывал на печально задумавшегося президента.

— Вот, на рынке подобрал, — пробормотал он, протягивая Альянде мокрую, с грязными разводами бумажку.

Альянде с усилием повернул голову, брезгливо, двумя пальцами, взял листок.

«Граждане Чили! — прочитал он. — Творите справедливый суд, расправляйтесь на месте с левыми насилиниками, расхитителями страшы! Вы свободны от обязанности держать ответ перед этими властями. Обо всех ваших справедливых акциях (равно как и об очередных преступлениях так называемого Пародного единства) сообщайте только представителям вооруженных сил! Предъявление настоящей листовки освободит вас от ответственности за *меры возмездия!*»

Ничего не сказав, Альянде вернул листовку Оливаресу.

— Ныне отпущаешь... — сказал Оливарес. — Своеобразная индульгенция геноцида. Тата, а не слишком ли мы абсолютизуем мирный путь? Для него, как минимум, требуется согласие обеих сторон.

— Ты не прав,— ровным голосом возразил Альенде.— Добровольного согласия мы от них не добьемся. Навязать им мир — вот наша задача.

— Ну, а как же с этой ссылкой на вооруженные силы?

— Тактика,— ответил Альенде.— Голая тактика. Они делают вид, что армия уже с ними. Значит, армия несет ответственность за хаос. Именно это армию и отшатывает.

Снова наступила тягостная тишина. Хано, втянув голову в плечи, вел машину так бережно, как будто улица была запружена многотонными грузовиками.

— А не заехать ли нам в ДИНАК? — предложил Аугусто.— Это не так далеко, угол Сан-Хоакин — Санта-Роса.

Альенде огляделся.

— Что ж, можно,— ровно проговорил он.— На обратном пути.

— На обратном пути будет поздно,— возразил Аугусто.— Сейчас там идет перегрузка.

Альенде подумал. Сегодня утром колонна грузовиков с первом прорвалась по Панамериканской магистрали. Прорвалась с боем, по дороге несколько раз пришлось разбить баррикады, машины были обстреляны.

— Хорошо,— сказал пакопец Альенде.— Хано, едем на Сан-Хоакин.

В огромных подвалах Национального распределительного центра (ДИНАК) было сумрачно, но сухо. Колкая пыль от мешковины висела под низкими сводами, тускло светили электрические лампы. В глубине просторных галерей слышались гулкие голоса, там с лихорадкой озабоченностью, горбясь, сновали люди, казавшиеся отсюда, от входа, одинаковыми — коренастыми и плотными.

Некоторое время Альенде, Оливарес, Рамон и сопровождавший их унтер-офицер, начальник складской охраны, шли по сводчатой галерее незамеченными. Молодые ребята, мальчишки и девчонки в просторных, не по росту, спецовках, катили мимо них тяжелые груженные тугими

мешками тележки. Под колесами путались, мешая движению, какие-то толстые провода.

Дорогу гостям загородила группа телевизионщиков, которые, суетясь, устанавливали на треногах осветительную аппаратуру.

— Твоя работа? — усмехнувшись, спросил Оливарес Альенде. — Заманил па съемку?

— Нет, это трипнадцатый канал, — сказал Оливарес, глядываясь. — Католики играют в объективность.

Командовал съемкой немолодой лысоватый толстячок с тощим пронзительным голосом.

— Аугусто! — вскричал он. — Какое взвесение! Рад вас видеть, сеньоры! Мне как будто подсказали сердце! Подождите, ради бога, сейчас включим полную иллюминацию и снимем ваш проход по галерее.

— Привет, Варгас, — сказал Аугусто. — Не суетись, ничего не получится. Мы только на пять минут.

— Ну, что ты, я не могу упустить такой шанс! Ребята, ребята, поживее!

— И что же, будете показывать? — спросил, подойдя, Альенде.

— Обязательно, президент, обязательно будем! — дружелюбно отозвался Варгас. — После завтра в двадцать два тридцать.

— Я представляю, что получится, — явственно сказал Аугусто. — «Общество будущего, как его мыслит Народное единство! Вот что ожидает чилийскую молодежь после выборов семьдесят шестого года!»

Варгас обиделся.

— Ты меня с кем-то путаешь, Аугусто, приятель! Посмотри, какие кадры! Потные лица, улыбки при свете фонарей! Это праздник, гайо, а праздник не скроешь, как писнай.

Вспыхнули софиты, в их жарком свете стены галерен как бы раздались. Стая девчушек, выкатив свою тележ-

ну на освещенное место, замешкалась. Пересмеиваясь, дончушки стали усиленно прихорашиваться, вытирая потные, разгоряченные лица, подбирать выбившиеся из-под косынок и шапочек волосы.

— Проезжайте, не задерживайтесь, кинозвездочки мои дорогие! — произительно закричал Варгас. — Я сниму вас на обратном пути!

— Ну, что ж, желаю успеха, — сказал ему Альенде.

— Никуда вы от меня не скроетесь! — весело отвистил Варгас. — Те ворота закрыты, я уже проверял.

Альенде свернул в боковую галерею. После яркого света ему показалось, что он попал в кромешную темноту. Здесь было еще более душно, от пыли першило в горле. Возбужденно перекликаясь, добровольцы тащили тяжелые мешки волоком по полу, поднимали их втроем-четвером, укладывали на широкие столы. Под ногами хрустело просыпавшееся зерно. Кто-то, пятясь, толкнул президента, остановился, выпрямился, заглянул ему в лицо.

— Альенде! Ребята, здесь Альенде!

И минуту спустя, когда глаза привыкли к свету, Альенде увидел себя окруженым тесным кольцом молодых ребят. Передние, держась под руки и глядя в лицо президенту, скандировали:

— Альенде, Альенде, эль пуэбло те дефьенде! Альенде, Альенде, тебя защищает народ!

Задние напирали, бессознательно пытаясь смять это живое кольцо, пододвигнувшись к президенту поближе. Забирались на столы, на груды мешков. Альенде, Рамон и Оливарес стояли как бы в центре огромной людской воронки. Рамон беспокойно озирался, но Оливарес сказал ему на ухо:

— Не бойся, Натучо, здесь безопаснее, чем в Ла Монеде.

— Альенде, Альенде, эль пуэбло те дефьенде! — гремело под сводами галереи.

Запыленные, чумазые лица юношей и девушек казались яркими, светлыми, неправдоподобно красивыми. Растроганно улыбаясь, Альенде поднял руку, стало тихо.

— Мне жаль, — сказал Альенде, помолчав, — мне жаль, что вечера своей юности, каждый из которых бесценен, вы вынуждены проводить в этих глухих подвалах... Неожиданно ли вы о своей юности, когда все это будет позади?

— Нет! — закричали вокруг. — Нет!

— На стенах Парижа кто-то написал справедливые слова: «Революция сначала делается в душах людей, а потом уже на практике». В ваших душах, я это чувствую, революция уже произошла. Как мне хотелось бы увидеть вас в двухтысячном году... полными хозяевами страны... но боюсь, что мне не дотянуть до этого года. Впрочем, если постараться... как вы думаете?

— Надо постараться, товарищ Альенде! — крикнул прапорщик из толпы. — Обязательно надо!

— Хорошо, если вы так просите... Я счастлив быть вместе с вами сейчас, счастлив видеть, как в этом полу-мраке, в сиянии ваших глаз и улыбок расцветают цветы двухтысячного года. По дороге мне было горько, и ехал сюда в тяжелых раздумьях, но сейчас я твердо знаю, я уверен: мы победим!

Кто-то чуть выше, чем надо, запел «Венсеремос», все подхватили, вначале нестройно. Но сзади крикнули:

— Товарищи! Наш президент пришел сюда не за тем, чтобы слушать, как мы поем! Петь можно и работая!

— Правильно! — зашумели вокруг.

Живое кольцо распалось, молодежь вернулась к своим рабочим местам. Песни, на минуту пропавшие в суете, вновь ожила в разных копцах галерен.

— Венсеремос! Венсеремос! — гремело под сводами подвала. — Мы оковы свои разобьем! Венсеремос, венсеремос! И на горе управу найдем!

— Спасибо тебе, Перро! — сказал президент Оливаресу. — Как хорошо мы сделали, что приехали сюда! Здесь аккумулируется вакуумальная энергия! Красив наш мир! Красив.

Они пошли по галерее в глубь подвалов. Песня кончилась, теперь добровольцы скандировали в такт работе:

— Эль пузбло — унидо — хамас сера венсио! Народ — един — и он не победим!

Рамон немножко отстал. Он был видный парень, и ему приходилось отвечать на задиристые выкрики девчонок:

— Эй, флако! Фео! Баго! Эй, тощий! Страшила! Лентяй! Что ты здесь потерял?

— Он ищет невесту!

— Нет, выбирает мешок полегче!

— С дырой, чтобы сыпалось по дороге!

Рамон не оставался в долгу.

— А ну-ка, дайте мне вон ту, чумазую!

— Деррики!

И веселый мальчик, описав в воздухе дугу (его раскачали, взяв за углы, несколько девчонок), полетел на Патучо. Рамон, однако, изловчился и схватил подарок обеими руками прежде, чем он рухнул на пол.

Раздался дружный хохот.

— Вот это хватка!

— Смотри, как держит, в обнимку! Прямо за талию!

— Он думал, что это красотка! Упала на него прямо с потолка!

Между тем Альенде и Аугусто остановились возле обширного стола, на котором девушки зашивали, не высыпая содержимого, порванные мешки.

— Смотри, дружок, — сказал Альенде Рамону, который, запыхавшись, вырос у него за спиной. — Вот девушка, которую ты, помнишь, обидел. Которая все понимает. Или забыл?

— Никак нет,— ответил Рамон,— не забыл. Она мно-
бошлась в трое суток. Да еще два наряда добавил ко-
мандант — за то, что это случилось при исполнении.
Как можно такое забыть?

— Не говори слишком много,— остановил его Альен-
де.— По-моему, с ней что-то случилось, у нее заплакан-
ные глаза. Мы пойдем дальше, чтобы ее не смущать, а ты
подойди и спроси. Понял?

Работая иголкой, Мануэла быстро взглянула на подо-
шедшего Рамона и слабо улыбнулась. Действительно, ее
личико казалось бледным и осунувшимся, темными и за-
павшими были глаза.

— Привет, Мануэлита,— сказал Рамон.— Узнаешь?

Мануэла кивнула, щеки ее пемного порозовели. На-
клонившись, она перекусила зубами личинку и отодвинула
мешок на столу. Молодой паренек с живенькой бородкой,
стоявший возле нее, остро взглянул на Рамона, подхватил
мешок, вскинул его на плечи и, нетвердо шагая от тяже-
сти, отошел.

— Послушай, ты не устала? — спросил Рамон.— Здесь
воздуху мало. Поднимись паверх, подыши.

Мануэла покачала головой и наклонилась над следую-
щим мешком. Слезы градом закапали на доски стола.

— Ну, что ты, что ты... — пробормотал Рамон.— Такая
боякая была — и плачешь. Стряслось что-нибудь?

Мануэла кивнула и потупилась, а слезы продолжали
капать.

— Отец... — проговорила она и не смогла больше виче-
го сказать, видимо, боясь заплакать в голос.

Вернулся парень — как Рамон догадался, брат дев-
ушки.

— Машину его перехватили в дороге пикетчики... —
хмуро ответил он на осторожный вопрос Рамона.— Выта-
щили из кабинки, били... железными палками...

— Убили? — тихо спросил Рамон.

— А, лучше бы сразу... — парень махнул рукой и отверпился. — Руки, ноги, спина... все переломано...

Рамон сморщился и зябко передернул плечами.

— Оп что, из Патриотического движения?

— Нет, бастовал. На «Сопроле» молоко пропадало, машина стояла, а водителя не было... Отец случайно там оказался. Попросили его отвезти...

Паренек взглянул на Рамона, глаза его засверкали.

— Опи же трусы, подлещи, двенадцать человек на одного безоружного! Если бы рядом сидел автоматчик...

— Мы посыпаем армейские конвои, — угрюмо сказал Рамон. — Но это когда идет колонна...

Парень презрительно скривился.

— Армейские конвои... Уж лучше бы они сидели в казармах, защитники.

— Нашли виновных?

— Да разве их найдешь, — тихо проговорила Мануэла, штирая пальцами слезы на щеках.

— Когда и где это случилось? — спросил Рамон.

— Да в двух шагах от «Сопроле», вчера утром... — ответил парень.

— Ребята, не горюйте, — обняв их за плечи, сказал Рамон. — Я передам президенту, он все поднимет на ноги... Мы их найдем!

— Это я, я одна виновата... — прошептала Мануэла, когда Патучо отошел. — Я его все время попрекала...

— Не говори глупостей! — прикрикнул на нее брат. — Ничего, скоро все переменится! Скоро и у нас будет сила... Скорее, чем ты думаешь.

18

Здание министерства обороны находилось на площади Бульвареса, у восточного фасада Ла Монеды. Здесь проходили могли встретить генералов всех родов войск, идущих

пешком из дворца в министерство или обратно в сопровождении адъютантов либо попросту, без свиты. Здесь оперативные газетчики могли подстеречь любого высокопоставленного военного и взять у него интервью на снегом воздухе. Генералы не чурались таких встреч, наглядно демонстрирующих демократизм вооруженных сил. Впрочем, бывали дни, когда мундириная цепочка между дворцом и министерством прерывалась, и на монцепом тротуаре здесь было легче встретить живого папуаса, чем генерала вооруженных сил Республики Чили.

Здание министерства жило своей замкнутой жизнью. Стеклянные двери его вестибюля то и дело посверкивали, выпуская и выпуская озабоченных офицеров с чиновничими папками и портфелями, но, едва ступив на тротуар, офицеры садились в выкатывавшиеся из подземного гаража машины и исчезали. Незадачливый репортер, выжидавший своего часа, мог надеяться только подслушать отрывистые указания шоферам: «В академию» или, скажем, «В генштаб».

Здесь можно было встретить и американцев: на втором этаже министерского здания помещалась миссия американских ВВС, на седьмом — группа американской военной помощи, на восьмом — миссия сухопутных сил США.

Вечером после присяги нового кабинета с участием Пратса, Монтеро, Сенгульведы и Рунса на четвертом этаже министерства состоялась скромная рабочая церемония вступления на посты новых исполняющих обязанности командующих родами войск. По окончании церемонии в кабинете командующего сухопутными силами собрались генерал Пиночет, адмирал Мерино и генерал Ли.

Дон Аугусто Пиночет Угарте, усердный службист и штабной работник, четырехзвездный генерал, первый в нехотном списке № 1 после Пратса, в третий раз уже приступал к командованию сухопутными силами на время

пребывания Пратса «в политике». В армейской среде подозревали, что генерал Пиночет значительно больше напоминает Шнейдера, чем простоватый Пратс: многолетняя преподавательская работа (дон Аугусто читал лекции в военных училищах Чили и Эквадора) сообщила его манерам академическую сдержанность, а солидный дипломатический опыт (дон Аугусто был в свое время военным атташе в Вашингтоне) придал окончательный лоск; как и генерал Шнейдер, дон Аугусто не был чужд радостям творчества и опубликовал серьезную книгу по вопросам geopolитики, которую, впрочем, мало кто читал.

У дона Аугусто было лицо усталого скептика: мешки под глазами, нижняя губа и щеки немножко отвисли, но не настолько, чтобы это отталкивало, скорее выдавало в нем любителя беззлобно побрюзжать. Очки в светлой роговой оправе, генеральские усы, редкие, но ровные, без залысин, волосы, будничная, но пристойная внешность. Лишь иногда в разговоре дон Аугусто забывал о своей нижней губе, и она отвисала чуть больше, чем нужно, и открывала нижние мелкие и желтые зубы, что придавало лицу генерала несколько зловещий вид. Впрочем, дон Аугусто помнил об этой своей особенности и старался следить за собой: когда молчал, он плотно сжимал губы, а ведя разговор, поглаживал нижнюю часть лица рукой, проверяя, все ли в порядке.

Собеседниками и гостями Пиночета были авиационный генерал Густаво Ли Гусман, сухощавый человек с лицом горбuna, и адмирал Хосе Торибио Мерино, казавшийся посредственным актером, загримированным под флотоводца, с сердитыми усами, в стариковских очках, в чрезмерно широком двубортном флотском кителе, который болтался на нем, как на вешалке, и словно позаимствован был в костюмерной. Впрочем, комический вид адмирала не соответствовал его праву, угрюому и властному: под его началом в Первой военно-морской зоне (район Вальпара-

рансо) действовали свирепые законы военного времени. С сегодняшнего дня адмирал Мерино замещал командующего ВМФ Монтеро, а генерал Ли — командующего ВВС Руиса.

Шел общий, ни к чему не обязывающий разговор.

— Я много раз предупреждал дона Карлоса, — говорил, поглаживая подбородок, Пиночет, — что его лояльностью злоупотребляют, и, чем активнее его втягивают в политику, тем больше он отдаляется от вооруженных сил. Увы, дон Карлос чрезмерно прямолинеен, его понимании конституционализма грепит, я бы сказал, однобокостью. Я знаю его с сопливых времен военного училища, считаю весьма способным человеком, и мне не хотелось бы думать, что дон Карлос заворожен пением коммунистических сирен, восхваляющих сладость марксизма. Но, как бы то ни было, нельзя же, в самом деле, жертвовать своей репутацией ради спасения правительства, которое тем лишь хорошо, что пришло к власти в результате выборов. Если оно неспособно удержаться на плаву — пусть уходит. Правительства сменяются, армия остается... как говорит наш общий друг Польони, «при своей стойкой профессиональной идиосинкразии в выполнении долга и при своих военных добродетелях».

Подполковник Альберто Польони был автором учебника для военных училищ, пронизавший над которым стало хорошим тоном в офицерской среде. Поэтому бледные тощие губы генерала Ли тронула вежливая улыбка. Адмирал же, принципиально не понимавший шуток и давни забывший те учебники, по которым учился, по-прежнему пребывал в мрачном оцепенении, как крупный паук, не видящий перед собой добычи. Однако звук слов «военные добродетели» заставил его содрогнуться и выдавить из себя что-то хриплое, похожее на кашель.

— В определенном смысле, — недоуменно взглянув на адмирала, продолжал дон Аугусто, — мы, военные, дейст-

нительно являемся конституционным гарантом, но гарантируем не жизнеспособность каждого отдельно взятого правительства... сие, как говорится, от нас не зависит... в самый процесс законной сменяемости правительства, коль скоро он вообще возможен. Мы поддерживаем не правительства, это дело политических партий, а общий порядок вещей. Вот в чем ошибка дона Карлоса и тех, кто сегодня нас покинул. Они становятся игрункой в руках политиков с их амбициями и тем самым отчуждают себя от вооруженных сил.

Суесловие хозяина кабинета раздражало гостей: Пиньо чет давно уже дал им понять, что они могут «держать курс надежды», и неоднократно намекал на то, что под его руководством Военная академия и генштаб разрабатывают план «восстановления внутренней безопасности», и вот теперь, вместо того чтобы раскрыть детали этого плана, заставляет их высматривать набившие оскомину происшествия. Однако субординация обязывала их терпеть: сухопутные силы в списке родов войск находились на первом месте, что традиционно рассматривалось как главенство. Кроме того, положение Пиньо было намного прочнее, чем у них обоих. Дон Аугусто являлся по выслуге лет непосредственным и законным преемником Пратса, между тем как адмирал Мерино был всего лишь начальником одной из военно-морских зон, пусть даже самой надежной, прославившейся «бастионом правопорядка»: ему еще предстояло доказать свое лидерство в адмиральской среде. Что же касается генерала Ли, то всему свету было известно, что Руис держал его в подмастерьях и ни при каких обстоятельствах не собирался отказываться от своего первенства, имел на этот счет далеко идущие планы. Если провал сегодняшнего правительства (на что все трое рассчитывали) позволял поставить вопрос о пребывании Пратса и Монтеро в рядах вооруженных сил, настолько они связали себя поддержкой Народного единства, то сва-

лить генерала Руиса с ними заодно не представлялось возможным, здесь нужно было разработать особый план действий, и генерал Ли надеялся на хитроумие добра Аугусто, которому диктаторские амбиции Руиса были тоже не с руки. Вот почему Ли, не забывая о том, что он на два дня старше Пипочета (этот козырь, весьма существенный для чилийского генералитета, Ли приберегал на последок — когда «проблема Руиса» будет наконец урегулирована), — вот почему он терпеливо слушал брюзжание хозяина.

Дон Аугусто лицедействовал, изображая благодушную воркотню сделавшего свое дело и довольного собой профессионала. Работа действительно была проделана внутренняя. Дон Аугусто с максимальной полнотой использовал возможности, открывавшиеся перед ним дважды: с ноября по март и с апреля по одиннадцатое июня, когда он заменил Пратса на посту командующего сухопутными силами. Прежде всего, он объездил все нехотные части, расквартированные от Арики до Отгненной Земли. Осторожно прощупывал настроения командующих, собирая офицеров и, делая вид, что желает им лично представиться в новом качестве (для многих из них он был всего лишь командующим провинциального гарнизона в Икике, выдвинутым волей правительства Народного единства), проводил беседы «на общие темы». Не рискуя играть в открытую, дон Аугусто разработал несколько несложных приемов, позволявших ему направить разговор в нужное русло. Начинал обычно с сожаления по поводу гибели Шнейдера. «Дурной знак, — говорил он, сокрушенно покачивая головой, — дурной знак. Политические убийства военачальников никогда не были в традициях чилийской армии. Как прискорбно, что приход доктора Альенде ознаменовался таким ужасным событием!» И, не углубляясь в обсуждение этой темы, дон Аугусто начинал сетовать на состояние экономики. «Вонстину волосы встают

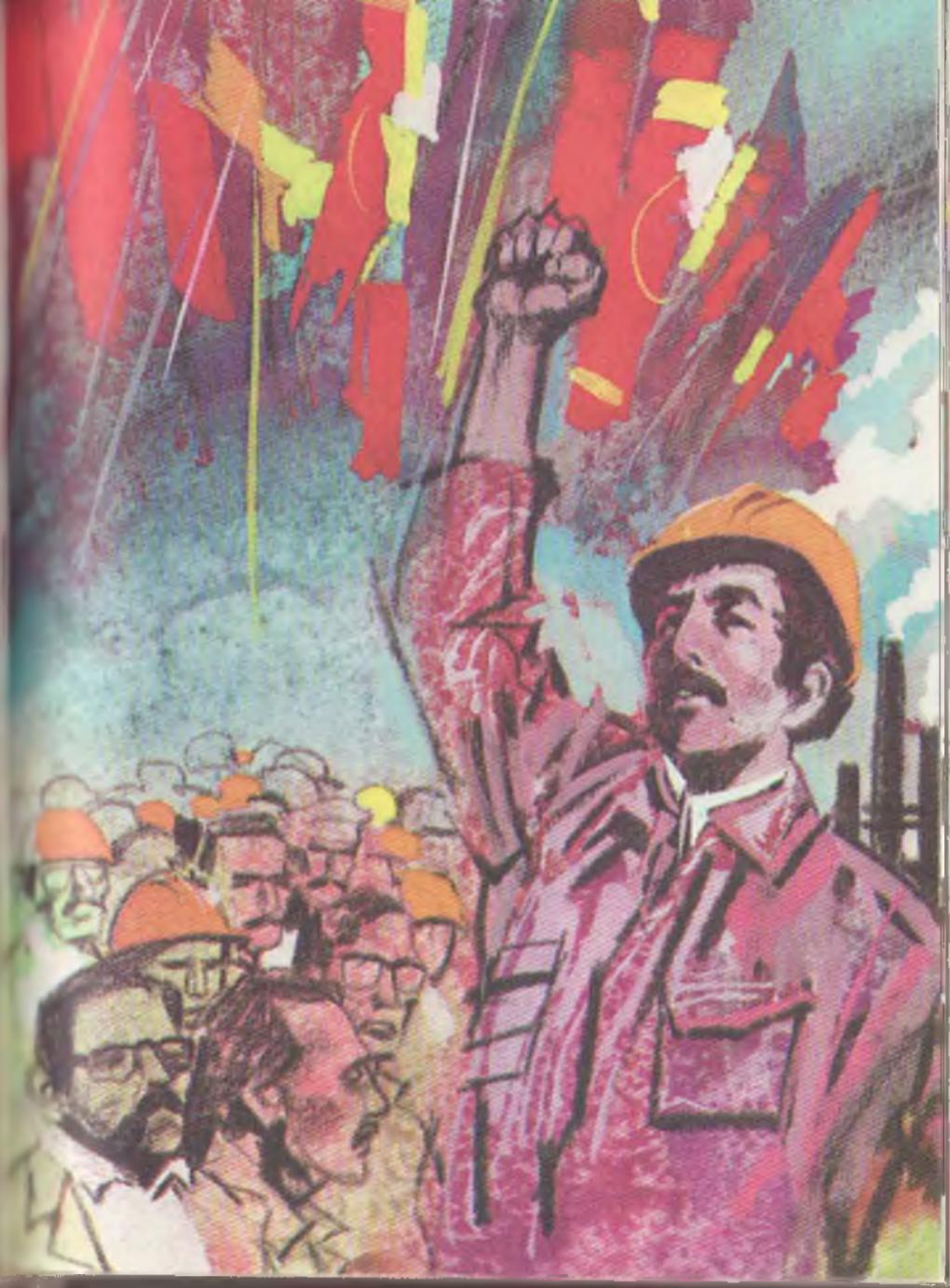
дыбом, — цитируя знаменитого плакальщика дрожащего мира, говорил он. — Предприниматели теряют интерес к производству, выгодной становится лишь спекуляция. Иностранных предпринимателей распугали своими националистическими амбициями, денежная масса растет, пепчтает по семьсот эскудо в секунду. У всякого лютника в карманах драных штанов — толстые пачки денег, а магазины пусты. Контроль за ценами, налоговая политика, волна экспроприаций — не создается ли у вас, господа, ипечатления, что кто-то задался целью разрушить всю экономическую структуру страны?» Если ответ на этот вопрос был уклончивым, сдержаным, дон Аугусто заходил с другой стороны. «Где же традиционная вежливость и предупредительность чилийца? Повсюду хамство, агрессивность, дурные манеры. Простолюдин с гораздо большей охотой спешит на уличный митинг, чем к своему рабочему месту, и он по-своему прав: зарплата ему начисляется все равно... и даже растет. Подростки толпами слоняются по улицам с самодельными трашпарантами, выкрикивают грубости, и никто не призывает их к порядку. Более того, с отеческой теплотой этих бездельников именуют «молодыми идеалистами», любуются их наглостью, чуть ли не поспеваю ее». Вот это был уже безотказный ход: пусть оставалось неясным, кого дон Аугусто имеет в виду, во рты сетования находили живейший отклик «в простых и честных офицерских сердцах». Далее дон Аугусто припоминал, что визит Фиделя Кастро в 1971 году неоправданно затянулся, кубинский вождь гулял по стране двадцать пять дней, как по собственной гостиной, вмешивался во внутренние дела, читал революционные памфлеты. Дон Аугусто отлично знал, что этот визит вызвал у многих офицеров раздражение. И если сочувственные реалики становились достаточно громкими, он с лицемерием заходом заключал: «Но будем держать курс надежды. Надежды на природное здравомыслие среднего чилийца.

Рано или поздно парод должен очнуться от эйфории и взглянуть трезвыми глазами на создавшееся положение. На этой стадии беседы необходимо было дьявольски изощренное чутье. Дон Аугусто вглядывался в лица офицеров и если замечал хоть тень скепсиса, клятвенно заверял собравшихся, что он не марксист, а всего лишь военный, терзаемый тревогой за судьбу родины. И патетически заключал: «Как знать, господа, парод ведь может вымыться с существующим положением, принять его как нормальное, и в этом смысле время работает против Чили».

Два гарнизона не пожелали попять цамека: там большинство офицерского корпуса составляли хоть не марксисты, но «прогрессисты», до сей поры не опомнившиеся от восторгов, связанных с национализацией меди. Дон Аугусто пережил в этих гарнизонах несколько тяжелых минут, при одном воспоминании о которых у него начинала ныть печень.

Но, как бы то ни было, ему удалось заручиться негласной поддержкой большинства пехотных частей. Одновременно Военная академия готовила техническую документацию к «Плану восстановления внутренней безопасности» (в целях конспирации слово «восстановление» было заменено «обеспечением»), а Генеральный штаб на основе этой документации разрабатывал приказы частям и гарнизонам, практические рекомендации командующим. К началу августа эта подготовительная работа была практически завершена, и дон Аугусто имел основания благодушествовать.

Осуществление плана было намечено на четырнадцатое сентября — день репетиции Большого парада. По этому случаю концентрация в столице войск, заблаговременная раздача амуниции и приведение в готовность транспортных средств не могли вызвать подозрения у правительства. Сосредоточенные в Сантьяго и окрестно-



стях войска делились на две группировки: одна должна была действовать внутри города, двигаясь четырьмя колоннами по направлению к центру, другая — охватывать город извне, блокируя пригородные «индустриальные кордоны». Получалось как бы двойное кольцо: когда сопротивление «кордонов» будет сломлено, второй эшелон подтянется к первому, сомкнувшись вокруг Ла Монеды. В этот решающий момент плац предусматривал подключение военно-воздушных сил для бомбардировки дворца с воздуха. «Увы, господа, — горестно говорил дон Аугусто доверенным генштабистам, — такая крутая жестокая мера совершиенно необходима — чтобы сберечь как можно больше жизней наших солдат».

«Феномен «Танкаса» (так изысканно выражался дон Аугусто) внес в разрабатываемый плац незначительные корректизы. Прежде всего, Пиночет почувствовал, что Альенде не бросит рабочие отряды на истребление, и единственной помехой осуществлению плана (если не считать сопротивления президентской охраны, которое обещает быть упорным) остается возможность «поляризации» — то есть раскола в вооруженных силах и столкновения регулярных частей. «Поляризации» дон Аугусто боялся: одно дело — запереть в Ла Монеде и уничтожить любой цепью горячку гаошцев (карабинеров дон Аугусто рассчитывал нейтрализовать путем физической изоляции Хосе Сепульведы), и совсем другое — столкнуться в узких переулках центра с боевой монциою правительственные войск. Между тем два самых боеспособных столичных соединения — курсанты военных училищ под командованием генерала Пикеринга и войска Второго округа, подчиненные коменданту Сантьяго генералу Марио Сепульведе Скелле, — оставались надежными бастионами правительства: Пикеринг и Марио Сепульведа не намеревались отказываться от выполнения того, что они считали своим воинским долгом. Пикеринг и Марио Сепульведа —

ти два имени были копией дона Аугусто: он живо представил себе, как четырнадцатого сентября его «двойное кольцо» окажется в окружении молодых и отчаявших курсантов Пикерица и как комендант Сантьяго явится в штабной бункер, чтобы лично арестовать «изменинико родины Пиночета». Так что благодушие дона Аугусто было в значительной степени напускным: он изо всех сил старался скрыть от Меринио и Ли, что на душе у него тягостно и тревожно.

— Наш долг,— выдержав паузу, продолжал дон Аугусто,— наш патриотический долг состоит в том, чтобы при любых обстоятельствах блюсти национальные интересы. Увы, законно избранная власть может выродиться, и никто, кроме вооруженных сил, не в состоянии судить, законно данное правительство или незаконно: парламент раздираем партийными амбициями, партии защищают групповые интересы, и только мы представляем всю нацию целиком. Мы, выходцы из среднего класса, являемся выразителями и защитниками его интересов, а средний класс — это основа, фундамент нации. Сегодня нация с недоумением смотрит на нас, люди на улицах плюют в лицо военным. Вчера на площади Бульонеса какая-то женщина назвала моего адъютанта курицей, и этот бравый служака не нашелся, что сей ответить. Весь мир смотрит на нас и ждет нашего решения. Наши друзья в трех Америках и в Старом Свете не понимают причин нашей медлительности. Мы, к сожалению, немолоды, мы достигли вершины военной карьеры и имеем право рассчитывать на заслуженный отдых...

Все, кто близко знал Пиночета, могли бы сказать: ну, завел свою песню. Действительно, дон Аугусто любил повторять о том, что его время на исходе, что у сил человеческих есть предел, но за этим всегда инстинктивно слышалось «но».

— Знаю, трудно, нечеловечески трудно,— продолжал

дон Аугусто,— стоять павитяжку перед врагом, склонять голову, молча выслушивая марксистские поучения... Лишо я еще в молодости дал себе клятву: никогда, ни при каких условиях не отдавать воинских почестей коммунистам. Сегодня, господа, я могу сказать с гордостью: эту клятву я выполнил. Были трудные минуты, не спорю... Вспоминаю, как в бытность свою командующим гарнизона Сантьяго я встречал в аэропорту Фиделя Кастро. И нашел в себе мужество нарушить протокол и поставил кубинского главаря между собою и тогдашним министром обороны — так, чтобы рапорт начальника почетного караула не достался коммунисту...

Дон Аугусто умолк и лытливо взглянул на своих слушателей. Ему пришлось с огорчением констатировать, что и Ли и Мерлио рассказ об этой уловке не произвел впечатления. Коллеги прекрасно знали, что Пиночет не скучнится на заверения в своей лояльности и готов стоять на вытижку хоть перед самим сатаной. Кстати, и Фиделю он козырял весьма исправно. Коллеги только переглянулись, и дону Аугусто показалось, что генерал Ли скептически усмехнулся. «Скоты,— подумал дон Аугусто с досадой,— легко вам отсиживаться на своих базах. Если бы вы торчали с утра до вечера на глазах у Альенде, вы бы ползали перед ним по площади Конституции». Дон Аугусто презирал своих коллег, считая их совершенными ничтожествами: они обречены были до конца своих дней оставаться на вторых и на третьих ролях, между тем как ему предназначена была иная судьба. Дон Аугусто был яростно, рептильно властолюбив. Он мучительно желал, чтобы все ненавидели его, боялись, трепетали при одном его имени, наяву и во сне. И этой мечте суждено было сбыться: именно такую участь уготовило ему прорицание. Что значили в сравнении с этим предначертанием те мелкие компромиссы, на которые он шел ежечасно? Угодничать? Извольте. Распинаться в клятвенных заверениях? Сколь-

ко угодно. Лицедействовать? Да он готов предаваться этому занятию годы и годы, лишь бы исполнилась предугаданная им воля всевышнего. Придет время — и люди будут свято, истово верить в то, что доктор Аугусто никогда не отдавал воинских почестей коммунистам и не угодничал перед ними, а эти двое — они еще пожалеют о своих циничных ухмылках.

Дон Аугусто тщательно скрывал свою неутоленную простоту, прикидываясь даже перед близкими неповоротливым брюзгливым тугодумом, и мало кто умел разглядеть между набрякшими веками его глаз тусклый свинцовый блеск лютого нетерпения.

Одним из немногих, кто угадал в нем умного, юркого и злобного хищника, был янки, генерал из зоны Панамского канала. «Ты сможешь, паверняка сможешь, — сказал американец, похлопывая его по колену. — Тебе нет равного к югу от Рио-Гранде». Беседа эта состоялась в сентябре прошлого года, когда по пути в Мексику дон Аугусто задержался в зоне на три дня. Покровительственные слова американца исполнены были библейского величия. И небеса как будто разверзлись над головою угрюмого штабного служаки, в заняющем просвете открылась ослепительная картина: все сильные мира сего рукоплещут ему с заоблачных круч. Какой там к черту средний класс, знать он не хочет никакого среднего класса, все это лишь человеческий материал, мягкий, податливый, месить его, как тесто, засучив рукава, впихивая обратно в кадушку, и пусть сеньоры Матте и Эдвардсы, которые сейчас трижды думают, прежде чем пустить Пиночета из Икике на порог своего «ливинга», благоговейно стоят вокруг, паблюдая, как он работает на историю. Да, на историю! Уж если какой-то слабовольный Альенде считает себя мессией исторического прогресса («Мы открываем человечеству принципиально новый путь»), то неужели у дока Аугусто недостанет уверенности сказать: «А мы

его закрываем павеки, пбо этот, с позволения сказать, путь ведет к разрушению мирового порядка».

Молчание затянулось.

— Подумать только,— проговорил генерал Ли,— если бы не трусость Томича, Альспдо не прорвался бы к власти.

— И это было бы величайшим несчастием для Чили,— быстро ответил Пиночет.

— Я понимаю...— несколько опешив, сказал Ли,— наш Аугусто — любитель парадоксов, но все же, все же...

— Наш Аугусто оговорился,— язвительно заметил Мерито.— Привычка клясться в лояльности.

Дон Аугусто кисло улыбнулся: подумать только, этот засохший омар говорит колкости. А мы-то, грешные, полагали, что кроме коллекционирования сигаретных коробок адмирал ни на что не способен.

— Ценю ваш юмор, друзья,— сказал дон Аугусто,— но мы, детерминисты и фаталисты...

Ни тем, ни другим дон Аугусто не был: всю свою жизнь он оставался тем, чем родился, ползучим прагматиком. Но в этом вопросе заблуждению его было искрепшим.

— ...Но мы, детерминисты и фаталисты, смотрим на вещи серьезнее. Если бы этот кабальеро не был притянут за уши к власти, страна прошла бы еще через несколько лет метаний и разгула демократии, что выдвинуло бы другого марксистского лидера, и новый оплел бы нас такими сетями, что мы бы уже не выбрались.

— Следовательно?..— любезно подыграл генерал Ли.

— Следовательно, победа Альспде — величайшее благо для Чили. Нация получит суровый урок, и это отобьет у нее охоту пускаться в эксперименты. Нам же, сеньоры, победа Альспде лишь облегчает задачу: он доверчив и мягок, это не настоящий марксист. Он жизнелюб, я бы даже сказал — энтузиаст. Образ его жизни не соответствует

принципам, которые он так рьяно проповедует. И знает что, господа, — дон Аугусто доверительно помолчал, — меня терзает вопрос: пренебрегает ли сеньор Альенде истинным смыслом доктрины или просто не знает о нем? Вопрос этот, как вы сами понимаете, чисто теоретический, поскольку в любом случае Альенде должен исчезнуть, это предрешено...

— Знает, вне сомнения, знает, — сказал генерал Ли. — Как может отец «доктрины Альенде» не знать, что он творит?

Под доктриной Альенде подразумевалась система компенсации иностранным владельцам за национализированные предприятия — с учетом сверхприбылей, которые эти владельцы в течение установленного периода вывозили. Так, «Анаконда» только с медного рудника «Чукикамата» получала миллионы долларов прибылей в день. За сорок лет японцы вывезли из Чили девять миллиардов долларов: столько стоили сейчас все производственные фонды страны. Иными словами, половина национального достояния утекла за рубеж. И вот, согласно доктрине Альенде, был установлен официальный предел допустимых для вывоза прибылей, и все, что иностранцами вывозилось из страны сверх этого потолка с мая пятьдесят пятого года, высчитывалось из компенсации. В результате «Анаконда» и ее собрат «Кеникот» не только не получили никакой компенсации, но еще и остались долгщиками Республики Чили.

Дон Аугусто злобно взглянул на «горбун» — и тут же притушил свой взгляд, устало смеясь тяжелые веки. Все, что было связано с национализацией меди, он упорно обходил молчанием: доктрина Альенде самим фактом своего существования изъязвляла его мессианскую концепцию. Само слово «Провидение» начинало настоятельно требовать кавычек, как «Анаконда» или «Кеникот». В Каламо молодой офицер задал ему единственный вопрос — как

раз в тот момент, когда доп Аугусто говорил о «националистических амбициях»: «А доктрина Альенде? Разве она не принесла пользы стране?» Чтобы отпарировать этот выпад, дону Аугусто пришлось срочно перейти к «традиционной предупредительности чилийцев», которая уступила место плебейскому хамству. И все благодаря глобальным замашкам правительства. «А все же?» — не унимался офицер. Но то было в Каламе, черт побери, не в министерстве же обороны, на четвертом этаже... Сейчас доп Аугусто ненавидел генерала Лп острее, чем какого-нибудь «упельяенто». «Ах ты ничтожество,— думал он, сладко жмурясь от ненависти.— И отчего только у горбунов такие скверные скрипучие голоса?»

— В любом случае,— с пажеским, наставительно проинструктивившим,— коммунистическому Карфагену нет места на чилийской земле.

19

Похороны отца состоялись в понедельник двадцатого августа, в тот самый день и на том же кладбище Хепстерль, где хоронили лидера Патриотического движения воителей Бальбоа, убитого два дня назад террористами Вильяррина.

Скромная процессия, состоявшая из вдовы, детей дона Хесуса и нескольких соседей, вfileлась в огромную колонну, шедшую за гробом Оскара Бальбоа. По обе стороны колонны медленно двигались грузовики, протяжными гудками сопровождавшие процессию по авениде Ла Пас.

Родольфо и Каролинашли, держа под руки обезумевшую от горя Марию Эстелу, позади брела Мацуэла, она вела за руку растерянно притихшую Лус. Мария Эстела не плакала, она уже выплакала все слезы и теперь только падрывно вздыхала. Глаза ее были полуоткрыты, ноги волочились по земле. Небо над авенидой Ла Пас высилось

белое и гулкое, как мраморный свод, и такою же белой и скрежещущей под ногами казалась мостовая.

Каролина мучилась запоздалым раскаянием: в голове стучала одна, совершенно нелепая мысль, что, если бы она не опоздала в тот день, предупредила отца, ничего бы не случилось...

Мария Эстела что-то тихо бормотала себе под нос. Каролина прислушалась.

— Семь дней... — говорила мачеха, — семь дней мучился... Я же просила тебя, просила... не умирай, пожалуйста... а ты... ну, что ж, говоришь... ну, что ж, говоришь, я могу сделать...

— Мама, не надо... — глухо сказал Родольфо, тоже прислушивавшийся к этим словам.

— Не надо, Мария Эстела, не надо... — как эхо повторила сзади Мануэла.

На кладбище, возле разверстой могилы, к ним подошел человек из МОПАРЕ, попросил у Марии Эстелы разрешения сказать несколько слов.

— Нечего... нечего говорить... — пролепетала Мария Эстела коснеющим, как бы расщухшим языком.

Человек понимающе посмотрел на нее, извинился и отошел.

Когда все было кончено и люди стали расходиться, дети обступили Марию Эстелу, подняли ее с колен. Она посмотрела на них мутными от слез глазами, и вдруг лицо ее исказилось, и она тихо, но внятно сказала:

— Вы, вы это сделали.

Лицо Фито сморщилось, он отвернулся и сжал кулаки. Чипита горько заплакала, за нею зарыдала и Лус. Каролина в отчаянии пыталась обнять Марию Эстелу, но та с неожиданной силой стала от нее отбиваться, повторяя с закрытыми глазами:

— Сделали... Сделали... Сделали...

У ворот кладбища их ждала редакционная машина.

Дядя Густаво вышел из кабинки, придержал откидывающееся сиденье, пока Родольфо и Мануэла усаживали вдвоем. Мануэла посадила Лус к себе на колени, Родольфо сел рядом, Каролина — впереди. Соседи попрощались и пошли неспешком...

В тот день забастовали мелкие торговцы, витрины всех магазинов слепо глядели закрытыми жалюзи. Те немногие лавочки, которые все же работали, окружены были толпами молодых парней; они швыряли в окна камни, отталкивали от дверей пытающихся войти покупателей. В другое время Каролина непременно остановила бы машину и бросилась в самую гущу драки, но сегодня было нельзя... Чуть прибавив ходу, дядя Густаво проехал сквозь белесое, наполовину рассеянное облако слезоточивого газа, Лус закашлялась и снова жалобно заплакала, Чинита стала вполголоса ее утешать. Вдалеке на тротуаре стояла толпа в ужасных марлевых повязках: как будто у всех неподвижно застывших людей были оскaledенные бело-желтые рты.

Магазин «Лучетти» стал сегодня центром сражения. Жалюзи его были сорваны, витрины разбиты, на мостовой валялись груды разного барахла, в которых, озираясь, рылись какие-то люди. А из окон все летели коробки и ящики, рулоны бумаги. На втором этаже двое парней, трудолюбиво напрягаясь, вытихивали в окно капцелярский стол. Однако, когда «Фольксваген» с семьей дона Хесуса проезжал мимо «Лучетти», люди прекратили свою суету и долго смотрели вслед, как будто за этой машиной тянулся темный шлейф горя...

На другой день, поручив Марию Эстелу и младшенькую заботам Чиниты, Каролина приехала в редакцию. День клонился к вечеру, все материалы в завтрашний номер на колонку были уже подобраны, п Каролина, не зная, куда себя девать, бродила из отдела в отдел и просила дать ей хоть какое-нибудь дело. Но из сочувствия к ее горю

кто не хотел ее загружать, хотя ей нужно было сейчас только забыться.

Б коридоре на нее патинулся Суньига. Статный, плачущий, черноусый и белозубый, в модном костюме, с тонко подобранным галстуком, он казался пришельцем из иного, упорядоченного мира, в котором не бегают по улицам в марлевых повязках, не бьют витрины, не ходят черными толпами за гробом по колено в облаках слезоточивого газа.

Славный парень Суньига сразу все попял. Впрочем, он Каролине никогда не нравился: она с детства испытывала предубеждение к щеголеватым мужчинам. Возможно, и Сесар убедил ее в своей человеческой достоверности именно тем, что всегда был несколько растрепан. Каролине казалось, что безукоризненный порядок в одежде отражает такой же порядок в душе, а порядка в душе быть не должно, иначе не будет развития.

— Слушай-ка, ты ищешь дело,— озабоченно сказал Суньига.— Дело есть: срочно нужна миловидная женщина в стиле Баррио Альто. Нужно ехать на улицу Эррасуриса, притом в личном автомобиле.

— Да, но у меня нет личного автомобиля,— слабо возразила Каролина.

— Значит, у тебя должен быть кто-то, у кого он есть,— отпарировал Суньига.

Каролина покраснела.

— Ты пойми меня поскорее,— сказал Суньига.— У дома Пратса собралась толпа женщин, возможна крупная провокация. Нужен подробный отчет для завтрашнего номера. Выделяться нельзя, вмешиваться — ни в коем случае. Толпа настроена агрессивно, квартал оцеплен матусовцами, которые только и ждут свалки. Редакционную машину сожгут. Припомните какого-нибудь знакомого автовладельца, пусть тебя подвезет.

Каролина припомнила Барраса с тринадцатого капала

телевидения. У него был старый, но довольно благообразный «мерседес», доставшийся ему по наследству. Когда-то Варгас волочился за Каролиной, можно было надеяться, что он не откажет.

— «Мерседес»? Так это же дивно! — восхитился Суньига. — Тебя там примут за свою.

Варгас, разумеется, согласился. Но-видимому, старые надежды вновь шевельнулись в его душе. Однако тон для ухаживаний он выбрал неверный: всю дорогу жаловался, как трудно стало у них на студии, как дорого обходится даже видимость объективности. За трехмиллионный репортаж из подвалов ДИНАК, в котором он сочувственно представил «Добровольцев родины», ему пригрозили увольнением, а вступиться за одиночку-идеалиста решительно никому. А тем, у кого влиятельные покровители, и не такая смелость сходит с рук. Взять того же Эфраина Цимбалиста: ведет программу «ФБР в действии», и ничего ему не делают.

— Вот так, Пирусита, мы и мучаемся со своей объективностью, — ныл, ведя свой поношенный «мерседес», Варгас. — И вам до меня, разумеется, дела нет.

Каролина молчала. Как тут было не вспомнить о Сесаре, который никогда не плакался у нее на плече: делал то, что полагал нужным, хотя ведь тоже был «ни наш, ни наш», одинокий посреди дикого разгула своих красок. Сесару и в голову не пришло бы выклянчивать ее сочувствие, зато на скорбный вид Каролины он непременно обратил бы внимание. И, кстати, с чего это она вообразила, что он должен ей непременно звонить после того, как она бросила его там, в Сан-Хуане, рядом с шайкой озлобленных подростков? А он бы бросил ее в Баррио Альто? на Витакура? А может быть, они забили его камнями, и он лежит сейчас в больнице без сознания, и никому не известно, кто он такой и как попал в Сан-Хуан? А ведь он приехал туда за нею!.. Право, хоть сейчас выскакивай из машины и беги к телефону. Но надо было ехать по делу.

Когда прибыли па место, Каролина закрыла ладонями уши: мотоциклы без глушителей кругами посылись по близлежащим улицам, и рев был такой ужасный, что, казалось, рушится небо.

В саду напротив дома Пратса пылали дымные костры, сложенные из автомобильных покрышек. Поодаль, как на светском рауте, стояли группы одетых по-вечернему женщин. Гарь, грохот и хлопьями летевшая конопь — все это не могло не раздражать. Демонстрантки томно прикладывали кончики пальцев к вискам, показывая, что идут не дождутся, когда кончится «весь этот кошмар». Иные отряхивали свои платья — на тощих дамах длиные до пят, на плотных, разумеется, короткие и в обтяжку.

— Власть женщин! — кричали они время от времени утомленным сварливым хором. — Не отдадим Чили!

Вдобавок начал моросить мелкий дождь — недостаточно сильный, чтобы залить костры и расшугать «власть женщин», но достаточно неприятный, чтобы демонстрантки вспомнили о своих накрашенных глазах и ресницах.

— Я подожду тебя в машине на Веснуччи! — крикнул, придвигнув губы к самому ее уху, Варгас. — Меня эти судороги демократии не интересуют.

Каролина кивнула и усмехнулась про себя: телохранителем Варгас был никудышным. «Муй католико» — сказал бы Аугусто Оливарес («уж очень католик», что в переводе на обычный язык означало «дохляк»). Сесар тоже был католиком, но «муй католико» о нем не сказал бы никто.

Между тем возле дома, самый подъезд к которому выглядел оскорбленно замершим, появился плотный мужчина в очках и сделал знак рукой. Какофония мотоциклов смолкла, только гудели высокие и дымные, роняющие хлоши костры.

— Сеньоры и сеньориты! — прокричал мужчина тощим фальцетом. Голос удивительно подходил к распоряди-

телю этого чадного бала.— Сеньоры и сеньориты, человек, которого мы хотели бы видеть, притворился больным.

Воинъ сотни жепских голосов был ему ответом.

— Но сеньора София здорова, я смею судить. Есть у нас что сказать этой почтенней сеньоре?

Из толпы выступила хорошенъянка блондинка в брючном костюме и, поднеся к накрашенному рту малопыкъи ионенский электропыкъи мегафон, крикнула:

— Софи, мы пришли за тобой!

— Софи, мы пришли за тобой! — повторил женский хор, сгруппировавшийся полукругом, как на благотворительном празднике.

— Обманутая наша подруга! — продолжала блондинка, и каждую ее фразу повторяли все женщины вместе.— Ты изменюна, мы знаем! Мы всей душою с тобой! Постыдно быть женюю изменника, мы это знаем! Не будь же безвольною жертвой предательства! В твоих руках очень многое! Ты — женщина, ты — мать своих дочерей! Сделай так, чтоб им не было стыдно! Уведи их из этого дома — и сама уходи! Выйди к нам — и ты опять вместо с нами!

Бедная женщина, подумала Каролина о Софии. Ведь для нее здесь — весь круг ее знакомств. Ходили друг к другу в гости, целовались при встрече щечка в щечку, критически разглядывали паряды, обменивались рецептами приздиничных блюд, все в рамках истеблишмента, все благонристойно — и вдруг «жена изменника»... Дай боже, чтобы ей хватило сил, хватило гордости за своего мужа, хватило веры в него...

Оглядывая сътые, холеные, красивые, злобные, морщнистые и грубо чувственые кричащие лица, Каролина заметила жену генерала Бонильи — того самого, который так храбро штурмовал казармы суперовского полка, еще двух-трех знакомых ей офицерских жеп. Они не могли не знать, что генерал Пиночет обещал сурово наказывать тех офицеров, чьи жепы замешаны в сковородочных бун-

таких и прочих уличных беспорядках. На что же они рассчитывают?

Вдруг поднялся беспорядочный гвалт, улюлюканье, писк. Взревели мотоциклы. К дому подкатил «фнат» жемчужно-серого цвета. Мишту машина стояла с закрытыми дверцами, потом, пригнувшись, из кабину вышел офицер. Каролина узнала его: это был Ренан Балас, зять генерала Каналеса. Только полная уверенность в безнаказанности позволила ему появиться здесь в военной форме. Видимо, Пиночет переоценивал свои возможности.

— Гражданки Сантьяго! — обратился к толпе Ренан Балас. — Нет силы, которая заставила бы меня, впрочем, как и любого честного чилийского офицера, по собственной воле прийти к этому дому, отмеченному позорным крестом.

Аплодисменты.

— Но я узнал, что вы собрались здесь, чтобы напомнить своим согражданинам о храбрости и чувстве собственного достоинства, которые ими утрачены... Гордые чилийские женщины, вы многое вынесли. На вас нападали миристы, вас избивали каменьями и цепями «молодые идеалисты, чилийцы новой формации». Но вы, паша гордые, полны решимости не допустить становления марксистского ада. Вы явились сюда, к этому пиджину дому, знал паверняка, что уже воют сирены полицейских машин, что через считанные минуты на вас обрушатся водометы. Позвольте встать перед вами на колени, святые!

И Ренан Балас театрально опустился на колени.

Бурные аплодисменты, женщины бросились его поднимать.

— Я поспешил сюда, — сказал Балас, вставая и отрывая брюки, — чтобы заверить вас: нет, доблестные чилийки, нет, паша гордые подруги, вы не совсем правы в своем отношении к нам. Но все, далеко не все ваши братья, мужья и любимые оцепенели в ожидании чуда, которое

избавит страну от марксистской чумы. Я здесь, чтобы от лица офицерского корпуса сказать этому человеку...

Ренан Балас повел рукой в сторону безмолвного дома, и по толпе пронесся щелест: «Слушайте!»

— Сеньор Пратс,— громко выкрикнул офицер,— нация и ее вооруженные силы не желают иметь с вами ничего общего. Мы исторгаем генерала Пратса из своих рядов. Сеньор Пратс, нам неизвестно, какие соображения заставили вас предать вооруженные силы, предать народ и служить марксистско-еврейской клике, прокравшейся к управлению страной. Пусть ваши соображения останутся при вас, мы отвергаем их с гневом и презрением. Ваша измена, генерал, застала нас врасплох, но не обескуражила, и доказательство этому — мое присутствие здесь, присутствие офицера на этом митинге храбрых женщин, которые не в первый раз преподают нации урок мужества и достоинства, говоря вам: сеньор, подайте в отставку со всех незаслуженно доставшихся вам постов. Ваше присутствие в рядах вооруженных сил оскорбительно для нации: уходите!

Каролина слушала эту речь с изумлением и ужасом. До сих пор ей казалось, что, говоря о фронтальном наступлении фашизма, «Сигло» несколько сгущает краски. Сама она не пользовалась термином «фашизм», заменяя его словом «антинатриа», которое представлялось ей более точным, так как являлось собственно чилийским и не содержало приблизительных исторических параллелей. Но вот перед нею был настоящий фашист, гитлеровец, мракобес, и красовался он не в черном мундире эсэсовца, а в оливковой униформе офицера вооруженных сил Чили, и говорил он на безупречном звонком кастельяно... Чилийский фашист! Ну, хорошо, Ибапьес, это было давно, по ведь Ибапьес публично отрекся от своего фашистского прошлого и если не переродился, то перерядился, во всяком случае! Чилийский фашист... даже подонки, забившие до смерти ее отца, представлялись ей обезумевшими мел-

кими буржуа, от страха за свою собственность потерявши-
ми чувство родины... Теперь же Каролина впдела, что
Лучо был прав: то, что сказал сейчас Ренап Балас, могли
со спокойной душой повторить и Вильяриц, и Пабло Род-
ригес, и те, изрещетившие капитана Арайю.

Вдруг Каролина почувствовала на себе острый взгляд
из толпы. Она повернулась — и увидела Габриэлу. Но
смешливо и вызывающе сестренка Сесара смотрела на нее,
псем своим видом показывая: я знаю, кто ты, я знаю, зачем
ты здесь, но неужели тебе не страшно? Впрочем, можешь
не волноваться, мы все-таки отчасти свои. Казалось, улы-
бающиеся губы Габриэлы шептали: «Вы не ошиблись»
дверью, сеньорита?»

К счастью, Ренап Балас уже закончил свою шылкую
речь, и восторженные женщины буквально посыпали его в
«фиату» на руках. Воспользовавшись суматохой, Каролина
отступила на шаг, потом быстро пошла под тень высоких
деревьев, минуя молчаливые группки матусовцев (в сум-
раке при свете костров поблескивали их черные пояса),
как вдруг кто-то выступил из темноты и крепко взял ее
за локоть.

— В чем дело? — громко, пытаясь высвободиться, ска-
зала Каролина. — Пустите, я закричу.

— Здесь слишком людно, Прусита, — послышался в
полумраке голос Гильермо. — Отойдем.

— О боже мой, Мемо, как ты меня папугал! — прошеп-
тала Каролина.

— А мне казалось, ты не из пугливых, — сказал Гиль-
ермо и, не выпуская ее локтя, повлек Каролину в темноту.

— Я на машине, — предупредила Каролина.

— Знаю, — ответил Гильермо. — Старый башмак.

При свете фонарей, когда они проходили мимо, Каро-
лина рассмотрела его: Мемито похудел, укоротил бакен-
барды и даже, кажется, постарел.

Отошли. Каролина прислонилась спиной к стене, Гиль-

ермо встал так, чтобы на его лицо не падал свет. Но все равно сестра разглядела, что по щекам его текут слезы.

— Похоронили, — глухо произнес он.

— Да, вчера, — с горьким упреком ответила Каролина. — Что же ты, занят был? Кажется, на похороны мог бы прийти.

— Нет, сестренка, не мог, — сказал Гильермо и замолчал.

— Очень мучился? — спросил он после паузы.

— Да, очень, — коротко ответила Каролина.

Гильермо скрипнул зубами.

— Я их из-под земли достану, ублюдков... — проговорил он свистящим шепотом. — Прокидаулил... собственного отца...

— Что у тебя за дела, Гильермо? — устало спросила Каролина. — От кого ты прячешься?

— Это еще надо поглядеть, кто от кого прячется, — со злостью сказал Гильермо.

— Ну, хорошо. Кто же от тебя прячется?

Гильермо помедлил.

— Не мой это секрет, Пирусита... Послушай, ты не обратила внимания? Там в толпе была такая рыжевьюкан, молодецкая...

— Ты имеешь в виду Габи Ларин? — как можно спокойнее спросила Каролина.

— Не волпулся, — по голосу Мемо Каролина поняла, что он усмехается, — не волнился, братец ее ни при чем. Да и девчонка, по сути говоря, тоже: так, дурью мается. А рядом с ней никто не стоял?

— Почему же никто? Две пожилых таких дамы: жена Коншти и еще одна, в парике, я ее не знаю.

— А парень? Плотный, плечистый, шея короткая, ротик маленький, мокрый, он его все время облизывает.

— Нет, такого не видела, — подумав, сказала Каролина. — А кто это?

— Это, Пирусита... — голос у Гильермо осекся от ненависти, — это крупная гадина. Я за ним два месяца иду. Кроме меня, никто в лицо его не знает. Поймаю — легко будет. Поняла?

— Нет... не очень.

— Ну, как хочешь. Запомни: меня нет. Совсем нет. И никакому ни слова, что меня видела.

Каролина молчала.

— Ну, ладно, пока, — Гильермо потрепал ее по щеке и собирался уже отойти, но Каролина схватила его за руки.

— Постой... — проговорила она. — Ну, как же так? Своим-то мог бы сказать... мы уж не знаем, что о тебе и подумать.

— Дом у нас, Пирусита, дырявый... — с коротким смешком ответил Гильермо. — Фито неизвестно с кем знается. Да, кстати, и ты своему бородатому... не вадумай!

— Во-первых, я с тим больше не вижусь, — оскорблена сказала Каролина, — а во-вторых, он даже не подозревает о твоем существовании.

— Это хорошо, — проговорил Гильермо и, шагнув в сторону, прошел в темноте.

Тут вокруг завыли сирены, замигали огни полицейских машин. Карабинеры оттеснили утомленную ожиданием толпу женщин к автомобильной стоянке и деловито принялись тушить костры.

А Каролина задумчиво пошла на Веснуччи, где в «мерседесе» ее терпеливо ждал занудливый Варгас.

20

Весь вечер двадцать первого августа Альенде вел из резиденции телефонные переговоры. Сегодня чувствительный удар нанесла президенту Коллегия медиков. Альенде был ее основателем, долгие годы руководил ею и дорожил

своим членством в Коллегии. И вот руководство Коллегии поставило его в известность, что рассматривается вопрос о его исключении из рядов организации. Это было тяжкое оскорбление, но, переступив через самолюбие, Альенде связался по телефону с президентом Коллегии доктором Акунней и в течение часа терпеливо объяснял ему, что это решение непродуманное, необоснованное, наконец, оно просто несправедливо. Выяснилось, что предложение об исключении поддерживают не все члены руководства, многое зависит от того, насколько президент готов пойти пагубному требованию врачей. Вся проблема заключалась в том, что Альенде запретил использовать в частной практике государственное оборудование, помещения и медикаменты. Обзванив других руководителей Коллегии, Альенде почувствовал, что врачи-частники готовы пойти на компромисс. Поскольку поступление некоторых дефицитных медикаментов из-за рубежа уменьшилось, частники, совмещавшие свою практику с государственной службой, требовали, чтобы в этих поступлениях у них была твердая доля. Начался долгий мелочный торг. Наконец, опустошенный этими затянувшимися и безрезультатными переговорами, Альенде положил трубку, снял очки и прикрыл рукой измученные, покрасневшие глаза.

— Не понимаю тебя, папа, — сказала ему дочь Беатрис. — Телефонные разговоры всегда тебя утомляли. Почему ты не поручил эти переговоры мне?

Врач по профессии, Беатрис последние годы взяла на себя обязанности личного секретаря отца.

— Видишь ли, Тати, — устало сказал Альенде, — этот вопрос слишком деликатен и слишком важен лично для меня. Членство в Коллегии связывает воедино всю мою жизнь...

— Они не посмеют тебя исключить! — с жаром возразила Тати. — Ты слишком много для них сделал. И потом, нельзя разговаривать с этими людьми так мягко! Они же

забыли о своей профессиональной этике, объявили забастовку, как... мелочные торговцы! Из-за них гибнут роженицы, сердечники, жертвы дорожных происшествий... «Пусть упельентос лечатся у своих министров», — вот как они говорят. Я бы им все сейчас высказал! Я бы...

— Именно поэтому, — остановил ее Альенде, — я и предпочел вести переговоры сам.

Отношения с коллегами-врачами у Альенде никогда не складывались гладко. Он с неприязнью относился к сытым, преуспевающим, дорогостоящим, «вхожим в лучшие дома» медикам — и не скрывал своей неприязни. Много лет назад один из его коллег, модный и в общем-то прекрасный врач, дружески обнимая Альенде за плечи, сказал ему: «Чичо, дорогой, ты делишь общество на кашиталистов и рабочих, и признаю правомерность такого деления, но, как коллеги коллеге, хотел бы порекомендовать тебе другое. Лично я делаю людей на больных и здоровых, на бедных и богатых. Если вдуматься, складываются четыре категории. Богатые и здоровые правят миром, богатые и больные лечатся у меня, бедные и здоровые работают на первых и вторых, а бедные и больные, естественно, умирают. Ты слишком долго занимался этой последней категорией, и твой подход к жизни от этого однобок. Мир не состоит из одних пессимистичных больных бедняков, и большинства в нем они не составляют. Они обречены самим фактом своей принадлежности...» «Странно слышать такие слова от врача, — перебил его Альенде. — Когда ты давал клятву Гиппократа...» «Правильно, я обязался держать дверь своего дома открытой для всех страждущих. Они и приходят ко мне в любое время дня и ночи... или вызывают меня к себе. Но, заметь, все они принадлежат ко второй категории. Я поставил дело так, что никому из четвертой категории в голову не придет ко мне обратиться. Ты же связал себя обязательствами именно перед ними, вот почему ты терпишь неудачу за неудачей. Они тянут тебя на дно...»

— Не понимаю, не понимаю! — возмущенно говорила Беатрис. — Неужели они сами не чувствуют, что их позиция изменчива, мелка, бессовестна? Интеллигентные люди... И знаю — водители, те просто ослеплены кастовым эгоизмом, картида в целом им не видна, они понятия не имеют, куда тащат страну... Но эти — должны же они испытывать, как минимум...

Слушая ее, Альенде начал медленно выкладывать на стол бумаги. Беатрис замолчала.

— Будешь работать? — спросила она.

— Да, — коротко ответил Альенде, надел очки и погрузился в рассматривание мелко написанных черновиков. — Но обращай на меня внимание, дочка: сегодня мне не спать. Впрочем, работа — лучшее средство от бессонницы, равно как и от сонливости.

Беатрис долго стояла и смотрела, как он пишет, паконец не выдержала.

— Мне не нравится, как ты выглядишь, папа, — сказала она.

Альенде поднял голову, посмотрел на дочь, не понимая, потом взгляд его прояснился, и он улыбнулся.

— Это почему же? — спросил он. — И какое это имеет значение? Разве я завтра позириую для обложки «Эрсисы»? Тогда я все бросаю и иду немедленно подстригать усы.

— Ты прекрасно меня понимаешь, — сказала Тати. — Ты должен быть бодр и подтянут, как всегда. Это, если хочешь знать, тоже политический фактор.

— Внешний вид президента — разумеется, — серьезно отвечал Альенде. — Президент демократической страны должен быть чистеньkim румяным фотогеничным старичком, в меру плотным и не очень высокого роста, чтобы ни у кого не вызывать негативных эмоций. — Он помолчал. — Нет, Тати, я и в самом деле должен работать. Видишь ли, я никудышний оратор, я не могу, как Фидель,

имипровизировать, мне нужен тщательно выверенный текст. Как говорит Пабло, «Я втиснут в толстую кожу здравого смысла, сдавившую грудь змеинными кольцами благородства, и все мои детища порождены...»

— «...в упрямом боренье», — закончила Тати. — Но, может быть, все-таки я тебе помогу? Ты будешь диктовать...

— Нет, ты пойдешь сейчас спать, — сказал Альенде. — Ты врач и прекрасно понимаешь, что в твоем положении надо придерживаться режима.

Тати ждала ребенка и сама выглядела, надо сказать, неважно.

— Что у вас тут за дискуссии в поздний час? — спросила, входя, Тенча.

— Уведи, пожалуйста, девочку спать, — сказал он Альенде. — Она мешает мне работать.

— Ну, хорошо, хорошо, — обиженноая, Тати ушла.

И в это время зазвонил телефон. Со вздохом Альенде взял трубку, не ожидая, видимо, хороших известий. Выслушал, несколько раз сказал «Так, так» (Генча с беспокойством наблюдала за меняющимся выражением его лица: щеки его посерели, рот как будто занал), коротко поблагодарил, опустил трубку на рычаг, встал и начал расстегивать домашнюю куртку.

— Звонил Сепульведа, — проговорил он в ответ на вопросительный взгляд женщины. — У дома Пратса беспорядки. Толпа женщин, есть жены офицеров. Выкрикивают оскорблений... я думаю, ты понимаешь. Высланы карабинеры.

— Я позвоню Софи, — сказала Тенча.

— Сейчас не надо, потом. Я к нему еду.

Альенде вызвал дежурного, отдал распоряжение о выезде. Ушел во внутренние комнаты, вернулся переодетый. Он был в черной куртке и в черном тонком свитере с воротником под горло, лицо его стало как будто еще бледнее.

— Ты думаешь, Карлос... придаст этому значение? — спросила Тенча.

— Он болен, — ответил Альенде. — Кроме того, последние дни, я замечал, у него упадок духа. Нам нужно было больше его беречь.

...На улице Эррасуриса еще стоял запах жженой резины. Толпа уже рассеялась, но весь этот мирный респектабельный квартал был отмечен печатью опустошения. Даже газоны за оградой имели встревоженный вид, тротуар и мостовая перед домом — сильно замусорены.

У подъезда стояли полицейские машины. За ними — одна генеральская. Постовые карабинеры переговаривались с солдатом-водителем. Завидев машину президента, они стали на вытяжку.

— Товарищ президент, — сказал, не оборачиваясь, Хано, — у подъезда нет места.

— Найди где-нибудь, — с досадой ответил Альенде. — Не поворачивать же обратно!

Войдя в холл, президент столкнулся с генералом Бонилья, который, видимо, собирался уже уходить. Хозяин его не провожал.

— Добрый вечер, генерал, — приветливо сказал президент. — Приехали известить коллегу?

— Нет, нет, президент, я уже ухожу, — любезно отошелся Бонилья. — До Карлос плохо себя чувствует, у него высокая температура, и я не стал утомлять его беседой.

Безусый, щекастый, с маленьким, по-женски очерченным подбородком, генерал Бонилья был обаятелен, ловок, подтянут и щеголеват, как адъютант. Да он и в самом деле числился в свое время нехотным адъютантом Фрея и сохранил дружеские связи со многими видными христианскими демократами. Манеры его были по-американски свободными, мелкозубая улыбка годилась хоть на предвыборный плакат. Приятно было смотреть на этого добродушного, довольною собой человека. Альенде помнил о том,

что в день «Ганкаса» Бопилья проявил себя как храбрый опытный командир, и потому относился к нему с подчеркнутым расположением, хотя раскованность бывшего французского адъютанта его несколько коробила.

— Надеюсь, ваша супруга не участвовала в этой возмутительной выходке? — спросил Альенде.

— Может ли мы отвечать за своих жен? — улыбаясь, ответил Бопилья. — Лично я не взялся бы допытываться, что делает моя супруга в эту самую минуту.

Альенде быстро взглянул на него и, не сказав больше ни слова, вошел в гостиную.

Пратс сидел в кресле. Вид у него и в самом деле был нездоров: на щеках багровые пятна, плечи попуро опущены. Увидев президента, он поспешно встал и начал застегивать верхние пуговицы кителя.

— Не беспокойтесь, дорогой друг, — сказал ему Альенде, — я тоже недолго.

Дочь Пратса Мария Апхелика быстро навела в гостиной порядок и бесшумно ушла. Генерал и президент сели в кресла возле низкого столика.

— Я виноват перед вами, Карлос, — сказал Альенде. — Это моя оплошность: я должен был усилить охрану домов командующих. С сегодняшнего дня ваш дом будет взят под усиленную охрану, и, заверяю вас, подобное больше не повторится.

— Президент, в этом больше нет необходимости, — медленно, как бы через силу, отвечал Пратс. — Выхода нет, мне придется подать в отставку.

— Вы имеете в виду отставку с министерского поста? — осторожно спросил Альенде.

— Нет, не только. Я полагаю, мне следует уйти со всех своих постов и покинуть ряды вооруженных сил.

Пратс проговорил это, глядя прямо перед собой и с трудом переводя дыхание. Глава его болезненно заслезились.

— Я понимаю... — сказал Альенде, — я понимаю, Ка-

лос, сегодняшний инцидент оставил неприятный осадок... но стоит ли поддаваться настроению? Может быть, завтра все представится в ином свете?

— Нет, не думаю,— тихо, но твердо отвечал Пратс.— Вы знаете, президент, я вынес много нападок за последние годы. Но сегодня, сейчас, моя отставка неизбежна и совершенно необходима...— он судорожно глотнул воздух,— в интересах страны. Об этом я только что беседовал с генералом Бонильей. Он придерживается точно такого же мнения.

— Его мнение — его личное дело,— сказал президент.— Но я считаю, что вы нужны нации, и не могу пришить от вас эту непомерную и беспутную жертву.

Пратс снова рассстегнул верхнюю пуговицу кителя, положил на колени тяжелые руки и закрыл глаза. Видно было, что он измучен и держится на пределе сил.

— Вы правы, президент, сказав слово «жертва»,— заговорил он после паузы.— Я сорок лет отдал вооруженным силам, практически всю свою жизнь. Начинал с младшего лейтенанта и стал тем, чем стал... Мог ли я подумать тогда, в молодости, что доживу до этого дня?

Он вскинулся, резко повернулся и заглянул в лицо Альенде.

— Президент,— сказал он,— бог видит, я честно служил и был хорошим солдатом и командиром. Я ничему больше не учился, ничего больше не умею, в гражданской жизни я беспомощен более, чем подросток... Но иного решения нет. Если в армии действует тайная группа путчистов, я не согласен быть для них предлогом, турецкой головой, как у нас говорят. Путчистам нужен раскол вооруженных сил. Только когда часть армии стеною двинется на другую часть и будет пущена в ход вся огневая мощь и начнется кровавая башня,— только в этих условиях они могут на что-то рассчитывать. Но мы-то с вами не можем этого допустить! Случилось так... не знаю уж, чья здесь

ошибки, моя или ваша, а может быть, чей-то злой умысел и далеко идущий расчет... но случилось так, что мое имя стало однознам в глазах значительной части офицерства. Для многих Прате — человек, скомпрометировавший себя. И путчисты, хоть это и звучит парадоксально, заинтересованы в том, чтобы я остался на своих постах: тогда им удастся связать с моим именем ту часть вооруженных сил, которая идет за генералами Пилючетом, Пикерингом, Марио Сепульведой... связать имена этих честных профессионалов с поддержкой моего пошатнувшегося авторитета и пытравить одну часть армии на другую. Да, мое имя становится символом раскола... мне горько и больно это сознавать, по это ток. Они с дьявольской ловкостью расставили мне одну ловушку за другой, и в некоторые я попался...

Прате замолчал и вновь, откинувшись к спинке кресла, закрыл глаза.

— Но, генерал, — прервал молчание Альенде, — если в цепи этих ловушек, как вы говорите, находится и сегодняшняя провокация, то здесь я не вижу логики. Собравшиеся под вашими окнами крикуны, поскольку мне известно, требовали вашей отставки, а не уговаривали вас оставаться. Уговариваю вас как раз я, президент. Не означает ли это, что я тоже заодно с путчистами?

Не открывая глаз, Прате вежливо улыбнулся — в знак того, что он заметил и оценил шутку президента. Но Альенде терпеливо ждал ответа, и, почувствовав это, Прате зашевелился. Он выпрямился и провел руками по лицу, как бы стирая оцепенение.

— Простите, президент, — сказал он, — у меня был трудный день. Уверен, что сегодняшняя провокация не имеет никакого отношения к путчистам... А впрочем, может быть и так: им выгодно, чтобы я остался, несмотря на все оскорблении, чтобы на меня можно было исподтишка показывать пальцем. Чтобы превратить в такую же турец-

пую голову Пиночета, им потребуется время, и немалое. Адмирал Пиночета в рядах вооруженных сил достаточно опасок. Пиночет трижды замещал меня на посту командующего и вел себя совершенно лояльно. Я оставляю падежного преемника, у адмирала Монтеро такого преемника нет...

— А разве адмирал тоже намеревается подать в отставку? — живо спросил Альенде.

— Да, президент, к сожалению, это так, — отвечал Пратс. — Полчаса назад я разговаривал с ним по телефону. Адмирал Монтеро поставил меня перед условием: если я подаю в отставку, он делает то же самое. И все мои попытки переубедить его оказались безуспешными. Я знаю, многие фальшивки во флоте жаждут его крони, но до такой степени отчужденности, как в моем случае, дело еще не дошло. Президент, вам придется употребить все ваше влияние, чтобы заставить адмирала отказаться от этого решения. Уход Монтеро означает невосполнимую потерю для вооруженных сил. Если Монтеро уйдет вслед за мной, его место займет Мернко, это жестокий и самовластный человек, от которого можно ждать больших неприятностей...

— Тем более, — настойчиво сказал Альенде, — тем более, Карлос: еще один довод, что вам не следует уходить.

По Пратс не слышал этих слов.

— Другие кандидаты на этот пост, — тусклым, безжизненным голосом говорил он, — также особого доверия не заслуживают. Совсем недавно мне стало известно, что кто-то из наших адмиралов самовольно оставил свой пост, никого об этом не известив, и совершил развлекательную поездку в Штаты, стоившую около миллиона долларов — вместе с покупками. Откуда взялись эти деньги — нетрудно догадаться: во всяком случае не из адмиральского жаловья. Мы таких денег адмиралам не платим.

Щека Альенде дернулась от ярости.

— Ну, за распущенность этому человеку придется поплатиться, — проговорил он.

— Боясь, что доказать ничего не удастся,— вздохнул Пратс,— в Штатах умеют замечать следы. Я заговорил об этом, чтобы показать вам, президент, с какими людьми придется иметь дело в случае ухода Монтеро. Что же касается генерала Ли, то он не собирается уходить в отставку, но авиация не может простить ему падения Сесара Руиса. Источник слухов о путчистских планах Руиса остается загадочным, и на многих восемно-воздушных базах в открытую говорят, что Ли непосредственно причастен к распространению этих слухов, что фактически он выдал своего начальника контрразведке правительства. С этими толками ему будет трудно бороться. Но в душе это убежденный путчист, умный и коварный. Впрочем, я уже говорил вам, президент, что замена Руиса генералом Ли была, мягко говоря, неудачной. А вот против генерала Пиночета решительно ничего не могу сказать. Вчера вечером я имел с ним доверительную беседу. Он сообщил мне, что ему предлагали поддержать идею государственного переворота.

— Вот как,— сказал Альенде.— И он, разумеется, отказался?

— Примерно в таких словах: «Не запятнай мундиры изменой».

— Достойный ответ. Но кто же те наглецы, которые обратились к генералу с таким предложением?

— Аугусто дал слово офицера не называть имена этих людей ни при каких обстоятельствах,— ответил Пратс.— Такое условие было поставлено заблаговременно. А слово офицера Аугусто будет держать, здесь я прекрасно это понимаю...

— Почему же они обратились именно к Пиночету? — задумчиво спросил Альенде.

— Без генеральской фуражки, хотя бы одной, путчистам у нас не на что рассчитывать,— ответил Пратс.— Пиночет сейчас командует сухопутными силами, по его приказу поднимутся больше восьмидесяти тысяч человек...

авиации и флота, вместе взятых, втрое меньше людей. Поскольку Пиночет дал путчистам предвусмысленный ответ, им остается уповать только на раскол. Вот почему моя отставка неприменима, президент. На сегодняшний день генерал Пратс — это символ раскола.

Последние слова Пратс произнес с горькой улыбкой.

Альенде молчал. Теперь он понимал, что решение Пратса выстрадано и обдумано не сегодня: демонстрация антидемократических дамочек лишь добавила горечи и обиды. Карлоса Пратса травили долго и изощренно, нащупывая самые болезненные для профессиопала-военного моменты: его обвиняли в трусости, в первой неуравновешенности, в разглашении профессиональных тайн и даже в организации убийства предшественника. Ни личная его храбрость, ни безупречный послужной лист — ничто не могло остановить клеветников. И они добились своего: репутация Пратса поколеблена, это отрицать невозможно. Логично было бы не дать организаторам этой подлой кампании покинуть залы победы, но это означало сознательно пойти на риск откола части офицерского корпуса... Некоторые советники президента склонялись к мнению, что поляризация вооруженных сил — не такая страшная трагедия: путчисты предпочли бы воевать против невооруженного народа, а не против регулярных частей. Но что значит «предпочли бы»? Глаза реакции налились кровью, она сознательно идет на разрушение, уничтожает патриотическое достояние, старается предельно обострить обстановку сейчас, немедля, понимая, что время работает против нее. Не ухватятся ли фашисты за этот шанс?

Не нравилась Альенде эта история с приглашением Пиночета к мятежу. Не приукрашивает ли генерал свое поведение? Уже слишком хрестоматийно прозвучал его ответ. Возможен ведь и такой вариант: предложение возглавить мятеж показалось генералу привлекательным, но, поразмыслив, проведя бессонную ночь, он счел за благо доло-

жить о произошедшем начальству. Склонности к высокому стилю Альенде раньше за Пиночетом не замечал. Пиночет был немногословец, угрюмоват, имел пристрастие к письменным распоряжениям и инструкциям и, получив бумагу, действовал в строгом соответствии с тем, что там написано. Однажды (это было после инцидента в Ранкагуа, где жены шахтеров заняли радиостанцию, и Пиночет, посланный разбираться в случившемся, по телефону потребовал от президента письменных инструкций) Альенде сердито и в то же время как бы в шутку спросил: «Послушайте, генерал, откуда у вас, человека военного, такая склонность к бюрократизму?» «Президент, я знаю только то, чему меня учили, — с достоинством ответил Пиночет. — Меня учили, что вооруженные силы должны подчиняться гражданской власти. Поскольку у гражданской власти в ходу директивы и циркуляры, я и настаиваю на письменных распоряжениях. Военный приказ может быть устным, поскольку слово командира — закон для подчиненного. Но слово человека гражданского, прошу вас за откровенность, имеет силу только на бумаге, со всеми необходимыми ви-зами».

Был случай иного рода, когда Пиночет потребовал срочной аудиенции и явился в президентский кабинет с левацкой брошюрой.

— Вот какая литература, — брюзгливо сказал он, — распространяется среди лютней.

Альенде взял у него книгу, перелистал. Типичная манера из Мао, Троцкого, шумящая ультрареволюционная трескотня.

— Да, я читал эту книгу, — сказал он и положил брошюру на стол, пододвигнув ее ближе к Пиночету.

— Я тоже ее прочитал, — ответил, пожевав губами, Пиночет. Возможно, он ожидал, что президент будет что-то объяснять. — Здесь написаны ужасные вещи. Я считаю, что необходимо принять решительные меры.

— Какие, например? — вежливо поинтересовался Альенде.

— Конфисковать весь тираж и уничтожить, а издательство призвать к судебной ответственности. За призыв к разложению вооруженных сил.

— У нас свобода печати, — с улыбкой сказал Альенде. — Если мы начнем действовать таким образом, то каждое утро на площадях придется раскладывать гигантские мостры на конфискованных тиражах «Меркурио», «Терсера», «Сегунды» и так далее. Это не в чилийских традициях.

Пиночет угрюмо молчал.

— У вас есть еще ко мне вопросы, генерал? — спросил Альенде.

— Сожалею, что понапрасну вас побеспокоил, президент, — ответил Пиночет.

— Ну, что вы, — любезно сказал Альенде. — Это прекрасно, что со своими заботами вы приходите ко мне. Так и должно быть. А посему — в любое время, милости прошу.

Пиночет взглянул на Альенде мутноватыми глазами обескураженного в своем рвении служаки, пробормотал: «Благодарю, президент» — и, старчески сутуясь, пошел к дверям.

Собственно, эту старческую мешковатость, озабоченную покорность можно было, посмотрев предвзято, истолковать как наигрыш. Но предвзятость всегда была плохим советчиком.

— Генерал, вы забыли книгу, — напомнил Альенде.

Пиночет остановился.

— Прошу прощения, я думал... — проговорил он, беря со стола броширу.

— Нет, нет, я ее читал, — ответил Альенде.

Так и осталось неясным, зачем он приходил. Брошюры такого толка, и ультралевых, и ультраправых, по Сантьяго

циркулировало неисчислимое множество! возможно, эта была первая, в которую он удосужился заглянуть.

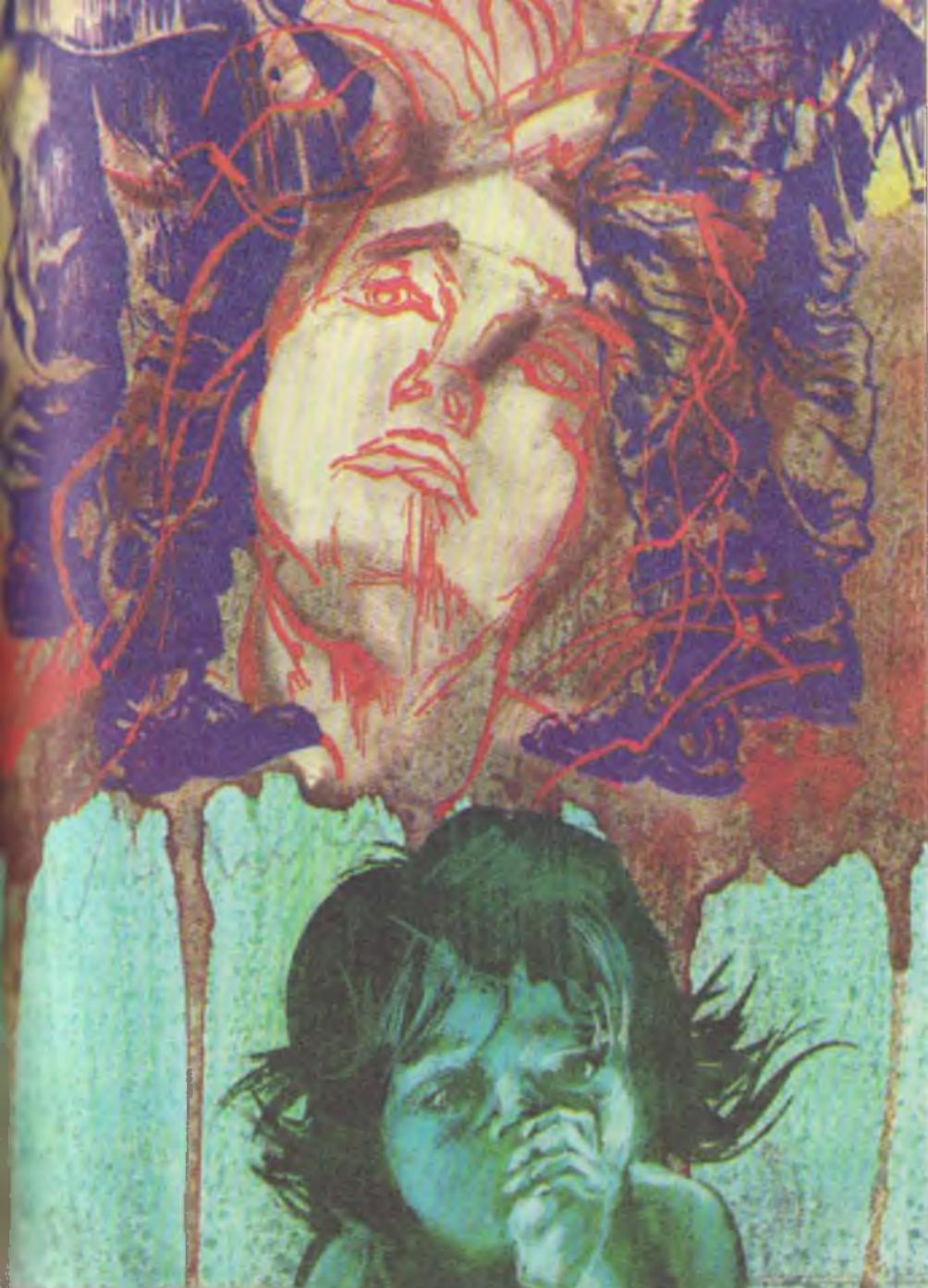
Нет, пожалуй, такой человек должен был отвергнуть предложение пуртистов с негодованием. Профессия, служба, вся карьера которого состоялась и близилась к завершению лишь благодаря четырем десятилетиям непрерывного конституционного процесса, Пиночет, по-видимому, озабочен был лишь выполнением воинского долга и условиях усилившегося брожения идей. Ошеломленный крикливым тоном левацкой брошюры, он поспешил за усвоением к гражданским властям. Может быть, не следовало обходиться с ним так сухо? Нужно было терпеливо объяснять генералу, что само появление подобных брошюров вызвано ожесточенным сопротивлением кучки олигархов, не желающих смириться с утратой части своих привилегий... напомнить ему, что еще Александри-отец, один из прежних президентов, человек, весьма далекий от марксизма, называл этих людей «позолоченными негодяями» (что не помешало ему позднее склонить перед олигархией свою львишую голову)... растолковать, что именно олигархия, и только она, является истинным врагом конституции, врагом нации, жизненно заинтересованная в нестабильности... жестко поставить перед генералом вопрос: кому на руку усиление хаоса, экономические диверсии, уличные беспорядки — сторонникам или противникам конституции?

— Значит, вы считаете, — медленно проговорил Альенде, — что Пиночет был бы вашим надежным преемником? Я вас правильно понял, Карлос?

Прате кивнул и, морщась, потер виски.

Альенде взглянул на него и поднялся.

— Вам надо отдохнуть, — сказал он. — И если к завтрашнему утру ваше решение не изменится — что ж, я доверюсь вашему опыту и чувству реальности и приму у вас отставку. Но, поверьте, я сделаю это с глубоким сожалением.



Он уезжал из этого дома больным. Вот горький финал человеческой судьбы, говорил он себе. Доводов, что все, перенесенное этим человеком, было неизбежно и оправдано, можно привести сколько угодно. Но что значат эти выражение, подобранные оправдания по сравнению с живой человеческой скорбью...

21

В пятницу двадцать четвертого утром Сесару позвонил отец.

— Послушай, как хорошо, что ты дома, — торопливо говорил он. — На улицах творится нечто невообразимое: изрывы, пожары, стрельба!

— Ты что же, беспокоишься за мою личную безопасность? — спросил Сесар, но отец не слышал его.

— Вот оно, отторжение! — возбужденно говорил он. — Всё молодежь, гордость нации, вышла на улицы! Нация не приемлет чужеродную концепцию и возмущено ее отвергает. Искусственное подавление иммунитета не помогло доктору Альенде: у него единственный выход — прекратить трансплантацию и перейти к терапии.

— Ты репетируешь свою сегодняшнюю тронную речь? — попыткался Сесар.

— Откуда ты знаешь, что я сегодня выступаю? — радостно изумленный, воскликнул дон Херардо. — Да, это будет событие. Как тебе нравится термин «ректификация»? Не правда ли, серьезно звучит?

— Это что-то связанное с химией? — вежливо попыткался Сесар.

— При чем тут химия? — возмутился дон Херардо. — Речь идет о политике. «Ректификация» — это исправление политической линии. Вот чего мы требуем от Альенде.

— А я-то думал, вы синте и видите, как он уходит в отставку.

— Или — или! — торжествующе воскликнул дон Херардо.— Или режим подвергается тщательной ректификации, или народ заставит сеньора Альепде уйти. Заметь, что мы ничего от него не требуем...

— Позволь, ты только что сказал, что вы требуете ректификации.

— Этого требует народ! — высокопарно и сердито сказал дон Херардо.— Впрочем, я не стану разъяснять тебе азбучные истины, которые ныне известны каждому подростку. Сиди в своей башне из слоновой кости. И извини, мне некогда. Так что ты мне хотел сказать?

— Прости, папа,— проговорил Сесар,— но это ты мне позволил.

— Я? — удивился дон Херардо.— Ах, да. Понимаешь ли, друг мой, на улицах творится нечто невообразимое...

— Ты это уже говорил.

— Не перебивай отца, певоспитанный сын. На улицах творится нечто невообразимое, а Габи — ты представляешь, эта упрямница, если она чего-нибудь захотят... Габи заявляет, что ей совершенно необходимо поехать в город. Ну, разумеется, я проявил отцовскую власть...

Сесар слушал, улыбаясь. Крошка Габи вертела отцом, как ей хотелось, и ни для какой отцовской власти в их отношениях не было места.

— ...и отказал ей наотрез. В конце концов, это опасно. Но она уверяет, что у нее совершенно неотложные дела. Я представляю себе эти дела: кофе с сигаретой где-нибудь в «Голубой змейке», чтобы как можно больше мужчины интересовали ее колони. Она убеждена, что пули будут облетать с другой стороны. Но мог бы ты отвезти ее, куда ей приличило? Одну ее я отпустить не могу. Вот видишь... — отец запыхался, — вырывает трубку.

— Сесар! — крикнула, сердито смеясь, Габриэла.— Сесар, не слушай его, сиди дома, я обойдусь без тебя.

— Так ехать мне или не ехать? — спросил Сесар.

— Ну, разумеется, присажай,— голосом отца пробубнила трубка.

Сесар со вздохом прошел в студию, почистил пальцем глянкий мазок на этюде (и погода, как назло, самая рабочая, света хоть отбавляй, небо облачное, по высокое) и, вымыв руки, стал одеваться. При этом он поглядывал за окно: ни дыма пожарищ, ни митущихся толп не было видно. Может быть, где-нибудь и стреляли, но здесь, возле Маночо, было тихо, как в деревне.

Когда Сесар хотел уже выходить, в дверях он столкнулся с соседом, полковником в отставке, ответственным за оборону квартала. Этакий сморщененный старишок с остреньким носиком и рыскающим взглядом.

— Я вам звонил все утро,— заявил он, заглядывая в переднюю.— Но вы, наверно, не подходили к телефону. Сегодня в двенадцать общий сбор, намечены оперативные маневры отряда самообороны.

— В детские игры я не играю,— отрезал Сесар, закрывая за собою дверь и вытесняя полковника на лестницу.— Для обороны квартала у нас есть армия и полиция.

Глаза старишки всыпали желтой злобой, но он сдерживался.

— Хорошо,— проговорил он, пятясь.— Если сюда ворвутся банды миристов и социалистов, мы постараемся справиться с ними и без вас. Но вот когда все кончится...

Он не договорил, потому что оказался на ступеньке и спускден был заняться спуском. Но в конце лестничного марша обернулся и крикнул:

— Когда все кончится, мы спросим с вас, и спросим очень строго: кто это ездит к вам на «Фольксвагене» с красным флагком?

Сесар пожал плечами и, достав из кармана ключ от машины, начал спускаться. По дороге он думал: разве Каролина приезжала к нему на машине с красным флагком? Глупости мелет старик, выжил из ума совершило.

Габриэла с нетерпением ждала его возле калитки отцовского «башгало».

— А побыстрео ты не мог? — недовольно сказала она, усаживаясь.— Это все причуды отца. Если бы моя пушка была защищена, за мной прислали бы джип с боевиками.

— Наирасно ты путаешься с этим отребьем,— сказала Сесар.— Вмешается армия — от твоих боевиков только солдаты останутся.

— Что ты понимаешь, мазилка! — сказала Габриэла.— Да если хочешь знать, город ужо в их руках. Все шоссе не рекрыты, железнодорожные пути взорваны. У твоего Альенде осталось всего восемьсот тонн зерна, по триста граммов на человека. Стоит тряхнуть носильное — и груша на траве.

— Тебе-то что с этого?

— Мне? — Габриэла мечтательно прищурилась.— Когда я стану первой дамой страны...

— Долгий же ты выбрала путь. Можно было просто выйти замуж за перспективного политика и толкать его в президенты.

— За политика? — Габриэла сморщила нос.— Да они же все старые. И потом, на это потребуется лет десять, не меньше. А через десять лет этот политик совсем одряхлеет, да и мне уже будет все безразлично. Нет, милый мой, прежняя система омертвела. Опа породила такое противоречие, как Альенде, и сама золовила себе конец. Нужны молодые, сильные, смелые лидеры...

— Как твой Рикардо?

— Не надо говорить о тех, кого не знаешь. Рикардо — великий человек, это знают во всех трех Америках, сам Киссинджер ему говорил: «Дик, ты великий человек».

— Об этом ты, разумеется, знаешь от самого Киссинджера?

— Я не хочу больше с тобой говорить,— холодно сказала Габи и отвернулась.

На улице Артуро Прата, рядом со стройкой метро, был патр. Улицу пересекала колонна «Добровольцев родины». Впереди, пятаясь, дирижировал руками лохматый коренастый активист, и добровольцы нестройно кричали:

— Процесс — перемен — необратим! Процесс — перемены...

Из передних машин раздавались петершельевые, раздраженные выкрики, задние наперебой сигналили. Обстановка была довольно первая.

Внезапно со всех сторон, как саранча, высыпали на мостовую юнцы в черных слинтерах и мотоциклетных шлемах: должно быть, они поджидали здесь добровольцев, спрятавшись за забором стройки. В воздухе замелькали железные налаки и цепи. Прикрывая головы руками, добровольцы заметались по мостовой под крики и злорадные гудки автомобилей, склонившихся на перекрестке.

Мимо машины пробежал паренек в менковатой синеве, он схватился рукой за стекло, оставил на нем кровавый след. Оцепенев от омерзения, Сесар смотрел прямо перед собой, а Габриэла с царственным видом наблюдала за проходящим.

— Хорошо работают мальчики, — промолвила она.

В пять минут колонна добровольцев была рассеяна, но опиленные легким успехом матусовцы продолжали буйствовать. Они выбадили пассажиров из одной машины — видимо, служащих какой-то государственной корпорации. Минута — и ликап был охвачен ревущим дымным пламенем. Несколько налетчиков с торжествующими воплями повалили на мостовую щитовой забор, за ним, сверкая желтой и красной краской, стоял новенький моющий «категориллер». Теперь целью матусовцев стало свалить машину в котлован. Завязшие в красноватой земле колеса «категориллера» качнулись, и трактор медленно пополз к обрыву.

Вдруг хлоннула автомобильная дверца, и Сесар, резко

повернувшись, как будто его толкнули, увидал Каролину. Она бросилась к котловану и встала на его краю, раскинув руки.

— Прекратите! — закричала Каролина. — Негодяи, подонки, что вы делаете?

Среди толкающих трактор боевиков произошло замешательство. Двое подсюючили к Каролине и валили ее за руки, пытаясь оттащить от обрыва, она сопротивлялась.

— Послушай, — деловито сказала Габриала, — они же не шутят, они ее скинут вниз!

Сиденье Сесара было пусто.

В два прыжка, свирепо выставив бороду, Сесар подскочил к боевикам, тащившим Каролину, схватил за шиворот одного, но в это время другой, отпустив девушки, изловчился и хлестнул его велосипедной цепью по голове. Сесар резко выирялся и с недоумевающим лицом медленно повернулся. Матусовец хлестнул бы его еще раз, но Каролина, вскрикнув, повисла у него на руке. Минута — и оба они с вывернутыми за спину руками стояли в плотном кольце боевиков.

Главарь отряда, высокий красивый парень в пакиупотой на плечи поверх тонкого черного свитера джинсовой куртке, подошел, оглядел с ног до головы Сесара, оценивающе пощупал языком его замшевого, перепачканного маузом пиджака, потом убрая прядь волос со лба Каролины. Сесар стоял, пошатываясь, как складной мольберт, Каролина, бурно дыша от ненависти, молча смотрела в лицо главаря.

— Откуда они ваялись? — спросил главарь.

— Вон из того «фолька», с флагом, — ответил кто-то из его подчиненных.

По лицу Сесара потекла струйка крови, и взгляд его стал осмысленнее. Услышав последнее слово, он повернул голову: к лобовому стеклу «фолькswagen» действительно изнутри был приклесен маленький красный флагок. Троф

матусонцев усердно уродовали машину, колотя по ней железными палками, а внутри, закрывая лицо от осколков стекла, сидел пожилой редакционный шофер — дядя Густаво.

— Привет, — посмотрев на Каролину, пробормотал Сесар. — Вот и увиделись наконец.

Каролина не успела ответить.

— Они спешили туда, — проговорил главарь, показывая на разверстый котлован. — Подсобите им, ребята.

Вдруг за их спинами заревел мощный мотор. Главарь посмотрел поверх толпы, и лицо его потемнело. В кабине «каптерпиллера», иензисето как туда пробравшись, сидел пущинецкий доброволец в грязной спецовке. Машина, дернувшись, взяла с места и покатила на толпу боевиков. Понидимому, парнишка впервые сидел за рулем такой мощной машины, и «каптерпиллер» надсадно ревел и чадил. Матусовцы в панике брызнули в разные стороны, оставив Сесара и Каролину возле поваленного забора. Затрещали под колесами доски, и «каптерпиллер», набирая скорость, покатил по улице Сан-Диего.

Сесар молча взглянул на Каролину и, схватив ее за руку, потащил к своей машине.

— Погоди... — пробормотала она, упираясь, — там же Густаво, надо ему помочь...

Редакционный «фольксваген» нехотя горел, чуть подальше стоял, удрученный на него гляди, дядюшка Густаво.

— И зачем я свернул на Артуро Прата? — пробормотал он, когда подошла Каролина. — Сроду по ней не ездил.

— Сам-то цел? — с беспокойством заглядывая ему в лицо, спросила Каролина.

— Что мне сделается, — отвечал Густаво. — Вот если бы в баке было побольше бензина, я бы и выскочить не успел...

Вдали, на Аламеде, завыли сирены карабинерских машин. Матусовцы исчезли, как будто их не было. Автомоби-

ли, запрудившие улицу Артуро Прата, стали поспешно разъезжаться.

— Ладно,— сказал Густаво,— я остаюсь, надо акт составлять... А ты уж как-нибудь сама добирайся...

Каролина посмотрела на Сесира и, не сказав ни слова, покорно пошла к его «стойоте».

Габриэла встретила их ироническими рукоплесканиями.

— Это было чудесно! — сказала она.— Прекрасный рыцарь вызволяет благородную даму из лап бандитов.

— Тебе куда? — спросил Сесар, медленно объезжая горящие на мостовой машины.

Каролина молча достала платок и начала стирать кровь, запекшуюся у Сесара на лбу и щеке.

— Понимаю,— насмешливо сказала Габи,— у меня тоже есть свои тайны. Будь добр, Сесар, высади меня здесь.

— Отец приказал долести тебя до места,— пробормотал Сесар.

— А это и есть мое место,— возразила Габи.— Вон там, в «дауне», мои друзья.

Высунувшись из машины, она помахала кому-то рукой. Сесар притормозил.

— ЧАО, дорогие мои,— весело сказала Габи.— Салюд, амор и несетас. Здоровья вам, денег и любви!

И, выйдя из машины Сесара, она пересела в «даун». За рулем роскошной машины, отвернувшись, сидел плотный мужчина в кепке, из-под которой торчали веснушчатые уши. Едва Габи успела захлопнуть дверцу, «даун» сорвался с места и умчал в сторону Аламеды.

— Где-то я видела этого человека,— проговорила Каролина.

— Чили — маленькая страна,— отозвался Сесар.— Нет ничего удивительного. Так куда тебя отвезти?

— На Эрасуриса, к дому Пратса. Я должна взять у него интервью.

— К дому Пратса? — переспросил Сесар. — А разве оп...
и думал, он теперь перестал вас интересовать.

Каролина резко повернулась к нему, и Сесар увидел,
что глаза ее полны слез.

— Послушай, Сесар Ларин Ластаррина, — тихо сказала
она. — Ты бросился меня выручать, и я подумала: боже,
какое счастье, что мы спою вместе. Но мы не вместе, нет.
Стоит тебе произнести хоть одно слово... Ты весь пропитан
предубеждениями своего класса. Ну, скажи: какое тебе де-
ло, интересует нас этот человек или нет? Тебе-то самому
на него наплевать, ведь правда? Так отчего же ты так
убежден, что и нам наплевать? Тебе удобнее так думать?
Тебе привычнее считать, что мы... это значит, и я тоже...
что мы используем людей в своих интересах, пока они нам
нужны, и бросаем их на произвол судьбы, когда они вы-
житы, как лимон, не так ли? Ты не можешь допустить
даже мысли, что мы, возможно, добре и человечнее, что
нам действительно больно, когда больно другим? Эта мысль
меняет тебе жить, правда? Задумайся над этим, Сесар, по-
жалуйста.

Сесар долго молчал.

— Ну, ладно, может быть, я и не прав, — сказал он па-
копец. — Прости, если это тебя обидело. И все-таки я склонен
считать, что вы догматики и схоластичище католи-
ков. Стерильность догмы для вас святее всего.

— Откуда ты это знаешь? — устало проговорила Каро-
лина.

— Да хотя бы из твоего отношения ко мне! Если бы
ты действительно мучилась человеческой болью, разве у
нас все было бы так?

— А как бы было?

— Ты видишь, что творится вокруг. Страна слишком
долго жила добропорядочной жизнью. Чернь истосковова-
лась по насилию. Ты видела, с каким азартом люди пре-
няются вандализму? Какой мирный путь, какой процесс

перемен! Все это вам только мнится. Послушай, давай уедем отсюда! Уедем — и пусть все это катится ко всем чертям!

— Давай уедем,— как эхо, повторила Каролина. Сесар даже вздрогнул от неожиданности, и машина вильнула. Давай уедем, хотя бы в Италию. Нам будет очень хорошо. Ты станешь расписывать на пляже белые платья тамошним красоткам в южноамериканском стиле, это доходное дело, а я — писать книгу под каким-нибудь красивым названием. «Чили — страна закатов», недурно? Со мной не пропадешь. А мои братья и сестречки пусть катятся ко всем чертям. И могила моего отца пусть заастает травой...

Голос ее осекся, она отвернулась к окну.

Сесар молчал, лицо его потемнело.

— Да, я похоронила отца в эти дни, ты разве не знал? — звонко заговорила Каролина.— Его убили, убили! Но пусть все это катится в тартарары, а мы с тобой будем любить друг друга как полоумные. И пусть травят Пратса Альенде, пусть покидают грязью все, что есть лучшего в Чили, а мы с тобой будем любоваться друг другом, согласен?

— Прости,— проговорил Сесар,— прости меня, Пирусита...

— Так вот, запомни,— перебила его Каролина.— Я никогда не захочу этого, никогда!

22

На улицу Эррасуриса Каролина приехала вовремя: окруженнная толпою любопытных и репортеров, возле дома бывшего командующего стояла группа людей. Почти все министры правительства Народного единства явились к Пратсу с визитом сочувствия. Пратс принимал своих гостей уже в штатском. В коротком светлом пиджачко и тем-

ной рубашке, Пратс был совсем за себя не похож, он как бы осупался и стал еще меньше ростом. Погода стояла прекрасная, по-весеннему теплая и солнечная, и гости прошлись с хозяином на свежем воздухе, у подъезда, где всего три дня назад горели дымные костры и хлопьями летел черный пепел.

Нынешний министр обороны Орландо Летельер, горбатый, лысоватый, с густыми усами и высоким цервым животом, держа руку Пратса в своей руке, говорил о великолепной выдержке дона Карлоса, о твердости его принципов и о том восхищении и уважении, которые питают к дону Карлосу все члены кабинета. Все это делалось, разумеется, уже для журналистов, по Летельер умел даже официальные слова произносить с искренним чувством и простотой.

Пратс держался скованно, улыбка его была похожа на гримасу. Пожимая руку каждому гостю, он механически повторял «благодарю, благодарю» и, кажется, не слушал, что ему говорят. Каролина представила себе, как он сейчас прощается с высокими гостями, вернется в свой дом, наглоухо закроет двери, и все останется позади — заслуги, почести, звания. Жестоко было бы мучить его сейчас вопросами... впрочем, такого задания от редакции у нее не было: она должна была записать, как он отвечает на вопросы репортеров других газет.

Последним с Пратсом прощался адмирал Монтеро. Высокий, сухощавый, с морщинистым пасмурным лицом, он не сказал Пратсу ни слова, только обнял его и похлопал по спине. Отстрапившись, Пратс взглянул на него спизу вверх с пепередаваемым выражением «вот видишь, иу что же делать» и произнес свое неизменное «благодарю, благодарю». Каролине было известно, что адмирал подал в отставку еще в среду, и точно так же, как Пратс, со всех своих постов, но решение по этому вопросу еще не принято командованием.

Как только Монтеро отошел, все журналисты ринулись к Пратсу. Каролина была вовлечена в общий водоворот и, пустив слегка в ход свои локотки, оказалась достаточно близко, чтобы слышать каждое слово бывшего комбанду-пето. Но праздное любопытство влекло ее в самую реорганистическую гущу, а профессиональная необходимость: нельзя было позволить этой своре перевратить слова Пратса, и поэтому надо было, чтобы ее видели рядом.

Первым ринулся на штурм поверженной твердьни корреспондент «Меркурио». Выrocем, «ринулся» — не совсем точное слово: один из ряжих участников травли Пратса, он ничем не выдал своего никования, и вопрос его прозвучал вежливо и даже изысканно:

— Сенатор Пратс, имеют ли основание слухи о том, что на сегодняшнюю церемонию вступления на пост нового командующего сухопутными силами вам не было послано официальное приглашение? Если же эти слухи безосновательны, не могли бы вы объяснить читателям нашей газеты причины вашего отсутствия?

Каролина с беспокойством посмотрела на Пратса — и поразилась произошедшей в нем перемене: строгое военное лицо, холодный с прищуром взгляд (как бы из-под козырька, хотя Пратс стоял с непокрытой головой и его редкие волосы шевелились на легком ветру) — видимо, военная закалка помогла ему собрать свою волю.

— Общеизвестно, — неторопливо заговорил Пратс, — что все перемещения в вооруженных силах Чили происходят по высуге лет и в строгом соответствии со списком. Поэтому переход должности главнокомандующего к генералу Пиночету произошел автоматически, и церемония, которой вы говорили, является чисто формальной. Никаких официальных приглашений на эту внутреннюю церемонию министерство обороны, насколько мне известно, и когда не рассыпало. Как частное лицо, я счел свое присутствие сегодня утром в министерстве обороны необязатель-

ним и в это первое свободное за сорок лет утро занялся личными делами, которые, можете мне поверить, пришли в некоторый беспорядок.

По толпе репортеров пролетел легкий вежливый смешок, и Каролина увидела, как корреспондент «Пренсы», положив блокнот на спину впереди стоящего, написал: «Сохраняет спокойствие и хорошее настроение». Фраза была не такой уж блестящей находкой, чтобы ее срочно записывать, но кто, в конце концов, утверждает, что в редакции «Пренсы» работают только даровитые люди?

— Каково ваше мнение, сеньор Пратс,— высунулся перед человек из «Сегуиды»,— по поводу вчерашних передвижений войск в районе Сан-Фелипе, Вальпараисо, а также в Кильоте? Не связаны ли эти передвижения с маневрами боливийских войск на границе?

Подоплека этого вопроса была ясна. Организаторы свержения Пратса, по-видимому, не все еще выжали из факта его отставки. Им нужно было представить дело так, что кабинет, в который входил Пратс, ослабил усилия по охране северной границы. Вопрос-ловушка: утвердительный ответ («да, связаны») будет представлен как признание вины («Пратс вынужден признать, что политизация высшего военного руководства страны возбудила у боливийцев надежды на возвращение выхода к морю»), отрицательный же в трактовке «Сегуиды» станет выглядеть как «упорное непризнание очевидности». Отставной генерал имел право уклоняться от ответа, но тогда «Сегуида» торжествующе зашумит: «Пратсу есть что скрывать, сограждане!»

— Вопрос о передислокации частей,— отвел дон Карлос,— вам следует адресовать новому главному генералу Пиночету. Как частное лицо могу вам только сообщить, что сегодня по радио я слышал заявление командующего о том, что ни одно соединение не покидало своих позиций. Что же касается маневров боливийских войск,

то я убежден, что там, на севере, известно: вооруженные силы Чили способны эффективно пресечь любое посягательство на нашу национальную территорию. Как гражданин рекомендую читателям вашей газеты больше доверять вооруженным силам и меньше — распространителям всяческих слухов.

— Сеньор Пратс, — льстиво начал корреспондент «Пренсы», — в эти дни вы получили множество писем и телеграмм с выражением сожаления по поводу вашей отставки. Какое письмо и от кого, если не секрет, запомнилось вам больше всего?

Право же, можно было только поражаться изменению тона газетчиков: совсем недавно Пратсу задавались такие сстрые, такие провокационные вопросы, нередко в оскорбительной форме, рассчитанные на то, чтобы вывести его из равновесия, — теперь же тон и форма вопросов были чуть ли не благостными, умиротворенными. Даже слова «выражение сочувствия», которые могли как-то задеть экс-министра, были заменены деликатным «выражение сожаления».

— Я был очень тронут телеграммой, поступившей от сеньора Томича, — ответил Пратс, — тронут настолько, что запомнил ее слово в слово. «Как в трагедиях греческого театра, — пишет мне дон Радомиро, — все знают, что может случиться, все желают, чтобы этого не случилось, но каждый делает в точности то, что необходимо, чтобы произошло несчастье, которого он намеревался избежать». Я даже не подозревал, — Пратс бледно улыбнулся, — что форма телеграммы позволяет высказываться столь изящно. Мне очень польстило сравнение важного, не скрою, события в моей жизни с классической трагедией, но полагаю, что дон Радомиро смотрит на вещи излишне пессимистично.

— Излишне пессимистично? — быстро переспросил корреспондент «Трибуны». — Не могли бы вы сказать об этом подробнее?

— Я не собираюсь делать никаких политических заявлений,— ответил Пратс.

— Каковы ваши дальнейшие планы? — спросил репортер из «Терсеры».

Пратс помедлил, лицо его вновь стало тусклым.

— Сорок лет,— сказал он,— я занимался тем единственным делом, которому учился. Теперь я ушел — это высшая услуга, которую я мог оказать родине. Мне остается надеяться, что я окажусь достаточно подготовлен к частной жизни.

«Ну, хватит же, хватит! Довольно!» — захотелось крикнуть Каролине. Но коллеги не унимались.

— Означает ли это, что вы останетесь беспристрастным наблюдателем, что бы ни произошло в Чили? — вновь спросил корреспондент «Трибуны».

— Единственное, что я могу сказать по этому поводу,— ответил Пратс,— это то, что я был и остаюсь гражданином Республики Чили.

Он посмотрел на часы.

— Мы очень вам благодарны, сеньор Пратс,— сказал корреспондент «Меркурио».— Беседа с вами была чрезвычайно поучительной, и мы не жалеем, что ждали вас здесь около часа. Кстати, не могли бы вы сказать, почему визит сеньоров министров продолжался столько времени?

Пратс усмехнулся.

— Потому что мы не молчали,— ответил он.— До свидания, господа.

И, повернувшись, зашагал к дому.

23

В спокойное время из Сантьяго в Вальпараисо каждые пятнадцать минут ходили маршрутные такси. Но сейчас таксисты бастовали, шоссейные дороги были перекрыты баррикадами, и добраться до Вальпараисо можно было

только поездом. Месяц назад в одном из двух туннелей на этой линии произошел взрыв, но теперь завал разобрали, и поезда от столицы до Вальпараисо ходили, хотя и не так регулярно, как раньше.

Родольфо и Виктор Бала Эскондилла ехали в Вальпараисо с поручением от команданте Рауля. В Первой военно-морской зоне назревали события, и надо было выйти на связь с людьми Карденаса. Сержант морской пехоты Карденас с группой высших чинов ВМФ готовил крупную вооруженную акцию, которая должна была вызвать в зоне восстание моряков и смещение реакционного флотского командования. Но морякам было нужно, чтобы их поддержали в Сантьяго: овладеть зоной они рассчитывали своими силами, а на «друзей в столице» ложилась задача каким-то образом не допустить переброски в Вальпараисо войск — хотя бы в течение первых нескольких дней, пока положение в зоне не стабилизируется. Можно было предположить, что перемены внутри Первой военно-морской зоны вызовут цепную реакцию не только во флоте, но и в авиации, и в пехоте, что приведет к общему повсеместному вооруженному восстанию.

— МИР — единственная организация, — наставлял их перед отъездом команданте Рауль, — которая всерьез, а не на словах борется за вооруженные силы. Мы не настолько наивны, чтобы полагать, что снасение революции придет от четырехзвездных генералов. Армия — естественный враг революции, и, чтобы привлечь ее на свою сторону, необходимо начинать не с верхов, а с низов. Почему мы выбрали именно флот? Да потому, что моряки, я имею в виду рядовых моряков и унтер-офицеров, это те же рабочие, одетые в флотскую форму и обученные обращению со сложнейшими машинами, более напоминающими плавучие фабрики и заводы и требующими коллективного слаженного обслуживания. Иными словами, моряки и на воинской службе сохраняют все преимущество

щества рабочего класса: грамотность, сознательность, коллектизм. Мы выбрали флот еще и потому, что каждый военный корабль представляет собой автономную боевую единицу, способную выполнять самостоятельные задачи. Почему мы выбрали именно Первую зону? Не потому, что оттуда к нам пришел сержант Карденас. Само его появление в рядах морской пехоты было подготовлено нашей предшествующей работой. Ячейки на крейсере «Адмирал Латторре» и тральщике «Бланко Энкалада» были разгромлены, сотни наших людей замучены налачами адмирала Мерино, но кровавый разгул флотской инквизиции вызвал ответную реакцию: моряки психологически подготовлены к неповиновению офицерству, в сознании своем они уже с нами, с передовыми рабочими страной. Разумеется, мы призовем всех честных офицеров присоединиться к нам, но думаю, что этот призыв не найдет отклика в противящей офицерской среде. Зажигая бикфордов шнур в Вальпараисо, мы руководствуемся продуманным планом: во-первых, реакция не ожидает, что сдвиг вооруженных сил влево начнется именно здесь, момъячес полагают, что наши силы здесь разгромлены. Кроме того, мы используем проверенную тактику реакции: вам известно, что зона Вальпараисо является традиционной базой военных митежей — в силу близости ее к столице и в то же время отпосительной автономности. На сей раз в Вальпараисо загорается красная заря завтрашнего дня Чили. Надеюсь, вам понятно все, что я говорю?

Бала Эскондида кивнул. Когда командант говорил, все становились на свои места. Неясными оставались лишь несколько мелочей. Командант Рауль много говорил о том, что им оказана великая честь — установить связь между вооруженными силами и рабочим классом. Но где рабочий класс? Родольфо этого не понимал. Сам он был безработным, лицом без определенных занятий, Бала Эскондида — бывший студент, командаант Рауль, поговари-

вали, вышел из аристократической семьи, его отец владел большими поместьями на юге, а племянник Конрад, которого командаunte рекомендовал как представителя международного рабочего класса, преподавал философию в университетах Старого Света. Да, собственно говоря, во всей кальянной Роза Бланка не отыскать было ни одного фабричного рабочего: здесь жили безработные, переселенцы из сельских местностей, эмигранты. Суровое название «индустриальный кордон» плохо вязалось с этим поселком. Но, может быть, так принято говорить? Во всяком случае, Раули он не рискнул бы спрашивать. А Виктор давал на этот вопрос самые путаные и разноречивые ответы, как будто он был не одним человеком, а целою толпою не согласных друг с другом людей. То Бала утверждал, что они с ним и есть самые настоящие пролетарии («по логике системы, которая нас обездолила»), то начинал туманно рассуждать о том, что рабочий класс слишком сработался с буржуазией, и его еще надо за уши оттаскивать от капиталистической кормушки; то заявлял, что пролетариат только тогда становится гегемоном, когда пройдет выучку у профессиональных революционеров, а питательной средой для профессиональных революционеров является именно «маргинальное население», а что такое «маргинальное» — Родольфо не знал, и вопрос запутывался окончательно.

Неясно было и другое: почему для выполнения столь ответственного задания командаunte выбрал именно его, Родольфо, неотесанного и ничем себя не зарекомендовавшего новобранца. То, что в Вальпараисо на свидание с Карденасом ехал Бала Эскондидо, было попытко: для командаunte это был свой человек с изрядным революционным опытом. Может быть, Бала оказал ему протекцию по старой дружбе? Но сам он это решительно отрицал. Впрочем, все эти сомнения коношились где-то в глубине сознания Родольфо, в виски же ему отчетливо стучало одно: не

подвести, оправдать донерие, сделать все, что приказывает командант, иначе — лучше не жить.

Они сидели в темном бараке «командо комуналь», освещаемом лишь отблесками раскаленного угля в жаровне на полу, над которой время от времени взлетали легкие язычки пламени. Командант Рауль — за столиком у окошка, затянутого хлорвиниловой пленкой, Виктор и Родольфо — на нарах. У выхода караульный негромко пасвищивал мелодию «Скажи мне, гитара, отчего эта ночь так диньша?». На стенах беззвучно громыхали самодельные трансляторы: «Только революционеры совершают революцию!» и «Вивя герилья!» («Да здравствует партизанская война!»)

— Люди Кардепаса, — помолчав, продолжал командант, — делают великое историческое дело. От них зависит вся судьба революции. И если все пройдет, как задумано, посмотрим, кто без кого обойдется: мы без Альенде или Альенде без нас.

...Поезд медленно тянулся под серым небом. По обе стороны — желтые откосы гор, у их подножия — селения, поля, ряды тополей на межах, крохотные фермы между холмами, возле которых на сочной траве паслись рыжие коровы.

А близость океана неуловимо чувствовалась на холмах, поросших сосной и кустами шиповника. В долинах лежала глухая, застоявшаяся сырость, кусты ивняка были подернуты серебристой изморосью. Поезд медленно поворачивал свой пегий бок к напористому океанскому ветру, и вот между холмами раскрылся пропасть, полный хмурой, тяжело-серой воды. Ближе к берегу океан пенился и рокотал, вдалеке на его темной поверхности лежал брошенный отблеск неба. Линия горизонта была прочерчена резко, казалось — протяни руку, и ее можно будет потрогать пальцем, как холодное лезвие остро отточенного ножа.

Холмы расступились и стали пятиться, освобождая место тяжелому телу океана. Поезд побежал почти по краю воды, желтоватые гребни серо-коричневых волн плескались чуть ли не под колесами вагона. Толчок, еще толчок — и, точно сухогрузная баржа, поезд остановился у причала. Стая грязных лодок сбились на берегу, вдалеке на рейде неподвижно стояли синевато-серые военные корабли.

Родольфо впервые в жизни был в Вальпараисо. По рассказам отца, этот город представлялся ему большой пестрой ярмаркой, где людно, крикливо, весело и страшновато. И Вальпараисо оправдал его ожидания. После угрюмого, пустынного Сантьяго порт казался перенаполненным оживленной толпой. Здесь рынок вышел на улицы: разносчики с корзинами кричали на все голоса, возле лоточников толпились подростки, матросы большими группами расхаживали по переулкам, разыскивая какие-то таинственные места, известные только им. Магазины, правда, были закрыты, по бары и таверны полны людей. От гавани улицы шли вверх, по обе их стороны теснились прикрепленные к склонам холмов и подножиям скал доминики, раскрашенные в исклестый, зеленый и красный цвета, так что нестроты под темными облаками было достаточно. Это был как бы Сантьяго наизнанку: внизу, у пляжей на берегу океана, аристократические районы, особняки в колониальном стиле, а наверху, на холмах и до самых гор, — рабочие кварталы, поблескавшие и камнями. Все это нагромождение дворцов, скал и лачуг обильно промывалось океанским бризом. И еще одна бросающаяся в глаза черта: не смиренные вежливые карабинеры, а патрули иоен-морской жандармерии с боевым оружием прохаживались то здесь, то там, по-хозяйски оглядывая людскую толпу.

Родольфо и Виктор поднялись повыше над городом, прошли по переулку, обрывавшемуся прямо в океан (на-

стоящая ловушка для подвыпивших матросов) и остановились. Отсюда было видно и рейд, и широкий пляж, и россыпи домиков на скалах, и проспекты внизу.

— «Вальпараисо, исхудалый пес,— торжественно произнес Виктор.— Он лает на холмах, его пинают океан и горы. А он — наипортовый порт — не в силах уплыть в простор своей судьбы и вост, как зимний поезд, на одиночество, на океан».

— Что это? — спросил Родольфо, удивленный необычным сочетанием слов.

— Это, брат, настоящие стихи,— снисходительно ответил Бала Эскоидида.— Наблю Перуда.

— Он, кажется, коммунист? — сказал Родольфо.

— Ну так что же? — возразил Бала.— Это, как видно, не мешает ему быть поэтом.

— Ты много знаешь,— завистливо проговорил Родольфо. Ему хотелось спросить, как сказано в стихах дальше, но он стеснялся.

— Да, знаю кое-что,— согласился Бала.— А ты думал, я только валялся с комиксом в руках на лужайках Консепсьона?

...Встреча с людьми Карденаса была назначена на станции фуникулера, откуда можно было спуститься вниз на равнинную часть города. Родольфо и Виктор сходили на это место, бегло осмотрели его. Это была площадка с билетной кассой и парой скамеек для ожидающих. Родольфо думал, что здесь они и останутся, но Виктор потащил его на фуникулер. Они спустились вниз, потолкались в толпе на проспекте Аргентины. Потом добрались до гавани, перекусили в таверне (Виктор заказал бутылку белого вина и выпил ее один, Родольфо отказался — он никогда не пробовал вина), прошли пешком по подъему на Сан-Хуан-де-Диос, попетляли по узким улочкам и переулкам и оказались на том же обрыве, откуда два часа назад любовались городом.

Небо стало ярким, косые лучи солнца выбивались из прогалин между темными облаками и упирались в свинцовую твердь океана, образуя порталы, арки и галереи, ведущие в ослепительно желтую даль.

— Город солица,— проговорил разгоряченный вином Бала Эскондидо.— О, боже, как много я потерял времени, оттого что кис в зеленой луже Консепсьона! Теперь я знаю, что меня всегда тянуло сюда.

Он указал рукой на тяжело застывшие в золотых водах корабли.

— Смотри! Это «Латорре», это «Майпо», левее — видишь черточка: подводная лодка «Симпсон». Плавучие республики, острова власти. При такой географии, как в Чили, это все, что нужно революционеру. Броненосец «Потемкин»... слыхал о таком?

— Фильм смотрел,— с гордостью сказал Родольфо,— в советском культурном центре.

— Ну, так вот. Броненосец «Потемкин» не мог со своими орудийными башнями проплыть вдоль всей России, а крейсер «Латорре» — может! Какая трата времени! Что стоит все наши беготня по городским переулкам, когда вот она — свобода и сила! Лишь поведи дулами — и все портовые города посыплются к нашим ногам.

— Какие-то пиратские замашки,— недовольно сказал Родольфо.

— Ну, нет. Я не анархист,— возразил Бала.— Я — убежденный социалист левого толка и личной свободы вне рамок общей борьбы не ищу.

Вдруг Виктор замолчал и, подойдя к самому краю обрыва, стал пристально разглядывать площадку станции Фуникулера, на которую им предстояло сойти.

— Не нравится мне это место,— пробормотал он.— Настоящая мышеловка. Если перекрыть вон ту асфальтированную дорожку — куда хочешь девайся, кругом обрыв, хоть вниз головой. Давай-ка подождем здесь. Оттуда

да пас не видно, а сбежать вниз — вот по той тропинке — можно за пять минут.

— Смотри, черноберетники,— сказал, хватая его за локоть, Родольфо.— Надо спускаться, это они!

— Кто «они»? — одернул его Бала Эскондида.— Люди Карденаса? Нет, Фито, это военный патруль. Сомнительно, чтобы Карденас послал на связь вооруженных людей.

И в самом деле, сверху было отчетливо видно, как группа морских пехотинцев в черных беретах, приближавшаяся к площадке, вдруг перестроилась рассыпным строем и, держа карабины наизготове, перерезала дорожку, ведущую к станции.

— Все, друг Родольфо,— сказал Виктор, посмотрев на часы.— Мышеловка захлопнулась. Оттуда уже никому не уйти.

Они подождали еще немного, время от времени осторожно заглядывая вниз. На скамейках станции ожидали фуникулер всего несколько человек: многодетное семейство, две торговки с корзинами и молодой человек, по виду студент, со связкой книг в руке.

— Наверно, это он,— взволнованно прошептал Родольфо,— тот парень с книгами.

Но в это время начальник патруля вышел на площадку, бегло оглядел ожидающих и подошел к молодому человеку. Тот отрицательно покачал головой. Офицер постонался на месте, потом обернулся и, задрав голову, принялся разглядывать нарисованный на площадке обрыв.

Виктор и Родольфо отпрянули.

— Надо уносить поги,— хрюплю проговорил Бала.— Помни: если попадешься им в лапы, они тебя изуродуют. Жди меня возле гавани, на нижней площадке... Впрочем, нет, туда нельзя, если они не дураки... Ступай на улицу Баррос Луко, спросишь у кого-нибудь по дороге, где лицей. Возле лицея жди, делай вид, что ищешь свою деви-

чонку... Если до темпотов меня не будет, пробирайся на станцию Барон и постараюсь отсюда выбраться, хотя бы в Винья-дель-Мар. Понял?

— А ты? — спросил Родольфо.

— Делай что сказано.

И они разошлись.

...Возле женского лицея Родольфо провел самый отвратительный час в своей жизни. Многие лицеистки весьма охотно стреляли в него глазками, но его лихорадочный взгляд и встревоженный вид отпугивали девушек. Дело копчилось тем, что к нему привязались двое парней в форме матусовцев, которые, видимо, ждали своих подруг, и начали выяснять, кто он такой и что здесь делает. В другое время Родольфо охотно завязал бы разговор с этими ублюдками и поучил бы их, как обходиться без дубинок и цепей, пользуясь голыми руками, но сегодня и здесь он не имел права на столь певинное развлечение. Накопец матусовцы падавали ему тычков под ребра и, разочарованные его пассивностью, отпустили с миром. До наступления темноты Родольфо пришлось прятаться за углом, где, паткинувшись на него, лицеистки с визгом бросались наутек. Таким образом, все обошлось благополучно, если не считать того, что счет личных претензий Родольфо к «аптиратри» существенно возрос.

Между тем в городе поднялась суета: по улицам один за другим, бешено визжа тормозами, проносились джипы военно-морской жандармерии, где-то вдалеке слышались выстрелы. Будь на месте Родольфо человек робкого десятка, он вообразил бы, что весь переполох затеяли ради поимки его одного, и внал бы в панику. Но Родольфо решил, что будет дожидаться здесь Виктора до последней минуты, пока его свободе не будет угрожать непосредственная опасность. Где-то в районе Широкого пляжа выли сирены. Улица Баррос Луко опустела, только редкие прохожие, встревоженно переговариваясь,

спешили по домам. Из их отрывочных реплик Родольфо понял, что по радио объявлено о чем-то чрезвычайном. Надо было уходить отсюда, но спросить, как добраться до станции Барон, было не у кого. Когда уже совсем стемнело, Родольфо услышал знакомую с пришаркиванием походку и, обернувшись, с радостью бросился к Виктору.

— Где ты пропадал? — чуть не крикнул он, однако Виктор, приволакивая ногу, прошел мимо него, глухо бросив на ходу:

— Иди в десяти шагах, не теряй меня из виду.

Они долго поднимались в гору, поги у Родольфо пачали подкашиваться, несколько раз Виктор совершил такие крутые повороты, что пропадал в темноте, и Родольфо догонял его по звуку шагов. Обернувшись в сторону рейда, Родольфо увидел, что на кораблях месятся огни.

Внезапно Виктор остановился. Они стояли в глухом переулке, управлявшемся, насколько можно судить в темноте, в высокую, почти отвесную скалу.

— Идот, — прошипел Виктор, — ты почему там торчал? Вышел бы еще на площадь Народа! Я тебе что говорил? Куда ты должен был пробираться?

— К станции Барон, — пробормотал Родольфо. — Но, послушай, Бала...

— Всё пропало, — перебил его Виктор. — Моряки захватили радиостанцию, их блокировали, все арестованы, тридцать человек, в городе облавы, а ты торчишь на углу, как фонарный столб...

— А связной?

— Какой к черту связной! Не было никакого связного. На вокзалах — жандармы, ищут пас. Расклеены объявления: «Разыскиваются марксистские агенты, функционеры МИР»... это мы с тобой, и указаны наши точные приметы.

— Но откуда... Нас же никто не видел!

— То-то и опо,— проговорил Виктор.— Ладко, придется залечь. Есть у меня два адреса... Но чутче вояка подсказывает, что туда не надо идти.

24

В среду двадцать девятого августа Альенде приехал в Ла Монеду около десяти: на одиннадцать была назначена аудиенция адмиралам, которые настойчиво добивались личной встречи с президентом со вчерашнего дня.

Утро выдалось пасмурное, туманное и теплое. Темно-красные шторы президентского кабинета были раздвинуты, за окном искрилось темно-серое, проинтеприятое сырьем небо ранней чилийской весны. В приоткрытую балконную дверь залетал ветерок с горьковатым яблоневым ароматом. А может быть, это только чудилось: по дороге во дворец Альенде заметил, что кое-где на яблонях набухают белые и розовые бутоны.

Площадь под окном была сухая и светлая, много снотливее, чем небо, и оттого казалась особенно просторной и пустынной. Альенде сел за стол, перелистал утренние газеты. Под грозной шапкой па страницах «Сегунды», «Терсеры», «Меркурио», «Препсы» и, разумеется, «Трибуны» — заявление Национальной партии:

«Сеньор Альенде! Вы остались в одиночестве. Вас поддерживают только две марксистские партии, составляющие революционное меньшинство в стране.

Сеньор Альенде! Вы утверждаете, что кабинет «национальной безопасности» с участием Пратса, Монтеро и Сопульведы — ваша последняя возможность. Она у нас была.

Так уходите же в отставку — и мы вам от всей души посочувствуем. Так должен поступать президент любой демократической страны, если его не хочет НАРОД».

Вздохнув, Альенде отложил газеты. Побочным эффектом плюрализма: каждый, кто только не ленив, может печатать

в своих газетах слово «народ» буквами какой угодно величины. Всякому кажется, что именно он и представляет народ — с самой что ни на есть большой буквы. Ночью летучие мыши, притаившиеся в подворотнях близ дома Артуро Арайи, выпившие до последней капли светлую кровь Человека, были убеждены, что они-то и есть народ. Избалованные дамочки, воюяими своими терзанными сердцами Карлоса Пратса, точно так же были убеждены, что они представляют народ. Наглые камбонерос, жуликоватые марики, юркие офицерики с рыскающими глазами — все они считают себя народом.

Альенде никогда не считал себя «Президентом всех чилийцев» и честно предупреждал об этом в первый же год своего президентства. Боже мой, какая же тогда поднялась шумиха! «Как? Президент, избранный в результате коллективного волеизъявления нации, не считает себя таковым? Чьи же интересы он, позвольте спросить, представляет?» Некоторые советники тогда полагали, что это был выдающийся пассаж, объясняемый, может быть, тем, что он явился миру на широкой пресс-конференции без заранее обговоренного списка вопросов. Как бы то ни было, Альенде не лицемерил: он был убежден, как убежден и сейчас, что является президентом лишь тех, кто своим трудом зарабатывает себе на хлеб, кто умеет подняться выше своих сословных интересов, кто единственно и достоин носить великое имя «народ».

Не иллюзия ли это? Существует ли такой народ? Но является ли этот термин всего лишь инструментом для политических спекуляций? Нет. Альенде знал его, видел его — хотя бы во время недавней встречи с «Добровольцами родины» в подвалах ДИПАК.

Эта встреча оставила в его душе двойственное впечатление. Когда умиление прошло, Альенде прислушался к себе — и с сожалением убедился, что не все было так просто, как ему там, в подвалах, казалось. Не было единения

Между ним и этими славными ребятами, не было — хотя ощущение тесноты, тепла и надежности этого упругого человеческого кольца не из тех, что проходит бесследно. Между ними стеной стояла *жалость*. Да, они жалели его, президента, эти чумазые мальчишки и девчонки, жалели той острой и безысходной жалостью, какой жалеют взрослые дети своих немощных «стариков». Они клятвенно заверили его со всей искренностью молодости, что сумеют его защитить, — его, президента, который сам должен был гарантировать им защиту и безопасность. Варяг энтузиазма при его появлении вызван был тем, что настался наконец выход их аккумулированной коллективной энергии. Испытком молодости они угадали, что президент остро нуждается в их защите, в то время как сам не способен им помочь. Кто-то мудро окликнул их из темноты, вернул к работе, оттого что президенту нечего было им сказать... да они его пожалели.

И другое: он и сам торопился уйти, чувствуя свою вину перед ними. Вся его деятельность последних месяцев, может быть и последних полутора лет, показывала этим ребятам, что он искренне и честно хочет изменить общественный уклад, тот уклад, который держит их на положении маленьких оборвавших за дверьми не то что благосостояния и не то что простого достатка, но элементарного человеческого образа жизни... хочет — и не может. Глубокий социальный инстинкт подсказывал им, что их президент связан обязательствами перед кладом сытых и обеспеченных, теми обязательствами, которых сами они на себя не брали. Но как, не взяв на себя всеобъемлющих обязательств и не выполнив их со всей мыслимой полнотой, президент может принудить «золоченого негодия» отказать от украденных гаулюсов? «Сила или убеждение» — эта символическая альтернатива не исчерпывает всех возможностей, есть еще мирное понуждение... и вот как раз понуждаемым оказался он сам. Оправившись от потрясения

ний трехлетней давности, «волочепый негодяй» беззастенчиво пользуется взятыми президентом обязательствами... сам же не берет на себя никаких. Выхода из этого положения Альенде не видел.

Обе дочери, Чабела и Тати, наперебой упрекали его в том, что он слишком медлительно «двигает вперед», слишком скрупулезно соблюдает все возможные законы и установления.

— Над тобою диктатура, неужели ты не понимаешь? — горячились они. — Диктатура буржуазного права!

— Женская диктатура, — отшучивался Альенде, — это я ощущаю ежечасно, в своем собственном доме.

— Ну, вот, опять! Опять ты уходишь от серьезного разговора! Ты считаешь нас недостойными ответа именно потому, что мы — женщины!

— Хорошо, — соглашался он, — я не буду уходить от ответа. Но и вы извольте отвечать. Легко сказать: «Ты все делаешь не так». А как же надо, девочки мои дорогие? Как же надо?

В самом деле: как?

Может быть, обратиться прямо к народу? Конституционная реформа семидесятого года дала президенту республики право проведения плебисцита. Два месяца назад Альенде уже выдвинул предложение воспользоваться этим правом, но не встретил поддержки партий Народного единства. Руководство социалистической партии решительно выступило тогда (и выступает сейчас) против этой идеи. Альтамирано утверждает, что в нынешней обстановке объявить о плебисците означает пойти на риск прихода к власти иных политических сил. Да, такой риск существует. Но и бездействие, выжидание — пагубны: дело идет к военному перевороту. Где он начнется — в эскадре или на военно-воздушных базах, — сейчас предугадать невозможно. На что мы можем рассчитывать в случае мятежа? На что рассчитывает Альтамирано? Несколько тысяч бойцов

партийной милиции, ограниченное количество оружия... Тысяч десять рабочих в комитетах защиты предприятий... Разрозненные отряды мирисотов... В любом случае эти силы годятся лишь для обороны, бросать их в мясорубку гражданской войны, под бомбы и на пытки — бессмыслицей...

Столка газет на столе шевельнулась от ветра, как бы напоминая о себе. Альенде взял одну, раскрыл наугад.

«В конституции Чили, насколько нам известно, имеется статья сорок три, параграф четвертый, позволяющий нам заявить о физической и моральной неспособности президента руководить страной. Для этого в конгрессе нужно не две трети голосов, которыми мы не располагаем, а простое большинство. Оно у нас есть».

Неспособность физическая и моральная. Прекрасно. «Что можно предпринять, если президентом республики овладевает безумие?» — это говорили еще в прошлом веке о президенте Бальмаседе, пытавшемся вернуть строне ее минеральные ресурсы. Действительно, тем, кто посвятил жизнь обслуживанию монополий, самая мысль о национализации должна казаться бредовой...

Вот — свобода печати. Без нее нет демократии, нет демократических выборов, значит — нет конституционного перехода к социалистическим преобразованиям. И что же? Тираж газет у них около миллиона в день, у нас же только триста тысяч. Голос наших радиостанций, их всего только шесть, тонет в шуме их тридцати восьми. И свобода печати для нас становится кляпом. Для нас, не для них, оно то по-прежнему свободны. Включаясь радио — через каждые пять минут повторяется призыв: «Сеньор Альенде! Народ требует вашей отставки». Не народ, разумеется, требуют, требуют деньги, которыми онланено время в эфире...

В десять тридцать, как обычно, явился генерал Пинчот. Его ежедневные утренние визиты Альенде собирался

сделать традицией. Как правило, командующий доложивший президенту о предстоящих назначениях, учениях, перемещениях войск, о мерах по обеспечению безопасности, о положении дел в провинциальных гарнизонах (предмет, о котором Пиночет, в отличие от Пратеа, был веплохонаком).

Вот и сегодня, мешковатый, сутулый, с обрюагшим, всегда как бы заспанным лицом, Пиночет, держа руки по швам, дождался приглашающего жеста президента, уселился, поддернул на коленях брюки, норзял, словно располняясь на венчность. Бросил быстрый взгляд на Альенде и тут же отвернулся в сторону: почувствовал, наверно, что президент в плохом расположении духа.

— Послушайте, генерал, — глядя на него в упор, сказал Альенде, — объясните мне, ради бога, почему вы до сих пор не потребовали отставки Бонильи, Арельяно, Торреса и Карраско?

Пиночет молчал, морща лоб и как бы винкая в суть вопроса президента.

— Их вина вам отлично известна, — все больше сердясь, продолжал Альенде. — Супруги генералов Бонильи и Арельяно участвовали в начальную известной демонстрации у дома вашего предшественника. Двое остальных виновны в жестоком обращении с населением при проведении оперативок. Так в чем же дело?

— Президент, все четыре заявления об отставке лежат у меня на письменном столе, — выдержав почтительную паузу, сказал Пиночет. — Подписать эти заявления несложно. Но, президент, если мы с вами сделаем это... — Пиночет доверительно придвинулся ближе и сделал попытку посмотреть Альенде в глаза, но это ему почти никогда не удавалось, и он тут же, как бы смущенно, отвел взгляд, — если мы с вами сделаем это, моя репутация в рядах вооруженных сил будет подорвана. Всякий военец будет подумать, что я избрал инструментом расправ. Я прошу войти

и мое положение: быть преемником такого даровитого и обаятельного командира, каким являлся дон Карлос, и без того пелеко. Уместно ли в моем незавидном положении расталкивать генеральский корпус локтями? Во всяком случае, начинать с этого — не решaoсь.

— Без надлежащих письменных инструкций? — Усмехнулся Альенде.

Пиночет молчал.

— Но приняли же вы отставку Пикеринга и Мартио Сепульведы? — настойчиво спросил президент. — И если быть последовательным...

— Они подали дурной пример, — поспешил сказать Пиночет, — когда подложили свои заявления на мой стол одновременно с заявлением дона Карлоса. Могла начаться полоса массовых отставок, которая либо расколола бы армию, либо ее обезглавила. Кроме того, на месте господ Пикеринга и Сепульведы находятся теперь вполне достойные и лояльные офицеры, я вам их представлял, и тогда это назначение не вызывало никаких возражений...

— Да, да... — задумчиво проговорил Альенде. — Все так, все так...

Терпение, сказал он себе. То, что новый командующий упирял, — это, может быть, к лучшему. Чрезмерная говорчивость в его положении была бы неприятна. И в самом деле, после Карлоса ему пепросто: падо вливаться в роль, не теряя в то же время достоинства.

— Ну, хорошо, генерал. Что скажете об обстановке в столице?

— Президент, меня гораздо больше беспокоят провинции. Нельзя забывать о глухих гарнизонах. Я сам долго служил в провинции и полагаю, что опасность часто исходит из забытых уголков. Сейчас по вечерам я лично знакомлюсь с положением на местах. Начал с окрестностей: Сан-Фелипе, затем на очереди Сан-Бернардо, Кильота...



— Вам много приходится ездить. Отчего же по вечерам?

— Днем я могу попадобиться президенту.

Пиночет произнес эту фразу с таким достоинством, что Альенде был тронут.

— Генерал, я верю, что ваши заботы по охране конституции заслуживают высокой оценки, — сказал он. Ему хотелось произнести более проникновенную фразу, но что-то мешало: частно говоря, вид покорно и озабочено склоненной головы Пиночета его раздражал. Альенде хотел бы чувствовать более живую человеческую реакцию. — Мне кажется, полезно было бы донести до офицеров и вообще до всего личного состава провинциальных гарнизонов ту мысль, что стремление правительства к более справедливому распределению благ, ценой некоторого ограничения привилегий состоятельныйного меньшинства...

Пиночет слушал, согласно кивал. Когда Альенде кончил, он снова выдержал паузу и сказал:

— Президент, я полагаю, что священный долг любого чилийского военнослужащего защищать конституционное правительство независимо от того, разделяет он его концепцию или нет. Все прочие настроения в армии должны, по моему мнению, беспощадно искореняться.

— Но если поддержка правительства по обязанности сочетается с поддержкой по убеждению, — прищурясь, проговорил Альенде, — усилит это конституционный дух или ослабит?

— По-видимому, усилит, — ответил Пиночет.

— Так этого и следует добиваться! — энергично заключил Альенде. — Что ж, вы свободны, генерал. Продолжайте свои инспекционные поездки. Поддерживайте контакт с министром обороны Летельером.

— Слушаюсь, президент.

И генерал удалился.

Оставшись один, Альенде встал, подошел к раскрытой

балконной двери. Да, трудный человек, трудный, сказал он себе. Но что же делать, падо уживаться. Терпение — и постепенность, постепенность — и терпение.

Он посмотрел на часы: до аудиенции адмиралам оставалось чуть больше десяти минут.

Нетрудно было догадаться, что разговор предстоял острый: газеты с ликованием смаковали подробности левицкой авантюры в Вальпараисо, флотское офицерство кипело негодованием, в значительной мере паническим, и в этой обстановке адмиралы, несомненно, или в Ла Монеду с ультиматумом. Бессмыслица, заранее обреченная на провал акция по захвату радиостанции была спровоцирована командованием Первой зоны, и вся беда в том, что некоторые деятели партий Народного единства поддались на эту провокацию. В частности к заговору обвинились Карлос Альтамирано, генеральный секретарь левохристианской партии МАПУ Гарретон, руководитель миристов Мигель Эприкес. Альтамирано решительно отвергал обвинения флотского командования и заявил, что подаст в суд на директора «Меркурио» и лидера Национальной партии за распространение клеветы. Однако позиция Альтамирано на судебном процессе была бы слабой: некоторые социалисты действительно вступали в контакт с людьми Карденаса. Военная прокуратура выдвинула встречный иск, требуя лишить Альтамирано и Гарретона парламентской неприкосновенности и передать их в руки правосудия. На этой почве адмирал Мерино хотел помериться силами с президентом: он рвался в бой, предполагая использовать все очевидные выгоды ситуации, довести дело до открытого столкновения флота и правительства и в этой обстановке консолидировать свои позиции. Альенде понимал, что ни уклониться от аудиенции, ни согласиться на предъявление ультиматума он не может.

О Вальпараисо, Вальпараисо, воистину воздух твой кружит головы любителям легкой удачи. Командование

флота не взяло на себя труда сколько-нибудь убедительно обставить выход Кардешаса на партии Народного единства: настолько велика была уверенность, что ловушка останется незамеченной. Степенный Лучо, к чести его сказать, проявил проницательность, затея Кардешаса показалась ему подозрительной. Теперь-то, задним числом, и легковерные товарищи хватаются за головы: как можно было не предугадать, чем обернется бессмыслицкий захват радиостанции? Как можно было с этим планом связаться?

...Адмиралы вошли в кабинет, суровые, отчужденные, исполненные сознания важности своей миссии. Мерино, Троопкосо, Уэрта. Злоумышленники в адмиральских шевронах. Враги.

— Я слушаю вас, господа, — сказал Алленде, когда гости уселись, и новый военно-морской адъютант (как и хватает сейчас доброго друга Арайи) бесшумно вышел и закрыл за собой дверь кабинета.

— Президент, — начал Уэрта, человек с лицом узника (впалые щеки, неступленные глаза, тонкий запавший рот). Видимо, Мерино предпочитал не выпячивать свое главенство, которое он захватил, пользуясь междуналичием во флоте. — Президент, флот возмущен происшедшими в прошлое воскресенье событиями и требует приятия самых жестких и энергических мер, чтобы ничто подобное не могло повториться. Наглые попытки политического проникновения, призывы к неповиновению нижних чинов должны быть прекращены раз и навсегда, а виновные строго наказаны. Особое возмущение флота вызывает то прискорбное и, прямо скажем, пастораживающее обстоятельство, что в брожении в рядах военно-морских сил, как выясшилось, заинтересованы руководители партий правительственно-блока. Мы располагаем неопровергнутыми доказательствами, что бунтовщики, захватившие радиостанцию в Вальиаранко и подстрекавшие моряков к неповиновению, выполняли указания социалистической партии

и МАПУ, и к этому преступному заговору против отечества непосредственно причастны господа Альтамирано и Гарретон. Ставим вас в известность, президент, что командование флота намерено требовать лишения названных господ депутатской неприкосновенности и предания суду как изменников. Полагаем, что долг президента...

Дать Уэрте выговориться до конца было нельзя: изложив свои требования, адмиралы могут просто откланяться, оставляя тем самым за собой полную свободу. Это было бы для них слишком легкой победой.

— О споем долгे президента страны, — жестом остановив адмирала, заговорил Альянде, — я имею собственное суждение, господа, точно так же, как и вы, надо думать, понимаете, в чем заключается ваш воинский долг. Я тоже считаю необходимым поставить вас в известность, что в моем распоряжении имеются данные, свидетельствующие о том, что именно командование военно-морского флота способствует брожению в войсках и призывает к ненадежности правительству. В частности, плакаты фашистского и антиправительственного содержания, расклеенные на стенах Вальпараисо, отпечатаны в типографии флота. Считаете ли вы, господа, что подобное могло произойти без ведома командования? Если так, ответственных за этот преступный недосмотр надо смещать с командных постов, какими бы высокими они ни были.

Увы, слова президента обозначали угрозу, которую невозможно исполнить: как главнокомандующий всеми вооруженными силами страны он имел право уволить в отставку любого из адмиралов, но в нынешней обстановке этот шаг стал бы поводом для мятежа.

— Мы не знаем, о каких плакатах идет речь, — дрожа от ярости, вмешался Меринио. У него не хватило дальновидности выдержать свою роль молчаливо присутствующего лица. — Мы расцениваем это как попытку увести беседу в сторону... как клевету на чилийских моряков!

— Адмирал,— возразил Альенде,— как командующий зоной вы обязаны знать об этих плакатах. Упущение это или злой умысел — в любом случае виновные должны быть наказаны. И я настоятельно требую выяснить, как это могло произойти. Это и есть политическое проникновение и расшатывание воинской дисциплины. Что же касается так называемых неопровергнутых данных о причастности деятелей Народного единства к событиям прошлого воскресенья, то имеются основания полагать, что эти, с позволения сказать, показания получены посредством жесточайших пыток арестованных моряков.

— Еще одно оскорбление флота! — вскричал Мерино. Губы его побелели.

— Разумеется, применение пыток,— продолжал Альенде,— несовместимо с честью и достоинством чилийского военного моряка. Тем больше оснований выяснить все обстоятельства дела и очистить флот от лиц, причастных к этому изору.

— Президент,— заговорил вновь вице-адмирал Уэрта (в то время как Мерино упорно не называл Альенде президентом),— мы уходим от темы. Все эти претензии выдвигаются, чтобы выгородить подлых виновников. Президент страны не имеет права связывать свой престиж...

Расчет Уэрты был совершенно ясен: поставить президента на такую грязь, за которой продолжение беседы уже невозможно. Ну что ж, Уэрта своего добился. Но — чуть позднее, чем рассчитывали сеньоры адмиралы. Ультиматума не получилось: изложены взаимные претензии, вот как это выглядит теперь.

— Я, кажется, уже имел сегодня случай заметить,— сказал Альенде,— что оставляю за собою право самостоятельно судить о долге и правах президента, равно как и о престиже своего поста. Замечу также, что тон, взятый вами, вице-адмирал, недопустим. Вы разговариваете с пре-

видцем республики, а если этого недостаточно, чтобы им держали себя в руках, то конституция облекает меня полномочиями главнокомандующего.

— По-видимому, — прошептес Мерино и поднялся, — продолжать беседу не имеет смысла.

— Я совершенно с вами согласен, — сказал Альенде. — Будем считать, что господа адмиралы к пей не готовы.

Когда Мерино, Уэрта и Тронкосо ушли, Альенде накривил очки, посидел, потягивая рукою крышку стола.

Маленькая победа... да, небольшая кабинетная победа. Еще одна такая победа — и мы останемся без вооруженных сил. Во всяком случае, нам сегодня открылась та близкая гавань, где, как пишет Неруда, «в адмиральском мундире стоит в ожидании смерть».

Он огляделяся. Сквозь темно-красные стены кабинета смотрели на него, приступая светло и смутно, юные лица из подвалов ДИНАК. Он чувствовал на себе их вопросительные и тревожные взгляды.

25

Дон Энрике сидел у себя в «кабинете» и, потягивая красное вино, задумчиво смотрел телевизор. По трибунальному каналу в программе новостей «Телетресе» выступал священник. Мелодраматично складывая перед собою руки (видно было каждую морщину, каждый вздувшийся на тыльной стороне ладоней крохонесный сосуд), священник монотонно и в то же время панористо говорил зрителям, что страдания чилийского народа ужасны, и есть только один человек, во власти которого эти страдания прекратить.

— Этот человек — один из достойнейших и благороднейших сынов страны, он облечен верховной властью, и слову его с уважением прислушиваются миллионы сограждан, верующих и неверующих, благородство и чистота его

помыслов не вызывает сомнений ни у кого из нас. Братья, этот человек — президент республики доктор Альенде. Обнякая его своим доверием три года назад, народ Чили не мог сделать лучшего выбора. Волею судьбы, однако, доктор Альенде ныне сам поставлен перед трагическим выбором: действуя из лучших побуждений, он тем не менее стал в настоящее время символом раздора... раздора, ввергшего страну в пучину горести и страданий. Единственный способ прекратить эти мучения и предотвратить еще большие, ужасающие несчастья — добровольный уход этого благородного человека со своего поста. Пусть бог дарует ему силы принять это мужественное решение. Помолимся, братья, за то, чтобы доктор Альенде и в эту трудную минуту — трудную для него и для всех его соотечественников — поднялся выше мелких суетных соображений, недостойных оказавшего ему всенародного доверия. Президент, мы, верующие Чили, заклинаем вас от имени всех сирых и обездоленных, от имени страдающих жен и детей: не поддавайтесь ослеплению момента, примите это достойное решение — во имя матери-родины, во имя господа. И да хранит бог вас и всех, кто вам дорог.

Доп Энрике вздохнул и переключил телевизор на седьмой канал. Какое счастье, что бог не сделал его католиком! У этих пачетчиков абсолютно нет логики: вчера они призывали Альенде немедленно возобновить переговоры с христианскими демократами, сегодня умоляют его уйти.

А по седьмому каналу передавали запись репортажа с площади Конституции, где два часа назад закончилась демонстрация в честь трехлетия победы Народного единства.

— Народ! Един! — скандировали манифестанты, идя с поднятыми кулаками вдоль трибуны, построенной на улице Ля Монеда. — Народ! Един! И он непобедим!

— Посмотрите, сколько их! — взмолнивши и оттого сбивчиво говорил невидимый комментатор. — Сколько нас, я хочу сказать! Да, это мы с вами маршируем сейчас по площади Конституции, мы, чилийский народ!

Дон Энрике покосился на перегородку, отделявшую его «кабинет» от ресторанныго зала. Последнее время в смежных залах «Барнитин» редко раздавались возбужденные хмельные голоса: ресторан дона Энрике превратился в место деловых свиданий и разговоров вполголоса. И это было связано неснее не с перебоями в поступлении европейских продуктов: транспортные трудности не сказывались на снабжении «Барнитин», тем более что «европейские» пинчили и ростбифы разгуливали в каком-нибудь десятке километров от города. Просто клиенты дона Энрико стали заказывать меньше спиртного и просиживали вечера в ресторане с таким видом, как будто их в любую минуту могли поднять с места и под конвоем отправить в казармы стоячного гарнизона.

Сам дон Энрике пребывал сегодня в некотором смятении чувств. Прежде всего, он не ожидал, что праздничное шествие в городе состоится. И уж во всяком случае он не предполагал, что на площадь Конституции явятся такие толпы людей. Диктор только что сообщил, что, по подсчетам командования корпуса карабинеров, на демонстрацию вышло не меньше миллиона с четвертью человек, но это венчалось по коммунистическому каналу, тринадцатый же канал заверял, что демонстрантов было не больше пятисот тысяч, и пестиву надо было искать где-нибудь на подходе к миллиону.

Если доктор из Кальдеры способен поднять по призыву такую массу людей да при этом обеспечить порядок, и это после хаоса и анархии последних недель, то, может быть, дон Энрике напрасно сбрасывает Народное единство со счета? Как только повышение цен на медь обернется реальной валютой, здесь, в Баррио Альто, притихнут, и соп-

ники из «Роландо Матуса», которых он столько времени кормит за свой счет, окажутся не самой надежной защитой — во всяком случае, менее надежной, чем социалистическая милиция или отряды из «индустриальных кордонов». А дальше — дальше может наступить такое время, когда следственная служба вилотную займется клиентурой «Кариптии», и многолетнему чилийскому благоденствию дона Энрике наступит конец: его просто вышлют из страны на законном основании, и ни одна болонка на одиннадцатой милю не завоюет ему след. Дон Энрике слишком хорошо изучил новадки уинтаний бодряков с «атташе-кейзами», чтобы надеяться на их покровительство в случае такого поворота событий: они сами живут на долларовые подачки покровителей. Вот о чем размышлял сегодня дон Энрике, и вот почему он так внимательно смотрел репортаж по седьмому каналу, не забывая потягивать при этом хорошее красное вино.

Он вглядывался в лица, крупным планом появлявшиеся на экране, пытаясь угадать по их глазам и улыбкам, что привело их сегодня на площадь Конституции. Так его давний кумир Черчиль, носивший в годы войны союзные страны, шел вдоль строя почетного караула, заглядывая каждому солдату в глаза. Не боятся ли эти люди, не отворачиваются ли от телекамер? Не могут же они не знать, что кто-то в эту минуту их мстительно пересчитывает. Нет, они не боялись, их было слишком много, и они радовались тому, что их так много.

— Народ! Един! — гремело над площадью, в дон Энрике убавил звук: ни к чему клиентам «Кариптии» было знать, каким анализом он сейчас занимается.

— Поломают зубы аристократы, олигархи, монополисты, латифундисты, поджигатели гражданской войны! — возбужденно говорил комментатор. — Процесс перемен — необратим! Медь навсегда остается чилийской, земля всегда будет принадлежать крестьянам, которые ее обрели,

трудящиеся будут всегда управлять предприятиями общест-
венного сектора, банковский кредит будет всегда стоять
не на службе горстки богачей, а на службе народного раз-
вития! Момьячес ошибаются, клика Эдвардсов лжет!
Прошлое никогда не вернется! Ты слышал, товарищ?
Народ говорит с этой площади: НИКОГДА!

А что, собственно, в этой программе угрожало благо-
действию дона Энрике? Он не был ни олигархом, ни лати-
фундистом, местные аристократы им брезговали (во
всяком случае, за пределами «Каринтии»), и перемены
последних трех лет совершились его не коснулись. Дон Эн-
рике не считал себя эксплуататором должных официанток
и поваров — хотя бы потому, что те и сами беззастенчиво
его обкрадывали. Банды вооруженных до зубов миристов,
осаждавших «Каринтию» со всех сторон? Дон Энрике их
до сих пор не видел и начинал подумывать, что они суще-
ствуют только в воображении «Меркурио». Так стояло ли
ему сориться с властями?

На экране телевизора появилась правительственные трибуна. Альенде, улыбающийся, довольный, в темно-со-
ром костюме и нестром кистчатом галстуке, махал демон-
странтам рукой. Повернулся, что-то сказал стоящему ри-
дом Летельеру, засмеялся, морща крупный нос. И снова
площадь с марширующими колоннами, вся освещенная свер-
ху, с высоких зданий, дождем листовок и гирлянд. Группа
парядных детишек, несущих широкий транспарант: «Завт-
ра я буду пушеч Родине. Сегодня меня защищает Народ-
ное правительство!» Женщины, развернувшие огромный
фотоплакат: двое малышей в трусиках и надпись наиско-
сок: «Камбонеро! Ты хочешь, чтобы не было тепла в на-
шем доме».

— Жаль, если вы не видите этого в цвете! — говорил,
торопясь, диктор. — Красно-зеленые знамена, красные ю-
бочки молодежных отрядов! В Сантьяго пришла настоя-
щая весна!

— Ну, до весны еще далеко, — пробормотал дон Энрике, выключил телевизор и, тяжело поднявшись, подошел к окну.

По всему вечернему Баррио Альто, пасколько можно было видеть, горели мрачные костры из автомобильных покрышек. Однаждцатая миля тоже праздновала годовщину победы Альенде. Праздновала, задыхаясь в ящиром дыму своих костров.

Зазвонил телефон. Дон Энрике не глядя протянул руку, взял трубку.

— Вас слушают, — сделав дружелюбное лицо, сказал он.

— Дон Энрике? — заговорил после паузы бодрый теплорок. — Добрый вечер. Как у вас сегодня? Наверно, я блоку негде унасть?

— Для друзей у нас в «Карнитти» столик всегда найдется, — с достоинством отвечал хозяин.

— Зпаете, я звоню из Муниципального театра. Жаннет сегодня просто великолепна. Публика не отпускает ее со сцены.

Речь шла о концерте израильского балета «Бат Дор» с примой Жаннет Ордман, по которой весь Баррио Альто сходил в тени с ума.

— Но после второго отделения мы к вам, — продолжал частить голос. — Зпаете, столик под средней аркой, возле деревянного светильника.

— Одну минуту, сеньор, — сказал дон Энрике. — Надо взглянуть.

Он аккуратно положил трубку на стол и подошел к перегородке. Клиент говорил с иллебейскими интонациями, но голос его был дону Энрике знаком.

Дон Энрике приоткрыл створку и посмотрел в зал. Столик, на который претендовал клиент, был занят: там сидела рыжеволосая красавица, дочь депутата Ларии Эррасуриса, в компании озабоченных мордастых мужчины, самым

отбоченным и самым мордастым среди которых был, разумеется, Гато. Компания была довольно большая, семь человек, из них две женщины, не считая упомянутой сеньориты, и для шести официантам пришлось сдвинуть два столика вместе.

— Очень сожалею, сеньор,— сказал дон Энрике, вернувшись к телефону,— по ваш столик занят. Могу рекомендовать не менее удобное место. На сколько персон прикажете сервировать?

— Да нет,— с досадой перебил его клиент.— Другое место меня не устраивает. А кто там расположился, за моим столиком?

— Видите ли, сеньор,— дон Энрике замялся,— подобных справок в «Каринтии» не дают. Поверьте, это делается в интересах самих же гостей...

— Я понимаю,— снова перебил его клиент, и дон Энрике поморщился: оказывается, этот назойливый незнакомец не только был не в ладах с кастельяно, но имел весьма смущенное представление о хороших манерах.— Я понимаю. Но, может быть, там сидят мои друзья? Тогда мы к ним присоединимся — и дело с концом. Иначе нам придется подыскать себе ресторан поуютнее.

Дон Энрике помедлил. Сказать по правде, друзья сеньориты Ларии тоже нередко, дурачясь, переходили с изысканного местного языка на говорок равинны, но никогда не путали того и другого, уж в этом-то дон Энрике научился разбираться. Так, значит, к нему в «Каринтию» рвется чужак? Притом пастойчиво — неясно, с какой целью.

А собственно говоря, почему хозяин «Каринтии» должен об этом заботиться? Здесь у него не генитаб, в свои секреты клиенты его не посвящают, так пусть и осторожничают сами. Разумеется, в другое время, хотя бы годом раньше, дон Энрике и рассуждал бы по-иному, но сейчас, когда пастази смутные времена... кто знает, может быть, это первая ласточка новой, демократической клиентуры?

— Я не совсем уверен,— осторожно начал дон Эприке,— что вы, сеньор, знакомы с сеньоритой Ларин Ластарриа...

— Конечно! — оживленно ответил голос.— Мы с лей большине друзья... А кто еще? Может быть, я им помешаю?

Сомнений больше не было: острое нетерпение в голосе полностью выдавало сыскного агента. Ну, что ж... пускай никто не посмеет сказать, что дон Эприке прикрывал «поджигателей гражданской войны». Честно говоря, не только это серьезное соображение руководило доном Эприке в эту минуту: дон Эприке просто иснугался напора, с которым сюда рвался чужак.

— Я не сумел бы назвать имена этих септоров,— с достоинством (и деряка трубку обеими трясущимися руками) проговорил дон Эприке.— Многие из них по балуют нас своими частыми посещениями. Но одного из них, скорее всего, вы, сеньор, знаете.

И дон Эприке довольно точно описал внешность человека, известного в никловском подполье под именем Гато.

— Нет, этот не наш,— поспешил ответил голос.— Благодарю вас, дон Эприке. Пообедаем где-нибудь в другом месте.

— Может быть, все же приготовить столик? — для окончательной уверенности спросил хозяин.

— Нет, нет, ни в коем случае,— ответил голос.— Не стоит беспокоиться. До свидания.

Положив трубку, дон Эприке подошел к своему потайному окошечку и стал прикидывать предстоящие убытки. Потасовка, стрельба... а с кого требовать возмещения? Помимо страха, дон Эприке терзался теперь противоречивыми чувствами: с одной стороны, он уже жалел о том, что сделал, а с другой — беспокоился, как бы компания сеньориты Ларин действительно не разошлась. Тогда люди Жуапьяна с него спросят, и спросят сурово.

Но друзья сеньориты сидели спокойно, визко пагнув-

шился пад столом. Гато что-то тихо, по энергично говорил, остальные почтительно слушали, время от времени кивали, а сеньорита не сводила с него не влюбленного, но уж, во всяком случае, заинтересованного взгляда.

Минут через двадцать в малый зал вошел мальчишка, который обычно присматривал за «репо» сеньориты Яррип. Обходя столики, он приблизился к Гато и, переминаясь с ноги на ногу, стал смотреть ему в рот. Гато пахнулся, потом умолк и, облизав губы, резко сказал мальчишке:

— А пу, пошел отсюда!

Тот испуганно дернулся, но не ушел.

— Я кому сказал? — грозно проговорил Гато. — Офицант!

Из-за арки выскочил один из подчиненных дона Энрике.

— Слушаю! — склонив голову, сказал он.

— В чем дело? — спросил Гато, показав глазами на ребячка. — Этак скоро и собак сюда начнете пускать?

— Он у нас стоянку обслуживает, — извиняющимся тоном проговорил офицант. — Может быть, с машиной сеньора какой-нибудь непорядок?

Он наклонился к мальчишке, тот, запинаясь, одной рукой теребя себя за мочку уха, а другой показывая на Гато, начал что-то объяснять.

— Он говорит, — перевел офицант, — что сеньора кто-то просит на выход, по очень важному делу.

— Кто? — спросил Гато.

— Другой сеньор... — буркнул мальчишке.

Гато удивленно привстал, заглянул в большой зал, но ничего не увидел.

— Ребята, надо сходить посмотреть, — сказал он своим мордастым.

Те сразу же встали и, расстегнув пиджаки (видимо, чтобы удобнее было выхватить из-за пазухи пистолеты),

прошли через большой зал и скрылись на улице. Мальчишка пошелся за ними, еще рассчитывая на какую-то подачку.

Дон Энрике съежился и прижал к потайному окошку, ожидая криков, стрельбы. Но ничего подобного не случилось. В большом зале мирно гудела публика, в малом, кроме Гато и его женщины, за угловым столиком пожилой врач-гинеколог, добрый знакомый донна Энрике, кайфовал с молодой дамой — возможно своей бывшей (или будущей) пациенткой, а больше здесь никого не было.

Так прошло минут пять. Сеньорита скучала, поглядывая на Гато, обе дамы сухо и жеманно беседовали между собой, а Гато молчал и заметно первничал. Сначала он ногой пододвинул к себе поближе стоящий на полу «атташе-кейз», а затем, пасутившись, наоборот, отодвинул его подальше. С гулким хлопком «кейз» упал плащмя. И в ту же минуту матусовские щенки, сосавшие за своим столиком пиво, молча повскакали с мест и, оставив на столе подопытные кружки, а на полу — свои дубинки и наски, ринулись в малый зал. Дон Энрике зажмурился (сейчас начнется), но опять-таки все было тихо, и, когда он открыл глаза, матусовцы бесследно исчезли.

— Ну-ка, я пойду, погляжу... — пробормотал Гато, поднимаясь.

Но тут раздалась негромкая команда: «Сидеть, оставаться на своих местах», — и в малый зал вошли люди Жуаньяпа. Позже дон Энрике будет говорить, что они ворвались, горлаяя, стреляя в потолок и опрокидывая мебель. Но это было не так. В большом зале даже не заметили, что за аркой что-то происходит. Врач-гинеколог, разумеется, начал возмущаться, но это выглядело не особенно убедительно, и когда ему было позволено рассчитаться, он с облегчением это сделал и, подхватив свою даму, ушел. Двое агентов встали под аркой, двое в служебных дверях, а к столику Гато, улыбаясь, направился еще один — в пло-

х синим дакроновом костюме, ослепительно белой сорочке, с маленьким смуглым обезьяням лицом. Дон Эпине его сразу узпал: это был тот самый молодой плебей, по имени Мемо, который так жадно пил пиво из кружки сеньориты Ларин вечером после «Танкаса». Долгим же путем он шел к своей цели... а цель эта оказалась совсем не той, что предполагала сеньорита. Несомненно, в ее глазах молодой плебей был предателем вдвойне — и как со-общник, и как влюбленный, которого он столь убедительно и торпеливо изображал.

Когда Мемо поравнялся с нею, сеньорита Ларин вызывающе вскинула свою очаровательную рыжую головку и протянула обе руки вперед.

— Прошу прощения, сеньорита, — сказал Мемо. — Не нужно демонстраций, вас никто не собирается арестовывать. Можете отправляться домой. Если вы понадобитесь, вас вызовут в полицию.

Габриэла, всыхнув, встала и, даже не взглянув на Гато, с независимым видом пошла к выходу.

Гато медленно опустился на место, облизал губы. Нельзя сказать, что он очень испугался: он был просто покорен, как ошеломленный ударом бычок. Положил на стол руки, дал себя обыскать и обезоружить. Безучастно проследил за тем, как «атташе-кейз» был бережно передан из рук в руки к выходу и унесен.

Наутро из газет дон Эпине узпал, что чемоданчик за-служивал такого деликатного обращения: в нем содержались схемы секретных аэродромов, заявки на стрелковое оружие, списки лиц, подлежащих уничтожению в первую и вторую очередь, а также чеки Шуэрторикашского отделения «Ферст нэйшнл сити бэнк» на предъявителя. Сумма была, скажем прямо, защадительная, она почти вдвое превышала то, что дон Эпине заработал за целую жизнь.

— Мы тоже можем уйти? — в один голос спросили обе сеньоры.

— Безусловно,— ответил Мемо, наблюдая, как два сотрудника надевают на Гато наручники.— Безусловно, как только ответите на несколько моих вопросов.

Гато повели к выходу. В дверях он остановился и через плечо сказал:

— Ну, Мемо, молодец, постарался. Но вот пакрасно ты сам сюда пришел.

— Поглядеть на тебя захотелось,— ответил Мемо.— Давно не видел, соскучился.

— Ну, гляди. Недолго же тебе глядеть осталось.

— Не смеши, не горячись, гайо,— сказал Мемо, присаживаясь за столик к дамам и доставая блокнот и карандаш.— Я еще тебя переживу.

...Мемо сшибался: ровно через неделю его тело было выброшено на скамку возле Маночо из проезжавшего армейского грузовика. Труп был настолько изуродован, что даже видавшие виды мусорщики долго не решались к нему подойти.

26

Об аресте Чиниты Каролина узнала чуть ли не позже всех. В тот вечер она засиделась в редакции, готовя после долгого перерыва свою сатирическую колонку, и старалась не обращать внимания на телефонные звонки. А телефон, как назло, звонил беспрерывно. Наконец Каролина не выдержала. Она сняла трубку и хотела положить ее на стол, но что-то толкнуло ее послушать, кто говорит. Это был Аугусто Оливарес.

— Послушай, Нья Пируса,— сказал он,— я уже целый час пытаюсь к тебе пробиться. Есть один вопрос. Твоя сестренка, она ведь работает на фабрике Леру?

— Работала одно время,— сердито ответила Каролина. Она была недовольна, что ее беспокоят по таким пустякам,

и будь у нее сейчас другой собеседник, он получил бы не-
большой урок. Но Перро — не просто собеседник, Перро
не станет звонить без серьезных причин.

— Она там бывает? — спросил Перро.

— Бывает, и довольно часто. А что такое?

— Видишь ли... ты только не волнуйся. Парапотисты
сегодня провели на Леру оперативку, искали оружие, зави-
зилась перестрелка. Тата послал туда санитарные маши-
ны. Не мешает тебе съездить домой и узнать, все ли в по-
рядке. Узнаешь — перезвони мне, ладно? Я буду в секре-
тариате всю ночь.

И Оливарес отключился, прежде чем Каролина успела
его поблагодарить.

Конечно же, ей дали редакционную машину, и она по-
мчалась на Парадеро Очо.

Дома было темно и грязно, пахло спиртным. Когда Ка-
ролина включила свет, она увидела, что Лусита сидит на
полу, забившись в угол, и тихо плачет.

— Что с тобой, маленькая моя? — Каролина бросилась
к пей, взяла ее на руки. Девочка обеими руками обхвати-
ла ее за шею, но ничего не говорила, только всхлипывала
и дрожала.

— Почему ты одна? — сев на скамью и посадив ее ри-
дом, допытывалась Каролина. — Где Мария Эстела? Где
мама?

С большим трудом Каролине удалось выяснить, что про-
изошло. Мария Эстела еще утром, встав с тяжелой больной
головой, собрала вещи, сказала, что пусть все пропадает
здесь пропадом, а она едет в деревню, и ушла. «Мама», то
есть Мануэла, не смогла ее отговорить, как ни старалась. А и
вечеру Мануэла пошла на фабрику, там она должна была
читать какую-то лекцию. Мануэла сказала, чтобы Лус жда-
ла ее и смотрела картинки в журнале. Потом на улице по-
слышалась стрельба, люди начали кричать, и девочке ста-
ло страшно. Тогда Лус набралась храбрости и пошла к

«маме». У ворот фабрики горела машина, кругом стояли джипы, большие автобусы и грузовики. Солдаты прогоняли ее, но домой идти было еще страшнее, и девочка отходила и снова возвращалась. Потом солдаты вывели из ворот «маму», втолкнули ее в автобус вместе с другими женщинами и повезли. «Мама» кричала и била солдат по плечам кулаками. Лус побежала за автобусом, но ушла. Кажется-то старушка взяла ее за руку и, хоропенько высырив, где она живет, отвела домой. Старушка была добрая и заботливая, она звала девочку к себе, но Лус наотрез отказалась. Она решила, что если пойдет с этой старушкой, то больше никогда уже не увидит ни маму, ни Няя Пируса.

— Почему все куда-то уходит? — плача, повторяла она. — Неужели нельзя жить всем вместе?

Оставлять Луситу здесь было, разумеется, невозможно, и Каролина забрала ее с собой.

— Что ж это такое! — говорила Каролина Оливарес. — Ни с того ни с сего хватают девочку, бросают в машину и увозят неизвестно куда! Если это творится при нас, что же будет, когда они переселят?

Оливарес рассказал ей, что, по официальной версии ВВС, от неизвестного поступило устное заявление, что на фабрике Леру хранятся незаконно накопленные запасы стрелкового оружия и взрывчатых материалов, а также боеприпасы и снаряжение. Подразделение ВВС оцепило территорию фабрики и приступило к оперативке. Во дворе парашютисты обнаружили каски, пластиковые бутылки (как они утверждают, для зажигательной смеси), литературу социалистической партии.

— С каких это пор, — возмущенно спросила Каролина, — литература правящей партии стала приравниваться к боеприпасам? И никакого устного заявления не было, все это ложь! Они давно уже кружили над фабрикой, все не решались!

— Да, записи на пленку телефонного разговора не было сделано,— устало ответил Оливарес.— А дальше ужо вообще начинается фантастика. Когда солдаты рассматривали двор, на них будто бы бросились со всех сторон около пятисот человек, одетых в форму цвета хаки. Начался бой, и парашютисты, сделав якобы несколько выстрелов, отступили. С собой они забрали двадцать три арестованных. Ранено, по их версли, три человека. Но все это, разумеется, ложь. Тата приказал создать комиссию экспертов, и только что нам сообщили, что по цехам было сделано шестьсот выстрелов... Ты, Пирусита, не переживай. Глажное — твоя сестренка жива. Тата постарается ее вызволить. Но попытайся и сама что-нибудь сделать через редакцию. Прессы они боятся.

...Два дня Каролина обивала пороги всех военных подометов, отыскивая следы Чипиты. Наконец ей ответили, что Мануэлу Сото Рамирес отвезли в казармы военно-воздушной базы «Эль Боске», где она будет находиться «до выяснения обстоятельств».

— Но каких обстоятельств? Девочка пришла на фабрику, где она даже не работает, повидаться с подругами. Никаких других обстоятельств нет и не может быть.

— Если так, то какие основания для беспокойства? Вашу сестру не только освободят, но и доставят на автобусе BBC по месту жительства.

— Но она опаздывает к началу учебного года! Она едет учиться за границу, там начинается учебный год!

— Это, конечно, печально. Все, что мы можем сделать, это выдать ей при освобождении официальную бумагу, в которой будут изложены необходимые объяснения. Но это, естественно, только в том случае, если ее задержание действительно случайно.

Так было вчера. Но сегодня, в понедельник десятого сентября, с Каролиной разговаривали совсем по-другому.

— Вы напрасно нас дезинформировали. Выяснилось, что ваша сестра оказалась на территории фабрики не случайно: она осуществляла связь между «командой комуналь» сектора и персоналом.

— Это нелепые домыслы!

— Да, это трудно будет доказать. Но сеньорите Сото предъявляется и более серьезное обвинение: она была задержана с оружием в руках.

— Но это уже совершенная ложь. Моя сестра никогда не держала в руках оружия! Послушайте, вам придется за все это ответить! Девочка, почти ребенок, столько времени содергается в каких-то казармах... может быть, ее там бьют! Я пойду к генералу Ли!

— Весьма сомнительно, чтобы генерал Ли стал вмешиваться в это дело. Впрочем, попытайтесь. Но не сегодня: сегодня главнокомандующий находится в частях.

— В любом случае этот произвол не сойдет вам с рук! Если понадобится, мы поднимем всю прессу...

— Сеньорита, не нужно так волноваться. Кстати, один деликатный вопрос. В прошлый раз вы, кажется, говорили, что ваша сестра учится за рубежом. Не могли бы вы сказать, где именно?

— Это неважно.

— А вот ваша сестра утверждает, что она никогда не учится и не работает. Очень многое противоречит.

Когда расстроенная Каролина вернулась после этой беседы в редакцию, Лус, которая теперь вновь отказалась оставаться одна и находилась на попечении девочек из отдела писем, спросила:

— Нью Пирса, ее скоро освободят?

— Скоро, маленькая, скоро,— Каролина погладила девочку по голове.— Ведь твоя мама не сделала ничего плохого.

— А я думаю, ее расстреляют,— серьезно сказала Лус и обвела взглядом лица обступивших ее сотрудниц.

Наступило тягостное молчание. Девушки растерянно переглядывались.

— Господи, да откуда ты вообще знаешь такое слово? — спросила паконец Каролина.

— От Марии Эстелы, — ответила Лус. — Мария Эстела говорит, что скоро пас всех расстреляют: и тебя, и Фито, и маму. Вот я и думаю: с кем же я тогда останусь? Мария Эстела говорит, чтоб я подохла. А я не хочу подыхать. Тогда уж пусть и меня расстреляют вместе с вами.

— Глупышка, — смеясь и плача, сказала ей Каролина. — Ничего ты не понимаешь, оказывается...

День был какой-то странный — пустой и в то же время наполненный острым ожиданием важных событий. Настолько важных, что даже новости из Конгресса, которые Каролине предстояло обработать для завтрашнего номера, казались совершенным пустяком. Депутаты от ХДП и ИП потребовали совместной отставки президента, правительства и распуска обеих палат. Люди Харни праздновали победу: паконец-то они добились взаимности от своих кипризных партнёров. Христианские же демократы голосовали крахти, словно нехотя. Но в общем-то это решение никакого ни к чему не обязывало и было политическим зреющим.

Журналисты всех мастей метались на перепутье между министерством обороны и La Монедой. Но главкомы со вчерашнего дня не подавали признаков жизни, и из дворца тоже никто не выходил. Экстренное совещание кабинета закончилось, и теперь президент и министры обедали в зале Тюэски.

Знакомый корреспондент «Сегунды» так и кинулся к Каролине, когда она подходила к дворцу.

— Ну что? Скоро?

Каролина остановилась, недоумевая.

— Скоро объявит?

— О чём? — вопросом на вопрос ответила Каролина.

Корреспондент отступил на шаг, с сомнением посмотрел на нее.

— А я думал, ты спасешь,— разочарованно сказал он.
— Да о чём? Введи меня в курс дела.

— С утра было объявлено, что президент сегодня сделает важное заявление, но до сих пор ничего нет. Вот мы и идем, как коршуны. А может быть, ты все-таки что-нибудь знаешь? Я в долгу не останусь. Я тебе такую новость подкину — пальчики оближешь.

Каролина с трудом от него отвязалась. Она и в самом деле не знала, какое заявление собирался сделать Альенде.

Не сказал ей об этом и Аугусто Оливарес.

— Знаю, что должно было быть выступление, но отложено до вторника. Состоится завтра в середине дня, до начала совещания ХДП: надо, чтобы они, собравшись, уже знали.

— О чём?

Оливарес улыбнулся в усы.

— Пирсита, я тебя с детства люблю, по таинственность и люблю еще больше. Расскажи мне лучше, что выяснила о сестренке.

Рассказ Каролины огорчил Оливареса.

— Мерзавцы, и управы на них нет никакой. Отпустить-то ее они, конечно, отпустят, но боюсь, что не скоро. А она у тебя, оказывается, молодец: сообразила, с кем имеет дело, не сказала, что едет на Кубу. Правда, хитрость невелика: все равно они выяснят.

— Так что же делать, Перрито? — умоляюще спросила Каролина.— Как девочке помочь?

— Ну, с генералом Ли ничего не получится,— нахмурившись, сказал Аугусто.— Это такой... такой пепдехо...

Словечко «пепдехо» не имело определенного значения, но Перро вкладывал в него богатое содержание: впрочем, чтобы оценить его, надо было слышать интонацию, с которой Аугусто его произносил.

— Ты знаешь, — продолжал Аугусто, — утром Жуаньин и Ромеро... ты знаешь Ромеро? Знаменитый детектив. Так вот, они встречались утром с Ли, привнесли ему данные по палету на Леру. Совершенно очевидные доказательства, что перестрелку начали его люди. А он и смотреть бумаги не стал. «Моя служба, в отличие от вашей, не лжет, сеньор Жуаньин. Дай бог вам когда-нибудь завести такую надежную службу». После этого, естественно, разговаривать было не о чем. Так что Ли отпадает. Может быть, попросить Тату, чтобы он лично вмешался, позвонил Пиночету, пусть повлияет... Опять же незадача: нет пигде моего тезки, как в воду канул. Придется до завтра подождать. Да, кстати, вот что я тебе скажу: сегодня дома почевать не следует.

У Каролины болезненно сжалось сердце.

— Настолько серьезно?

— Похоже, что так, — Аугусто взял Каролину за локоть, отвел к окну. — С адмиралами у нас, сама знаешь, дружба врозь. Понятия не имеем, чем они там занимаются. Как бы не законошились. Теперь вот и этот Ли... Не ожидали мы от него такой эскапады...

— Но, может быть, это только фразы? Честь мундира и все такое? Ведь ему ткнули в пос доказательство, что он лжет.

— Если бы только это... Сегодня ночью вдруг обнаружилось, что с аэродрома Нуадаэль исчезли все коммерческие самолеты. Президент меня поднял звонком, стали выяснять, в чем дело. Оказывается, по приказу командования ВВС их перевели на военные аэродромы в Эль Боске. Представляешь, что это значит?

«Бедная Чинита, — с тоской подумала Каролина. — Не дай боже, начнется, а она там...»

— Естественно, Тата позвонил самому Ли, выразил недоумение и получил ответ, что это меры по охране матини. «По охране от кого? От меня?» — спросил Тата и прика-

иля вернуть самолеты на место. Вот так, Перусита. Но надо вешать нос: без пехоты у них ни черта не получится. Чили — это не Сальвадор. По одному самолету на сто километров длины — маловато.

— Послушай, — сказала после паузы Каролина, — не слишком ли мы их распустили? Какое-то табу на тему «вооруженные силы»: ни в чем пользы упрекать. Ни армии, а священная корова. Давно бы надо обвинить их в своеволии и призвать к порядку. А после каждой их проклятой оперативки...

— Могу тебе сказать по секрету, — остановил ее Оливарес, — решено отобрать у армии право на оперативки и поручить их карабинерам. Летельер уже действует в этом направлении.

Вдруг он остановился, посмотрел на часы.

— Заговорился я с тобой. Как бы государственную тайну не выболтать: уж очень хочется. Еду сейчас на Томаса Моро. И обязательно напомню Тате о твоей сестрепке: он что-нибудь сделает.

— Не позабудешь? — с надеждой спросила Каролина.

— Ни в коем случае! — заверил ее Оливарес.

Наверно, это был единственный случай, когда Перро не сдержал слово.

Несколько успокоившись, Каролина пошла в секретариат, по дороге раздумывая, где она будет ночевать с Луситой сегодня. И неожиданно увидела перед собой Сесара. Они во встречались с того самого дня, когда он подвез ее к дому Иратса.

Сесар был в том самом небесно-голубом костюме, в котором встречал ее здесь в день «Ганкаса». «Странно, — манипульно подумала Каролина, — отчего опять в голубом?» В тот раз он объяснил, что торопился, оделся как попало. Значит, солгал. Наверное, отчуждается, хочет подчеркнуть, что он здесь посторонний. А может быть, это у него наследственное? Отец его тоже пригудлив в одежде.

— Я тебя повсюду разыскиваю, — не здороваясь, сказала Сесар. — У меня к тебе важное поручение от класса, который я представляю.

— Нашел время шутить, — ответила Каролина. — Но все равно я рада тебя видеть. Ты похудел.

— Я не шучу, — возразил Сесар. — У меня действительное поручение. Мой отец очень хотел с тобой лично поговорить, но ему, сама понимаешь, не совсем удобно приезжать в вашу редакцию.

— Твой отец? — удивлению переспросила Каролина.

— Да, представь себе. Старик вернулся из конгресса очень измученный. Долго брюзжал о политической близорукости... я, признаться, не совсем понял ход его рассуждений, но вдруг он спросил, часто ли я вижусь с тобой. Очень огорчился, когда узнал, что мы с тобой разошлись, как говорится, по идеологическим соображениям. Видишь ли, ему не хочется встречаться ни с кем из ваших, но сегодня он узнал... Короче, по его мнению, ты должна предупредить президента, что в вооруженных силах ни на кого нельзя полагаться. И особо подчеркнул: ни на кого. Больше он ничего не хотел говорить: если захотят, поймут. Я решил, что, если уж старик так разнервничался, он действительно узнал нечто важное. И — приехал сюда. Может быть, мне не следовало этого делать?

— Нет, нет, — растерянно проговорила Каролина.

— Странно, — Сесар усмехнулся. — А я-то полагал, что ты сломя голову помчавшись к Альспеде сообщать эту страшную новость. Но, по-видимому, вам это даниным-давно известно...

— Ты молодец, что приехал, — сказала Каролина. — Но я не представляю себе, как я могу это передать... Все слишком общо... А больше он ничего не прибавил? Могу я на него хотя бы сослаться?

Сесар был удивлен.

— А ты знаешь, я действительно болван. Старик имен-

но так и сказал: пусть спишется на мое имя, оно достаточно авторитетно. Депутат Херардо Ларин не желает даже косвенно быть причастным к гнусному обману. И эту фразу подверг цензуре, мне она показалась слишком выспренней, по если ты как профессиопал...

— Послушай,— Каролина взяла его за руку,— подожди меня здесь.

— Ну, уж нет,— Сесар высвободил свою руку,— я достаточно насторожился здесь, пока ты любезничала с этим долговязым. Моя машина, если хочешь знать, стоит возле отеля «Каррерас».

— Хорошо! — Каролина поцеловала его в щеку и побежала к подъезду.

27

Дон Херардо долго не мог заснуть в эту ночь. Облаченный в теплый стеганый халат, он то расхаживал по просторному холлу, то садился в глубокое кресло и нервно прихлебывал из бокала с «Санта-Ритой» (на сей раз без льда, некому было подать), то снова вскакивал и, ведя мучительный спор с собой и ожесточенно жестикулируя, начинал бегать из угла в угол. Время от времени он останавливался в полоборота к двери и, замерев, прислушивался. Его тяготило, что он во всем доме один: прислуга отиросилась в деревню, а Габриэла, как обычно, где-то болталаась. И если бы, например, с доном Херардо случился сердечный припадок, он так и остался бы до прихода дочери валяться на темно-вишневом ковре, как никому не нужная рухлядь.

Впервые, наверно, за всю свою некороткую жизнь дон Херардо не был уверен, что сделал все так, как нужно. Вот как все это произошло. После голосования резолюции о совместной отставке взвужденные парламентарии стали разъезжаться по домам. Настроение у дона Херардо

было смутное и тягостное. По своей воле он ни за какие блага не стал бы требовать распуска обеих палат, где у оппозиции имелось такое уютное большинство, тем более что лишь через полгода после ожесточенной избирательной кампании. Но партийная дисциплина — превыше всего. Оставалось надеяться, что избиратели по достоинству оценят самоожертование своих депутатов и отдаст им свои голоса вновь. Однако, если уж быть последовательным, надо понимать, что новый состав конгресса не может в точности повторить предыдущий, а это значит, что кто-то из депутатов исчезнет и его место займет другой, скажем, пахнущий уличным холодком. И кто даст гарантию в нынешнее беспокойное время, что этого не случится именно с доном Херардо? Кто знает, как рассудит даже тот состоятельный избиратель, который так охотно голосовал за дона Херардо, знал его лично, передко был знаком с ним домами и уж во всяком случае помнил шумную историю его женитьбы на первой красавице полуострова. Все личное обаяние дона Херардо (в котором он был уверен), вся теснота связей и могущество влияния друзей — все это может отступить на задний план. Малейшее поправление в настроениях, микроскопический сдвиг — и трети фракции как не бывало. И все сначала: поездки, выступления, хаототы, нелепые расходы и траты здоровья... при мысли о новой предвыборной кампании по сине у него пробегал озноб.

Тем не менее дон Херардо, толкаясь вместе с другими законодателями у выхода, с готовностью поддакивал тем, кто называл резолюцию беспрецедентной, исторически мудрой, единственно мыслимой. Были и скептики, уверявшие, что к отставке президента эта резолюция не обязывает, а без ухода Альенде она оборачивается призывом к самороспуску конгресса, что не имеет никакого смысла.

За доном Херардо увязался тот самый, как бишь его, мисник из Национальной партии, владевший холодильни-

ком на Эскобар Бильяме. Фамилию его, что уж греха таить, дон Херардо помнил отлично: полгода назад, витийствуя в кулаурах, он допустил в адрес дона Херардо грубейший вынад. «Все эти ларини и томичи, отбросы Старого Света...» Ну разве можно такое забыть? Фамилия самого мясника Гутьеррес. У дона Херардо и в мыслях не было тащить этого типа к себе домой, но сегодня националисты были настроены особенно благодушно, мясник пристал к дону Херардо, ухватил его под руку, припаялся рассыпаться в извинениях за то, что не удосужился до сих пор заглянуть к нему на вечерок (о том стародавнем своем хамстве он, разумеется, не помнил), и как-то так получилось, что через десять минут они с мясником ехали на Витакура, и дон Херардо с удивлением обнаружил, что называет мясника по приставке Пако. Пако сыпал цепристойными анекдотами, охотно ржал над всеми, даже пустяковыми замечаниями дона Херардо, но вот уже здесь, в холле, куда Пако заскочил на минутку, прежде чем ехать дальше (он подвозил дона Херардо на своем исполненном огненно-красном «форде»), — здесь, в холле, за бокалом «Санта-Риты», разговор стал интересным. Дон Херардо поделился с Пако своими соображениями о том, что Альенде вряд ли согласится на предложенный ему вариант.

— Выбрось это из головы, дружище, — развалившись в кресле, ответил Пако. — У Альенде не хватит времени даже задуматься над тем, что сегодня произошло. С потрошителем трупов покончено. Цепочка розовых генералов оказалась короче, чем он ожидал. Красная шапочка не желает большие терпеть.

— Что ты имеешь в виду? — озадаченно спросил дон Херардо.

— А вот что, друг мой. Ты знаешь, что мой зять работает в генштабе? Так вот, от него мне стало известно, что на днях лошадям будетпущена кровь. И главный ветеринар — тот, на кого Альенде больше всего надеется.

Он поманил к себе дона Херардо толстым пальцем и на ухо произнес имя.

— Но это же гражданская война! — проговорил пораженный дон Херардо.

— Ни в коем случае! — заверил его добродушный Пако. — Вся армия выступит как один железный человек. Воевать будет некому и не с кем. Просто — лошадям будет пущена кровь.

И, довольный своей метафорой, Пако захохотал.

Когда инумный гость пакопец уехал, дон Херардо долго сидел неподвижно. Известие это поразило его как громом. До сих пор он считал, что «Вива Джакарта» и «Армия должна выложить на стол кулаки» — это всего лишь ораторские приемы, фигуры для устрашения собеседника, а долождается к парламентским маневрам: отход от Альянде еще одной партии его блока, либо, на худой конец, перевыборы и новый расклад голосов... Даже идея объявления Альянде неспособным управлять страной представлялась ему манипуляционным трюком, недозволенным приемом честной борьбе. Альянде вел поединок по-честному, с соблюдением правил, и был упорным достойным противником. Да, поединок несколько затянулся, и христианские демократы засиделись в оппозиции, но это не причина для того, чтобы пускать в ход топор. Да, если верно то, что говорит Пако, гражданская война не начнется, но ведь с парламентаризмом в Чили будет надолго покончено. Если вооруженные силы настолько переродились, то это будет равносильно вторжению войск диктатуры в демократическую страну — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тогда — прощайте, парламентские дебаты, голосование, распределение мест в конгрессе, предвыборные кампании, в которых, что ни говори, помимо суеты и тряски здоровья, есть прелесть ожидания, надежд и наслаждение от высокой и умной игры. Порядочных людей, занятых серьезной шахматной партией, хотят захватить врас

влох, подкрасться к ним сзади и, с идиотской ухмылкой смешав все фигуры, выложить на стол чугунную гирю. А что будет со страной? Помимо кроши, грязи, слез и проклятий, страха будет ввергнута в хамскую карусель переворотов и путей, в железные игры взбесившихся от занята власти офицеров, а все порядочные люди, стоя поодаль, чтобы их не нареком не зашибли, будут уныло наблюдать за этой кутерьмой. И вместо того чтобы снять чисто вымытыми, обращенными к океану гигантскими окнами витрины справедливости, порядка и здравого смысла, страна превратится в затонувший сапожница, захарканный кавармениный коридор на задворках Америк.

Открывшаяся перед его внутренним взором перспектива была настолько омерзительна, что дон Херардо содрогнулся. Зачем только он согласился ехать с этим ужасным Пако? С этим громоподобно хохочущим мясником па его огромной сатанинской машине, как бы увлекающей в преисподнюю? Зачем согласился стать совладельцем этой пакостной тайны? А ведь они убют Альенде, исправенно убют, ликуя и бренча своими идиотскими регалиями. Убьют, да он и не согласится принять от них ничего, кроме смерти...

Дон Херардо не был близок с Альенде, но знал его достаточно хорошо. В течение двадцати пяти лет они чуть ли не ежедневно встречались в конгрессе, в частных домах — хотя бы в «бангало» Фрея, куда Альенде был вхож на правах друга семьи и крестного отца дочери дона Эдуардо, а Херардо Ларин — па правах дальнего родственника. Случалось им и беседовать, по дон Херардо держался при этом перво, чопорно, скованно, стараясь подчеркнуть свою отчужденность. В пеписаной парламентской таблице о рангах сенатора Альенде и депутата Ларина разделяла весьма вищительная дистанция: тот — лидер мощнейшей оппозиции, этот — мелкая депутатская сонка. Возможно, именно это раздражало дона Херардо. Он никак не мог во-

пять, в чем сила Альенде, откуда у этого человека такой авторитет. Бывали, их жены-красавицы очень мило беседовали в дамском уголке какого-нибудь салона на Витакура, а у мужчин разговор не клеился: Альенде был терпеливым, доброжелательным слушателем, но дону Херардо все милюсь, что сенатор «с彳иходит».

Лишь однажды им удалось установить простой, человеческий контакт. Случилось это в сентябре семидесятого, в тот смутный период, когда Альенде, одержав победу на выборах, ждал голосования в конгрессе, а Ла Мопеду еще занимал Фрей. Шла кулачная суэта: конгресс имел право проголосовать за любого из трех главных кандидатов, но лидеры всех крупных партий еще до выборов обещали, что признают победу того кандидата, который на выборах получил наибольшее количество голосов. Расчетливый Фрей, порвав все личные связи с Альенде, задумал хитроумную комбинацию: конгресс голосует за Александри, тот делает театральный жест и уходит в отставку, назначаются новые президентские выборы, Фрей остается единственным соперником Альенде, и Народному единству вряд ли удастся повторить свой успех. Стремясь сорвать передачу власти Альенде, какие-то люди стали чуть ли не еженощно подбрасывать пластиковые бомбы в палисадники Баррио Альто, и жизнь па Витакура превратилась в настоящий кошмар. Сидишь этак в «ливинге», смотришь по телевизору какой-нибудь полицейский сериал, вдруг — грохот, авон стекол, и, не успев попытать, что случилось, ты сам становишься пляшущей тенью на потолке. Такая перспектива дона Херардо не устраивала. Инстинкт подсказывал ему, что его «бапгало» — очень удобная мишень для бомбистов: Баррио Альто мог спокойно пожертвовать рядовым депутатом-католиком, чтобы затем устроить ему «всесародные похороны» по высшему разряду. Сославшись на резкое ухудшение здоровья дочери, дон Херардо обещал Радомиро Томичу, что вернется в сто-





лицу на голосование в конгрессе, и благополучно отбыл в Винья-дель-Мар. Сторонники Томича, к которым принадлежал и депутат Ларин, считали своим долгом выполнить предвыборные обещания и честно проголосовать за Альенде — независимо от желания Эдуардо Фрея.

Многие обитатели Баррио Альто в те дни упаковывали свои чемоданы и, обратив деньги в реальные ценности, улетали в Аргентину, в Мексику, в Венесуэлу. Аэропорт Пуадауль работал с предельной нагрузкой: за два месяца транспортные услуги такого рода были оказаны семнадцати тысячам семей. Поскольку допу Херардо было нечего обращать в реальные ценности, он выбрал себе убежище поближе. «Чилиец должен жить в Чили, — с достоинством заявил он друзьям, приехавшим его провожать. — Все прочее — авомалия».

Оставил дочку в Винья-дель-Мар под присмотром падесской дуэльи, дон Херардо перебрался в соседний Вальпараисо: ему было необходимо закончить миром роман с одной дамой местного полусвета. И вот, однажды утром, благодушествуя у себя в номере отеля «Алькасар», он услышал по местному радио потрясающую новость: на проспекте Сантьяго — Вальпараисо неизвестные лица обстреляли машину Сальвадора Альенде, кандидат в президенты тяжело ранен и в бессознательном состоянии перевезен в один из госпиталей Вальпараисо. «Да, но это же гражданская война! — воскликнул потрясенный дон Херардо — точно так же, как он это сделал сегодня, разговаривая с Пако. — Они определенно сошли с ума!»

Он принялся называть дону Радомиро, не преуспел в этом и, терзаясь без четких инструкций, помчался в городскую штаб-квартиру Народного единства: надо было как-то определиться, как-то выразить свое отношение к гибшему убийству. То, что Альенде скончается в госпитале, было для него ясно как день: если пули не сделали свое дело, медикаменты его довершат. «Ах, какая ди-

кость,— бормотал он по дороге, по отдавая себе отчета, что его появление в стане противника может вызвать неодобрение дона Радомиро,— какая мерзость!»

Над входной дверью штаб-квартиры висел огромный плакат с портретом Альенде, на котором дон Чичо был похож на кого угодно, только не на самого себя, и с надписью «Командо националь». По-видимому, дон Херардо прибыл сюда с выражениями соболезнования одним из первых, поскольку никакого скопления возмущенных горожан у подъезда не наблюдалось, и двое молодых верзил в штатском, скучающие прислонившись к стене, спокойно наблюдали, как дон Херардо, пыхтя от волнения, вылезает из такси. Как понял дон Херардо, это и были те самые головорезы из «Групо де амигос персоналес», о которых рассказывала ужасы правая печать: на их молодых лицах было так и написано, что они — ленивые боливики.

Дон Херардо подошел, с достоинством назвав себя. Один из гоповцев удивленно присвистнул, другой отступил от двери и любезно ее приоткрыл. Дон Херардо почувствовал себя несколько разочарованным: на него не набросились, не выкрутили ему руки, даже не обыскали. «Поразительная беспечность», — подумал он, входя в вестибюль и уже смутно предчувствуя, что делает что-то не то.

В вестибюле было сумрачно и пусто, но из комнаты в глубине слышны были возбужденные голоса. «Ага, — сказал себе дон Херардо, отчего-то обрадовавшись, — волнуетесь, голубчики». Но тут раздался взрыв молодого, здорового смеха, под раскаты которого дон Херардо вступил в логово упельентос.

В центре комнаты, полной табачного дыма, живой и невредимый стоял Альенде. Он был одет по-дорожному: широкое кожаное пальто нараспашку, на шее толстый шарф. Не так давно, в мае, Альенде перенес трипп (что значит слана: об этом пустяковом событии весь мир узнал

из газет) и, видимо, старался себя беречь. Альенде смылся — так, как это умел делать только он: нос его покраснел, щеки сделались круглыми и румяными, из глаз текли слезы. Держа в одной руке очки, другую он вытирал глаза и весь при этом трясясь от хохота. Юная машинистка, сидя на своем рабочем месте и держа на отлете дымящуюся спичку, смотрела на Альенде с выражением такого беззаветного обожания, что за один подобный взгляд дон Херардо отдал бы несколько месяцев своей небезгрешной жизни. Еще в этой комнате было двое мужчин, одного из которых, сына генерала Шнейдера, дон Херардо сразу узнал. Молодой человек хохотал, еще не зная, что его отцу осталось жить совсем недолго... Впрочем, не знал тогда этого, разумеется, и сам дон Херардо.

Увидев вошедшего, Альенде перестал смеяться, надел очки, брови его вопросительно приподнялись.

— Прошу прощения, сеньоры,— оскорбленно произнес дон Херардо.— Я, кажется, помешал? Дело в том, что местное радио только что сообщило...

Репе Шнейдер вновь засмеялся, но Альенде строго взглянул на него, и он умолк.

— Благодарю вас, Херардо, благодарю,— с искренним чувством сказал Альенде и, подойдя, обнял его за плечи.— Никакого покушения не было. Чистейшая ложь. Кое-кто очень хотел бы вызвать в городе панику.

Молодые люди поднялись и гуськом вышли из комнаты. Дон Херардо и Альенде уселись в кресла. Очевидно, Альенде понимал, что положение, в котором оказался его гость, немножко неловкое, и, стараясь загладить это, оживленно заговорил.

Трудно вспомнить сейчас в точности, о чем они беседовали, скорее всего о незначительных вещах, но Альенде сумел создать обстановку такой непринужденности и простоты, что вся скованность дона Херардо исчезла бесследно. «Вот оно что,— думал денутат,— значит, раньше ты

мог, но не хотел со мной так разговаривать...» Но эта мысль омрачила его лишь на минуту.

Альенде очень изменился после выборов. Он вовсе не выглядел изпуренным, тяжело переболевшим человеком, каким его представлял «Меркурио». Напротив, он даже, кажется, помолодел: морщины разгладились, глаза смотрели ясно и весело, плечи развернуты, изменилась даже посадка крупной, красивой его головы, исчезла напряженность, граничившая с заносчивостью. Чичо стал проще, и с ним стало проще. Всеми силами он старался показать, что благодарен своему гостю за сочувствие, благодарен и тронут, и делал это искренно и естественно. Разговор становился все более дружеским.

— Скажите, Чичо, — проговорил дон Херардо, придвигая свое кресло ближе и доверительно понижая голос, — вам и в самом деле не страшно? Или же вы просто стараетесь об этом забыть?

Альенде подумал, как бы прислушавшись к себе, потом просто сказал:

— Ну, забыть об этом трудно. Что особенно мучает — это не страх, скорее досада, что так много людей желают твоей гибели. Причем желают, повинуясь сословным истиникам, хорошенько не разобравшись в том, чего же они на самом деле хотят. «А, марксист, разрушитель традиционных человеческих связей, осквернитель домашнего очага». Ну, какой я, посудите сами, осквернитель очага? Что-то недоработано было в нашей кампании, если люди этому верят. Да, досадно. И обидно было бы погибнуть от руки своего соотечественника.

— Я не соотечественников имею в виду, — сказал дон Херардо, оглядываясь на дверь. — Вы, насколько я понимаю, не отказываетесь от идеи национализации меди? Думаете, гримо вам это простят? У них длинные руки. И особенно им не правится, когда бьют по их карману. Они вам это запомнят.

— Запомният, конечно, — согласился Альенде, улыбнувшись не столько тому, что сказал дон Херардо, сколько оного оглядке на дверь. Дон Херардо сразу это почувствовал. — Но что же прикажете делать? Этот шаг неизбежен. Им самим не понравилось бы, если бы чилийцы держали в руках, к примеру, техасскую нефть. Да, «Анаконда» постарается отомстить. Но ведь не бежать же из-за этого за границу.

— Надо быть больше политиком, Чичо, — наставительно сказал дон Херардо, — а теоретиком — как можно меньше. Президент-теоретик — это опасно. Те же самые реформы можно провести постепенно, замедленно, в социал-демократическом ключе. Суть от этого не изменится, поимущие успеют привыкнуть к мысли о неизбежных потерях.

— Мы бы дали им привыкнуть, — ответил Альенде, — но здесь есть и обратная связь: чем активнее они будут пытаться вызвать хаос, тем радикальнее нам придется действовать. Это — логика революции... извините, что я побесил вас этим словом.

И Альенде вновь улыбнулся.

— Сами же богатенькие, — продолжал он, — заставляют нас действовать энергичнее. Посмотрите: и еще не в Ла Монеде, а они уже бегут целыми стаями, переводят свои капиталы за границу, инсценируют покушения на себя, чтобы оправдать свое бегство. Это безобразие мы прекратим в самые первые дни. И «Анаконде» не удастся улизнуть без потерь: придется ей раскошелиться. Уверю вас, Херардо: они сами заставят нас поторопиться.

Дон Херардо с удивлением смотрел на этого человека: Альенде сидел, уютно, по-домашнему устроившись в кресле, и говорил спокойным, благодушным голосом, но супротив был смысл его слов. Да, «богатенькие», как он выражался, пожили себе последовательного врага.

— Может быть, они надеются, что в трудную минуту

я благополучно удаляюсь в изгнание, — продолжал Альенде. — Ио это совершенно исключено. — И — жест руки, отсекающий варианты. — Я не могу себе позволить обмануть целый народ.

...Именно в этих словах дону Херардо отчетливо послышалось: «Я не приму от них ничего, кроме смерти». И убитый он будет являться ему по почам и говорить: «Вы знали об этом, друг мой, а значит, участвовали в этом. Не следует обольщаться».

Тогда дон Херардо и вспомнил о юной своей обидчице из коммунистической газеты, об этой прелестной догматичке, с которой был связан его сын. Пусть там узнают о затевающейся накости, пусть примут меры, если еще успеют: в конце концов, дело даже не в этом, лишь бы совесть его была чиста. Порядочные люди должны всегда предупреждать порядочных людей о злых умыслах хамов: борьба должна вестись честными способами.

Доверять такой разговор телефону было бы безрассудно. Дон Херардо съездил к сыну и вернулся умиротворенный и довольный собой. В гордыне своей дон Херардо, однако, и не подозревал о том, что его имяnow все является ключом, открывающим тяжелые врата доверия. В кругах своих политических оппонентов дон Херардо слыл человеком не слишком серьезным, более следующим линейному ходу событий, чем выстраданным убеждением. Лишь одна Каролина по достоинству оценила благородное душевное движение дона Херардо, поднявшегося выше мелких личных обид. Но откуда ему было об этом знать?

Тем не менее ближе к ночи дон Херардо стал терзаться сомнениями. Полно, думал он, так ли уж серьезно то, что сболтнул словоохотливый Пако? Ведь нельзя забывать, что патриотисты — это партия парапоников, они видят желаемое, слепо тычутся в острые углы сущего и, ушибаясь, яростно фыркают и трясут головой. Может быть, Пако просто грезил наяву, когда говорил о предстоящем кроно-

пускации лошадям? Кто знает, какие фантазии могут родиться в мозгу оскорблённого действительностью мыслника? И не клевета ли это на степенного, чинно застегнутого на все пуговицы профессиала, имя которого Пако с таким сладострастием прошептал? Дон Херардо был лично знаком с генералом Пиночетом. Положим, в этом человеке не было сухого благородства Шисайдера, в нем не чувствовалась исступленной, почти молитвенной приверженности правоорядку, которая отличала Пратса. Но не отпечаталась на лице дона Аугусто и грубая, низменная, почти животная сила, столь характерная черта внешности «сильного человека» Вио. Скепсис и опустошённость — вот что читалось в лице дона Аугусто, но не слишком ли это сложно для мятежника, для гориллы, для потенциального убийцы? Не поторопился ли дон Херардо со своим жестом театрального благородного отца?

Но, допустим, Пако не преувеличивал, и цепочка розовых генералов действительно оборвалась на Пиночете, и режим Альенде в самом деле повис в воздухе. Разве это предвестие апокалипсиса? Может быть, власть перейдет к молчаливому и деловитому мыслителю в военной форме (каким в армейских кругах слыл дон Аугусто), и этот человек с профессиональным тщанием и обстоятельностью наведет порядок и молча уступит свое место лицам, облечённым доверием нации? Тогда в каком свете будет выглядеть имя христианского демократа сеньора Херардо Ларин Эррасуриса, и в каких целях будут этим именем пользоваться? Почему он должен полагаться на деликатность своих оппонентов? Почему он так безоглядно им доверился? Да еще прибегнув при этом к посредничеству трецотки из «Сигло»? И как отпесся бы ко всему произошедшему дон Радомиро? Не исключено, что он счел бы нужным заметить: «Любезный дон Херардо, к чему такая нервность, такая суэта? Что вы хотели предотвратить? Не сам ли режим сеньора Альенде настойчиво навязывал нации чуж-

дую ее духу концепцию? Не сам ли он пришел к такому положению, когда нация взбунтовалась? И не сам ли режим, который вы хотели счасти от гибели... да, да, именно так, надо называть вещи своими именами,— так вот, не сам ли этот режим предопределил свою собственную гибель и привел к необратимым мутациям в вооруженных силах? Ход истории имеет свою логику, и отменить ее полевыми упражнениями нельзя. А вы, почтенный дон Херардо, пытались сыграть роль бога из театральной машины. Ну не тщеславие ли это, посудите сами».

В разгар этих горестных размышлений, когда одна бутылка «Санта-Риты» опустела и на столике появилась другая, дон Херардо услышал рев мотора возле гаража. Ну, разумеется, это была дочурка Габи. Когда Габи загоняла машину в гараж, она так газовала, что ее маленький «рено» ревел, как армейский грузовик.

— Наночка, ты не слишком увлекся? — спросила Габи, появившись на пороге.

— Я? Нет,— расслабленным голосом произнес дон Херардо, сидя в кресле и не оборачиваясь.— Подойди сюда, маленькая моя.

Габриэла подошла с пустым бокалом, налила себе вина и, забравшись с ногами в свое покрытое ворсистой шкурой кресло, поднесла бокал к губам. Умные глаза ее смотрели поверх стекла на отца.

— Дочка, как ты думаешь,— пролепетал дон Херардо,— твой папуля достойный человек?

— Ну, конечно,— с усмешкой ответила Габи,— достойный и пынинский.

— Странно,— прислушиваясь к себе, искрение изумился дон Херардо,— и в самом деле... пока я был один, я был совершиенно трезв и много думал... а как только пришла моя дочурка, я сразу же захмелел.

— Я с улицы,— объяснила Габи,— на улице дивно. Такой туман, и весь пахнет яблонями.

Дон Херардо потянул носом воздух.

— Да,— согласился он,— ты и в самом деле вся про-
пахла яблонями. Боже мой, какая же ты юная... Скажи
мне, ты не боишься?..

— Ездить одна по городу? почью? Нет, не боюсь. У ме-
ня на всех перекрестках столько защитников, что не знаю,
как от них отвязаться.

— Я, правда, хотел спросить, не боишься ли ты бро-
сать меня вот так, одного,— грустно произнес дон Херар-
до.— Но не будем об этом. Скажи, а этот твой Рикардо, он,
как бы это спросить...

Дон Херардо пошевелил в воздухе пальцами.

— Ты хочешь спросить, достойный ли он человек? —
насмешливо сказала Габриэла.— Да он просто импотент,
папа.

Дон Херардо поперхнулся и закашлялся, струйка
вины потекла по его подбородку, он поспешно вытер ее
рукой.

— О господи,— пробормотал дон Херардо.— Значит,
дело зашло так далеко...

— Ты неправильно меня понял, папа. Не волуйся,
твоя Габи не так уж глупа. Просто Рикардо ни на что не
способен. Я в нем ошиблась.

— Так, значит, ты не выйдешь за него замуж?

— Ни в коем случае, папа. Я его презираю. Если уж
выходить замуж, то за того, кого не павидиши.

— Вот как? — Дон Херардо удивился.— Оригиналь-
ная мысль. Вирочем, может быть, ты оговорилась?

— Нет, я сказала то, что хотела,— Габи поставила бо-
кал на стол. Видно было, что она не шутит, лицо ее поро-
зовело от оживления.— Брак по любви — смертельно скуч-
ная вещь. Любовь проходит, остается привычка говорить
умильным голосом и делать друг другу любезности. О, не-
павиши — другое дело, со временем она только крепнет.
А сколько изумительных возможностей метить и мучить,

мучить и мстить человеку, который уже никуда от тебя не денется! И презирать его, презирать, презирать...

Дон Херардо смотрел на дочь во все глаза: в ее голосе звучало неоддельное чувство.

— Габи, малышка... — пробормотал он. — Но это ужо какая-то патология...

— Ошибаешься! — жестом остановила его Габриэла. — Тысячи женщин находят в этом свое счастье, уж я-то знаю. Они счастливчицы, их сразу выделяешь в толпе. Их лица никогда не стареют, глаза всегда ясны, губы не устают улыбаться...

— Кого же ты так ненавидишь? — спросил дон Херардо, и в голосе его промелькнули спускодательно-горделивые потки отца, который любуется своим дурачащимся ребенком и весело подыгрывает ему.

Но Габи не была расположена продолжать разговор: она сказала все, что хотела, и испытывала теперь облегчение и одновременно досаду.

— Ты спать собираешься? — спросила она, поднимаясь.

— Но будь со мною, дочка, — поспешил сказать дон Херардо. — Мне что-то не по себе.

Габи вздохнула и вновь забралась с ногами в кресло.

— Только недолго, — предупредила она.

— Ну, разумеется, — покорно согласился дон Херардо.

И как-то само собой получилось, что он рассказал ей обо всем, что с ним сегодня произошло. Дочь слушала внимательно, не перебивая, только все время морщилась, как от боли.

— Ну, и зачем ты это сделал? — спросила она, когда отец умолк.

— Скажи, а тебе по жаль Альенде? — вместо ответа спросил дон Херардо.

— А почему я должна его жалеть? — пожав плечами, ответила Габи. — Побыл президентом — и хватит. Укроет-

ся в посольстве, потом сядет на самолет и улетит. Не он первый, не он последний. Вот тем, кто ему служит из принципа... вот за ними действительно начнется охота.

Они помолчали, не глядя друг на друга, думая каждый о своем.

— А я уверен, что он никуда не улетит... — сказал паконец дон Херардо.

— Кто? — Габи посмотрела на отца с недоумением. — Ах, Альенде... И что он этим докажет?

— То, что с ним поступают бесчестно.

Габи усмехнулась.

— Старый идеалист, — сказала она. — Все-то у тебя либо честно, либо бесчестно. Шел бы ты лучше снать.

28

Около полуночи в резиденции на Томаса Моро был подан ужин. Доныя Ортенсия и Чабела накрыли на стол, затем хозяйка пошла в библиотеку и пригласила мужчин в столовую.

Минут через пять из библиотеки вышли министр обороны Лотельер и министр внутренних дел Брионес, советник Хоакин Гарсес и Перро, за ними, чуть замешкавшись, Альенде.

— Поздний ужин, — пробормотал Оливарес, усаживаясь, — как это изысканно! А для меня это еще и сегодняшний обед.

Перро, как и в день «Таппаксо», был одет «для войны»: только куртку милисиано, неудобную для кабинетной работы, он сменил на свитер. Похоже было, что этот большой ребенок играет в войну, не наигравшись досыта в детстве.

— Профессор утомлен, — говорил он, лукаво поглядывая на советника Гарсеса. — Довольно страшно: неужели в Сорбонне профессор читал только утренние лекции?

Хоакин Гарсес чинно, по-европейски ел и отмалчивался,

только сдержанно улыбался. Он и в самом деле был профессором Сорбоннского, Оксфордского, Мадридского и многих других университетов Старого Света. С Чили его связывало двойное (испанско-чилийское) подданство.

Оба министра тоже выглядели утомленными, в отличие от Оливареса и Альенде. О президенце говорили, что своей способностью работать с рассвета до рассвета он вогнал в инфаркт не одного сотрудника аппарата.

Однажды по-домашнему, в синетлом спитере и темных брюках, Альенде был сегодня особенно бодр и подтянут. Против обыкновения, он много говорил за столом, громко смеялся, энергично жестикулируя, перебивая собеседников. Чем-то этот ужин напоминал прощальный: Альенде и Оливарес похожи были на отъезжающих, которые возбуждены предстоящим и не могут этого скрыть, остальные же смотрят на них с болью и грустью. Тенча давно не видела мужа таким: неизвестная резкость его, темный румянец на щеках, напряженный и в то же время отсутствующий взгляд — все говорило ей, что Чичо принял окончательное решение, изволнован этим и не совсем доволен собой.

За столом обсуждались детали завтрашнего президентского обращения к народу, над текстом которого мужчины работали с восьми часов вечера. Президент решил: вопреки решительным возражениям Альтамирано он собирается объявить завтра пакти о предстоящем плебисците. Альтамирано угрожал самыми жесткими ответными мерами, вплоть до выхода из коалиции. В течение недели соратники по Народному единству, включая и Корвалана, и министров от его собственной партии, так и не смогли уговорить его признать очевидное: только прямое обращение к народу посредством плебисцита могло теперь предотвратить переворот. Флотское командование решительно и откровенно порвало с Народным единством, из повиновения вышло командование военно-воздушных сил.

На всенародное голосование предполагалось вынести

вопрос о трех секторах экономики (государственном, частном и смешанном), который был главным пунктом разногласий между конгрессом и правительством. Если народ поддержит правительство и скажет «да» продолжению процесса преобразований (а смысл плебисцита именно в этом), президент получит право распустить конгресс и назначить срок внеочередных парламентских выборов. При любом исходе плебисцита срывал попытки переворота: ответ «да» делал путь невозможным, «нет» — неуживым.

Кроме того, в текст завтрашнего обращения включались объявления о мерах экономического характера в о самых решительных мерах против фашистских террористических групп. Министру юстиции Серхио Иисуле поручалось разработать проект положения, призванного заменить «Закон о контроле над оружием».

Тенча и Чабела молча слушали, стараясь не мешать мужчинам. Неожиданно Чабела спросила:

— Папа, а военным известно, что ты решился на плебисцит?

— Думаю, что нет, — остро взглянув на дочь, отозвался Альенде. — Этот вопрос их не должен касаться.

— Если путчисты узнают об этом, — заметил Хоан Гарсес, — они постараются нас опередить.

— Что касается сухопутных сил, то, насколько мне известно, они заняты подготовкой к Большому параду, — продолжал Альенде. — Для Пиночета вопрос личного престижа, чтобы все прошло, как в добрые старые времена. Он очень горячей необходимостью экономить горючее.

— Армия готовит для себя Большой парад, чтобы похвастать свое самолюбие, — сказала Чабела, — а мы что же? Или у нас самолюбия нет? Мне как социологу не доставит удовольствия созерцание лиц под касками, и танки я не-взлюбила — после «Танкаса». Неужели мы не можем придумать что-нибудь более жизнерадостное? Ну, хотя бы студенческий карнавал, посвященный празднику весны.

— А что ж, это идея,— быстро проговорил Альенде.— Надо предложить Пиночету заменить парад карнавалом. Я думаю, он будет счастлив. И горючее останется целым.

— Пусть пехотинцы пройдут по городу пешком, в белых туниках,— подхватил Оливарес,— а то привыкли ездить на грузовиках. И пусть патеревес несут яблочевые ветки...

— А офицеров парядить фавнами,— добавил Гарсес.

Оливарес захохотал, и в это время в соседней комнате одиноко и жалобно зазвонил телефон. Наступила тишина. Извинившись, Альенде поднялся из-за стола и вышел.

Минуты через две он вернулся в столовую. Брионес, Гарсес, Летельер, обе женщины — все с напряженным ожиданием смотрели ему в лицо. Лишь Оливарес с преувеличенней якадностью ел.

— Орландо,— сказал президент, не садясь,— что за передвижение войск может быть сейчас в Сан-Фелипе?

Орландо Летельер нахмурился и ответил не сразу.

— Для мятежа рановато,— пробормотал Оливарес, посмотрев на часы.— Не собираются же они свергать нас в темноте.

— Я полагаю, президент,— сказал Летельер,— это генерал Пиночет принимает меры предосторожности. Я вам уже говорил сегодня днем.

Альенде постоял, в задумчивости потирая пальцем нос. Действительно, сегодня утром Пиночет нанес визит министру обороны и, предъявив газеты с текстом вчерашней речи Альтамирано, высказал предположение, что эта речь может обострить обстановку в Вальпараисо. Как раз завтра утром военный трибунал Первой военно-морской зоны должен вынести решение по делу Карденаса, и это может вылияться в кровавые столкновения. Летельер напомнил Пиночету, что завтра на рассвете эскадра уходит из Вальпараисо на маневры. На это командующий возразил, что часть соединений Первой зоны, наиболее непримиримая, в част-

ности морская пехота и флотская жандармерия, остается на берегу. В связи с этим Пиночет предложил, не дожидалась репетиции Большого парада, намеченнай на четырнадцатое, в порядке предосторожности раздать столичным и пригородным частям амуницию и привести в порядок транспорт и тяжелое вооружение. Подумав, Летельер признал эти меры разумными и, отпустив Пиночета, поставил об этом в известность президента.

— И все-таки,— после паузы сказал Альенде,— не лиши буде навести спрашки.

В час тридцать Брионес и Летельер уехали, Перро и Гарсес пошли в коттедж почевать. Ортесия и Чабела, сидя в гостиной на диване, негромко разговаривали о своем. Судя по интонации, дочь жаловалась на что-то личное, мать ласково и в то же время суховато, как провинившуюся, но прощеннюю, ее утешала.

Оставшись одни, Альенде крупными шагами ходил по библиотеке и время от времени, останавливаясь, задумчиво оглядывал книжные полки.

«Я тихо иду по коврам сповидений,— звучали у него в голове прелестные строфы из «Ночной коллекции» Пабло Неруды,— впиваюсь зубами в свечение сонного мака...»

«В свечение сонного мака»... Завораживающая мистика слов. Какая жалость, что судьба не одарила его ни одним талантом — кроме единственной печальной способности искреппе, от души, на самых чистых побуждений совершать пепонравимые ошибки...

Сегодня он мог сказать себе прямо: твоя вина, Чicho, в том, что Народное единство является единством лишь номинально. Ты не ищи других виновных: завороженный раздраженным миражем плурализма, ты переоценил совещательность, дискуссионность как стиль руководства. В разоглашениях рождается истина... да так ли это? Не тонет ли она в разногласиях, как потовула в жарких спорах Политического комитета Народного единства жизненно важная

мысль о том, что задачей правительства является не переход к социализму, а лишь создание условий для такого перехода... и это вылилось в утрату перспективы. Слишком много времени Политический комитет тратил на мелкие согласования проектов решений, на консультации и обмен мнениями. И даже принятые решения расходились по стране нечеткими, расплывающимися кругами: было признавать это, по правящий блок за три года так и не сумел создать единую по всей стране систему центральных и низовых организаций Народного единства. Если в Политическом комитете царила разноголосица по самым важным вопросам, легко представить себе, какая неразбериха творится на местах.

Стремясь заставить своего партнера по конституционному соглашению соблюдать «правила игры», ты воздействовал на него только своей добросовестностью, забывая или стараясь не думать о том, что в понятие «заставить» входит и волевое, силовое начало, предполагающее наличие средств принуждения — средств, которые, пусть даже они и не пущены в ход, тем не менее самим фактом своего существования побуждают партнера соблюдать договоренность. И вот теперь, когда чудовищный парыв, о котором предупреждал тебя Арайя (да только ли он!), с минуты на минуту может прорваться, все разговоры о миллионной армии трудящихся, готовой по первому зову... и так далее — вся эта успокоительная болтовня начинает звучать как бессмыслица. Ты сам не допустишь, чтобы эта безоружная армия вступила в тотальную войну с вооруженными силами. Достаточно было противнику это почувствовать — и он обнаглел. Противник умен, он понимает, что сейчас твоя единственная цель — выиграть время, дождаться измещения сил на законодательном фронте, чтобы поставить наконец вопрос о полноте власти...

И все же есть надежда, что трудное время благополучно минует. Военный флот и авиация паниадежны, озлобле-

ны, но есть же в армии здоровые силы, которые по-прежнему олицетворяют устойчивость конституционного процесса. Но-видимому, правы были те советники, которые полагали, что армия на поляризацию не пойдет. Есть Брэди, есть Паласиос, есть Аугусто Пиночет, есть корпус карабинеров Хосе Сепульведы, в решающую минуту они должны сказать свое слово и остановить, если надо, морских пехотинцев Мерино и парашютистов генерала Ли. Только не дать захватить себя врасплох, а еще лучше — заблаговременно показать пургистам, что республика не беззуба. А плебисцит выбьет почву у них из-под ног...

Альенде остановился, прислушиваясь. В гостиной было тихо: Чабела, вынавив свою горести, ушла, наверно, к себе, а Тенча — в спальню, где на стене чернеет железное распятие, оставшееся от его матери...

В проходной слышны были мертвые шаги: там возле телефона, стараясь не заснуть, ходил взад-вперед очной дежурный. На веранде возле чизкого плетеного столика вздыхала во сне Ака, верная добрая письма... Все было тихо вокруг, погашены окна в коттеджах, молчал влажный сад... но где-то далеко, у Сан-Фелипе, шла ненаская еще волна, и это требовало выяснения.

Альенде поднял телефонную трубку.

— Соединитесь с резиденцией командующего сухопутными силами и сообщите, что президент будет звонить через час.

Десять минут спустя Хосе доложил, что телефонистка разговаривала с самим командующим. Генерал Пиночет, видимо, был разбужен звонком и не совсем внятно ответил, что готов выслушать распоряжения президента.

Альенде не мог предполагать в этот поздний (или утренний?) час, что дон Аугусто, после бессонной ночи, готовился к выезду в Центр связи сухопутных сил, который должен был стать штабом переворота, и звонок с Томаса Моро смертельно его напугал.

Всю почь деп Аугусто метался как в лихорадке, пересчитывая варианты. А что, если Брэди, Паласиос и Арельяно, которых он вчера посвятил в свои планы, решили не рисковать, выдали его контрразведке правительства и к его подъезду уже подползает с приглушенными фарами машина, полная людей Жуапьяпа? Напрасно он не отправился почевать к сыну... впрочем, они бы его и там палили. А может быть, как это часто бывает на маневрах, кто-нибудь из первых его соучастников поднял свое соединение рапыше времени и в столице объявлена тревога? А что, если в зоне Каламы, за которую он всегда был неспокоен, полуночные отряды сольются с гарнизоном и там будет создан укрепленный район? А потом туда стекутся марксисты со всех концов страны, и митец захлебнется... А может быть, полуночные группы «индустриальных кордона» Сантьяго ставят сейчас на шоссейных дорогах баррикады из тяжелых грузовиков и наружное кольцо не сомкнется вокруг столицы?

Пипочет знал, что эскадра Мериндо уже вернулась в Вальпараисо и там, паверпо, идут бои. Знал, что «хуокер хаунтеры» генерала Ли уже стоят заправленные на взлетных полосах и ждут сигнала к началу ракетной атаки на Ла Монеду. Но черт его знает, этого идиота Мериндо, может быть, он завяз при высадке, был встречен шквальным огнем? Черт знает и этих бездельников-летчиков, вечно у них перед вылетом обшаруживаются неисправности...

Пипочет знал, что достигнута тайная договоренность с корпусом карабинеров и гарнизоном Ла Монеды, не новицаясь приказом генерального директора, перед началом атаки будет снят со своих постов. Во дворце останутся только сам президент и два-три десятка его телохранителей и приверженцев. Но кто знает, возможно, в одной карабинерской тамкетке Альбенде улизнет из дворца — с тем чтобы создать очаг сопротивления в самом преожиданном месте... А вдруг он и вовсе не явится утром в Ла Монеду?

Но тогда... тогда надо срочно предупредить Ли, чтобы нападению с воздуха была подвергнута и резиденция на Томаса Моро... Как скверно, как скверно, терзался дон Аугусто, что этот человек отказался переехать со всем правительством в бункеры Центра связи... Все было бы легко и просто тогда. Но, видимо, мы чем-то выдали свое петерение...

Поговорив с телефонисткой резиденции (у него еще хватило самообладания говорить хриплым, сонным голосом... но какая фраза была им произнесена, он даже не пытался вспомнить), дон Аугусто дрожащей рукой положил трубку на почной столик и некоторое время сидел на постели в неподвижности, оцепенело глядя в пространство. «Знает, все знает», — пульсировало у него в голове. — Пропало все, карьера, жизнь — все загублено...» Он приложил ладонь к ледяному лбу, постарался сосредоточиться. Что за неестественный, странный звонок... час времени отведен, чтобы оставался на месте... Нет, но тогда зачем же предупреждать? Через час можно оказаться возле границы... А может быть, на этом и строится западня? Вспугнуть, перехватить на дороге — других улик и не требуется!

Ночные звонки Альенде были ему не внове. В тот вечер, когда отставка Пратса была уже решена, дон Аугусто колебался, оставаться ли почевать дома. Остался — и был застигнут президентским звонком. Но не таким, как сейчас, стократ ужаснее: «Минут через десять у вашего подъезда будет машина. Вас ждет президент». Дон Аугусто никогда не забудет, каким он увидел Альенде в ту ночь. Весь в черном, как Мефистофель, смертельно бледный, Альенде сел рядом с доном Аугусто на диван и, пристально глядя ему в лицо, начал тихо и быстро о чем-то говорить, задавая вопросы и сам же на них отвечая. Речь шла об олигархии, о справедливом распределении благ, о толковании термина «экономические границы»... Дон Аугусто его почти не слышал. Мозг его жгла одна мысль: «Сегодня я был в

Военной академии, просматривал карты и письменные инструкции командирам колони. Наверно, все дело в этом». О бойке, что он лепетал тогда... и вдруг, совершенно не к месту пригласил президента на штабные учения, которые состоятся, как сорвалось у него с языка, «в приемлемое для вас, президент, время». Ему хотелось связать это приглашение со своим посещением Военной академии, но он не успел. Альенде удивленно замолчал, затем поблагодарил — и перевел разговор на другое. Так и остался дон Аугусто в сомнениях: то ли он сумел опередить вопрос президента, то ли пеленойшим образом выдал себя.

...Узнай Альенде об этих траханиях дона Аугусто, он задумался бы: а где же самооправдание изменника? Чем объясняет он для себя свою подлость, которой нет оправдания? И это был бы ложный вопрос: в душе дона Аугусто не оставалось места для моральных терзаний — во всяком случае, не больше, чем в душе звероящера, который, оцепившись шипами и роговыми пластинами и не спуская глаз со своей жертвы, готовится сделать верный прыжок.

29

Мануэла лежала на бетонном полу, подложив под голову свернутое пополам, и широко раскрытыми глазами смотрела в темноту. От холода невозможно было заснуть. Слышно было, как вздыхают и ворочаются, пытаясь как-то съежиться и согреться, девчонки. Одна только Тереса, крупная пожилая женщина, ровно и глубоко дышала в своем углу. Чипита завидовала ей: как она может так безмятежно спать? И холод ей виноват, и мысли о детях ее как будто не доимают. А может быть, как раз в этом спокойствии и есть выешая мудрость: не помогут же ее детям вздохи и слезы... Может быть, именно у таких простых людей и надо учиться терпению. Но «терпение»... Какое

тоскливое, какое церковное слово. Мануэла его неизвестна.

Если долго смотреть, внутренность помещения начинала наполняться сероватым, как зола, светом. Голые стены, потолок, такой же грязный, как пол, длиною, во всю стену, окно на высоте плеч. Сквозь окно не видно неба: стекла, забрашные решеткой, закраинены снаружи масляной краской. Сколько дней они здесь? Восьмое, девятое, десятое, только три дня, а кажется, что три года... Каролина, пожалуй, уже с ног сбилась, ее разыскивая. А может быть, Каролина ничего не знает? Занята своими газетными делами? Как же тогда Лус?

Совсем недавно, неделю назад, она возвела Лус на детский фестиваль. Для ребятишек Сан-Хуана был выделен автобус. Мест хватило, конечно, не всем: мальчишки остались стоять в проходе, Лус сидела на коленях у «мамы». Всю дорогу Мануэла рассказывала детям, чтобы они не шумели, как живут их сверстники на Кубе. Вдруг она услышала, что Лус тихонько всхлипывает.

— Ты что? — удивилась Мануэла.

— Ну да, — отвечала, давясь слезами, Лус, — скоро ты уедешь на свою Кубу, а у нас тут начнется война.

— Никакой войны не будет! — заверила ее Мануэла, и разговоры в автобусе прекратились: дети ждали, что ответит Лусите сестра. — Все будет очень хорошо... если мы не дадим в обиду дедунку Альенде.

И по ее команде ребятишки стали дружно скандировать:

— Альенде, Альенде, лос ниньос те де Фьенден! Альенде, Альенде, дети тебя защитят!

На площади Конституции собрались тысячи нарядно одетых детей из предместий. Положим, все их праздничные платья и костюмы были перенесены из родительских обиосков, и все же в этой пыльной толпе с трудом угадывались замарашки и оборвушки, копошившиеся в будние

дии па пустырях и свалках окраин. Ватага из Сан-Хуана шумно захлояла в ладоши, когда Нья Пруса поднялась на трибуну и звонким голосом начала читать послание детей Сантьяго президенту Альенде, кардиналу Энрикесу, генералу Пиночету.

— Мы, дети Сантьяго, — читала Каролина, — хотим жить в мире, хотим продолжать жить!

И все-таки сердечко Лус томилось в тревоге.

— Мама, — сказала она пепелотом, — а если будет у нас война, то мы с тобой пойдем убивать друг друга?

— Да что ты все западила «война» и «война»? — сердито отвечала Мануэла. — Ну, скажи, кому нужна война? Крестьянам воевать никогда, они работают на полях. Рабочим воевать тоже никогда, они заняты на фабриках и рудниках. Война никому не нужна. Видишь, все дети, сколько их есть на площади, вместе хлопают в ладоши, и никто не хочет ссориться.

— Дети не хотят, — вооружила Лус, — а солдаты хотят. И ничего с ними не сделаешь.

— Солдаты тоже запяты, — сказала Мануэла, — они защищают родину.

— Все время?

— Все время.

— И даже ночью?

— И ночью тоже.

Лус вздохнула и перестала изводить «маму» вопросами. Мануэла знала, откуда это идет: это Мария Эстела, чтобы забыться, прикладывалась к торлыпку бутылки, а выпив, бормотала: «Господи, хоть бы скорее гражданская война, хоть бы скорее вы все поубивали друг друга...»

Концерт сестрочек очень понравился. Выступали знаменитый Пин Пон, певица Пачи, ансамбль «Лос Чемитас», кукольный театр Технического университета... Восемь лошадок из цирка «Лас Агиас Уманас» играли на площади в футбол, плясали комические марионетки, валял дурака

и получал затрешины паяц. Самоубийцы-акробаты выделявали пируэты на не очень большой высоте. А в заключение хор «Дети и родина», находящийся под шефством корпуса карабинеров, пел: «Мы друзья, мы братья, даже когда деремся...»

У Мапуэлы щемило сердце, когда вокруг дружно смеялись и визжали в ответ на незатейливые шутки клоунов. Что-то тревожное было в тоне всего фестиваля, в его отчаянном миролюбии... но выразить это словами Чипита не могла.

В конце праздника к пим пробралась Каролина.

— Ну, как, девочки мои,— спросила она, глядя Луситу по голове,— правится вам здесь?

— Очень! Очень! — сияя, отвечала Лусита.— Ты здесь самая главная, правда? Ты все это придумала?

Каролина засмеялась невеселым смехом, и Мапуэла искося взглянула на нее. Она пошмыгала, какого труда стопло обеснечить безопасность на плоцади: вокруг фестиваля, как мухи над сладким, вились неприметные людышки со смертью в глазах. Откуда их взялось так много?

Концерт закончился, и дети толпами хлынули с плоцади. Мапуэла собрала своих подонечных, пересчитала их, заставила взяться за руки, пошла к автобусу.

— Тебе помочь? — спросила Няя Пируса.

— Иди сзади, чтобы никто не отстал.

В толкотне они довели детей до старенького, расшатанного автобуса. Мальчика постарше Чипита послала к передней двери (которая, разумеется, не закрывалась) следить, чтобы никто не выскочил с той стороны, сама стала подсаживать младших. И тут обратила внимание на то, что у заднего бампера, прислонившись к автобусу боком и по-птичьи озираясь, стоит худощавый низкорослый парень.

— Эй! — крикнула Чипита, еще не веря.— Ты что здесь делался?

В руках у парня была грязная тряпка, от которой резко пахло бензином, но тряпке бежал светлый, почти бесцветный огонь.

— Ах ты, подонок! — вскрикнула Чинита и, выхватив у него эту тряпку, припяллась хлестать его по лицу. — Вот тебе, вот тебе, грязный трус!

Нарень закрылся руками и нытая к толпе.

— Открой лицо! — кричала Чинита. — Ну, открой же лицо, что ты боишься? Погляди детям в глаза!

— В чем дело? — спросил, подбегая, боец социалистической милиции.

— Этот негодяй... — задыхаясь, Чинита продолжала хлестать парня справа налево, — этот негодяй... он засовывал горящую тряпку вон туда!

Она никак не могла вспомнить, как может называться входное отверстие бензобака. Получив передышку, нарень бросился было прочь, но дежурные, подоспев, схватили его под локти. Опустив руки, Чинита уронила тряпку и замахала.

— Ну, ну, — обняв за плечи, утешал ее боец. — Ты смешная девчонка, что же ты плачешь?

Но Мануэла продолжала плакать, повторяя: «Сжечь хотел, сжечь...»

...Тереса заворочалась и застонала. Чинита, стараясь не шмыгать носом, вытерла пальцами бегущие по щекам слезы. Слышно было, как за дверью поскрипывают по бетонному полу тамбура ботинки часового. Гауптвахта аэродромной роты — вот как это называется. Постыдились бы ставить солдата стеречь жепиции, закрыли бы дверь на ключ — и все. Так нет, торчат там, сменяются, бездельники в синих касках, переминаются с ноги на ногу, воображают, что делают важное дело. Однажды так ухитрился пронесверлить в двери дырочку, подглядывал потихоньку, все надеялся, наверно, увидеть такое, чего в жизни не видал. Девчата стали затыкать эту дырочку бумагой, но он ее

вышихивал назад. Пожаловались офицеру, и это безобразно прекратилось, но зато часовые стали злые как звери, в туалет выпустить — не достучишься. Кричат: «Ходите все гурьбой, потаскушки, а то потом будете воинить, что вас здесь поодиноке насилиуют!»

Допрашивали по два раза в день в соседней комнате. Там хоть на стул можно присесть, а то на полу сидеть — ноги затекают. Допросы вели офицеры в зеленых мундирах. Всего таких допросов было шесть. Каждый раз, когда Мануэла возвращалась в «общую залу», девушки, сидя на полу, с напряжением вглядывались ей в лицо: били? не трогали? О допросах в казармах морской пехоты ходили страшные слухи: рассказывали, что после таких допросов нечего было даже предъявлять родственникам, тела вывозили в мусоросборочных машинах и где-то сбрасывали в море или закапывали в песок. Но то было в зоне Вальпараисо, в царстве адмирала Меришо. Здесь же, в «Эль Боске», к девушким не прикасались и пальцем, кормили хоть и просто, фасолью и хлебом, но сытно.

Около двери на полу стопочкой были сложены книги — если это можно было назвать книгами. Мануэла перелистывала их из любопытства (что читают штрафники «Эль Боске»?). Это были «Воспоминания повстанческого капитана», написанные беглецом с Кубы Жаком Лагосом, журналы комиксов «У-2» («для детей старше двенадцати лет, которым нравятся увлекательные военные приключения») и прочая ерунда.

На первом допросе, после бессонной ночи с седьмого на восьмое, когда девушки, потрясенные всем прошедшем, то принимались плакать, то пели, то лихорадочно болтали, то хором кричали: «Отправьте нас по домам! Вы не мужчины! Отправьте нас по домам!», — так вот, на первом допросе Чинита, подавленная страшным, фантастическим сознанием того, что ее, без пяти минут студентку, допрашивают члены военного трибунала (ей почему-то казалось,

что это уже военный трибунал), подавленно отвечала на каждый вопрос. Естественно, при этом она не называла никаких имен и придерживалась тщательно продуманной версии.

— Никого на фабрике толком не знаю, так как год я работала, пришла проводить старых подруг и заодно узнать, нет ли возможности поступить на работу.

Ей показалось неподобающим говорить, что она едет учиться в Гавану: а вдруг попадется отъявленный нутчист? Такие при слове «Гавана» звереют.

Густоволосый, не моргнув и глазом, привял ее объяснение, а затем оба допрашивающих с холодным, насмешливым любопытством на нее уставились.

— Так, значит, вы ищете работу, сеньорита? — спросил густоволосый.

— Да, я сейчас безработная.

— Ну, это, разумеется, многое объясняет. А почему вы хотите вернуться на фабрику, которую сами покинули год с лишним назад?

Минуэла объяснила, что тогда дела на Леру были совсем плохи: переходный период после национализации, а сейчас, как говорят, исправились.

В «общей зале», пережив запово все перипетии первого в жизни допроса, Чишита устыдилась своей робости («Да что они, в конце концов, ведут себя, как оккупанты? Какое вообще у них право меня допрашивать?») и решила действовать по-другому.

В том, что рано или поздно ее освободят, она не сомневалась: стрелять она в жизни никогда не стреляла, ее, как и других женщин, бросавших в солдат камни и кричавших «Убрайтесь! Фашисты!», просто загнали прикладами в автобус. Единственное, к чему они могли подкопаться, — это то, что она работала с фабричными комсомольцами, во в этом как раз ничего противозаконного не было, хотя и ненужного для этих господ — тоже.

Поэтому на втором допросе Чинита наотрез отказалась отвечать и потребовала немедленного освобождения.

— Имейте в виду, — дерзко сказала она, — вам еще придется передо мной извиняться.

Офицеры переглянулись, плеший гадко усмехнулся, а густоволосый сказал:

— Мы охотно извинимся за все причиненные вам неудобства, сеньорита, если убедимся, что вы ни в чем не замешаны. Но, увы, вы сами заставляете нас подозревать, что все не совсем так, как вы в прошлый раз говорили.

Гордо отвернувшись, Мапуэла молчала.

— Вы уверяете нас, что пришли искать на фабрике работу, вы, студентка Гаванского университета? Это заставляет нас подозревать что-то очень нехорошее. Или, быть может, вы разочарованы учебой в Гаване? Вас там плохо кормят? Хуже, чем здесь? Если так, мы немедленно отправимся в офицерскую столовую, и военные летчики с удовольствием послушают ваш рассказ.

Плеший улыбался. Чинита молчала.

— Значит, вы довольны учебой на Кубе? Тогда ответьте нам, с какой целью вы появились на территории фабрики Леру. И ответьте так, чтобы мы вам поверили и немедленно вас отпустили.

Мапуэла молчала.

Обдумав за ночь все хорошенько, она пришла к выводу, что совершила ошибку: ей нечего скрывать, что она едет учиться на Кубу, — напротив, она может с гордостью заявить об этом кому угодно, пусть даже самому убежденному пурписту.

— Да, я, Мапуэла Сото Рамирес, дочь простого чилийского рабочего, буду учиться в одном из лучших университетов мира, и стану учительницей, и стану учить детей бедняков. Я не сказала об этом сперва, потому что не хотела, чтобы вы впутали это в ваши грязные домыслы. Я чилийская комсомолка и пришла на фабрику Леру, чтобы

встретиться со своими товарищами по организации. Ваш налет застал меня там совершенно случайно. Может сколько угодно искать здесь состав преступления, вам это не удастся. Я требую, чтобы мне дали возможность встретиться с моей сестрой. Я хочу поставить в известность президента республики о том, что здесь происходит. И больше до своего освобождения я не отвечу ни на один вопрос.

— А вот у нас иные сведения,— возразил волосатый.— То, что вы сейчас заявили, несколько приближает нас к истине, и нам осталось сделать всего несколько шагов.

Раздался рев взлетающего самолета, и Мануэла презрительно посмотрела на плешилого, который втянул голову в плечи.

— Ваш младший брат,— продолжал, переждав шум, другой,— активный боевик МИР, находится, по нашим сведениям, за пределами Сантьяго и выполняет задание этой организации по подрывной работе в рядах вооруженных сил. Вы же, сеньорита, должны хорошоенько подумать, прежде чем вновь приводить нас в заблуждение. Дело обрачиваются для вас довольно серьезно. На первом допросе вы сказали нам, что Родольфо уехал в деревню за продуктами. Это ложь, из которой тем не менее явствует, что вы имеете представление о роде занятий вашего младшего брата. Советуем в следующий раз рассказать нам все, что вы знаете о ячейке, в которой он состоит, о связи между нею и персоналом Теру и о вашем месте в этой системе. А сейчас ступайте отдохнуть.

На четвертом допросе Мануэла решительно отвергла эту версию, а на пятом вновь отказалась отвечать на какие бы то ни было вопросы до встречи с сестрой.

Между тем число арестованных работниц в «общей зале» уменьшилось: из пятнадцати женщин осталось всего пять. Кроме Мануэлы и Тересы (эта женщина упорно отказывалась отвечать на вопросы о своем старшем сыне, который военных очень интересовал) две молоденьких,

как и Чинита, девочки из молодежной социалистической организации (одну из них, Эстелу, держали потому, что у нее руки в момент ареста были в оружейной смазке, а жених другой, Маргариты, стрелял по солдатам, но схватить его им не удалось) и одна замужняя женщина (её звали Ноэми), член комиссии по охране Перу.

Настроение у всех заметно упало: девочки плакали, Эстела без конца повторяла, что не могут человека отдать под суд за то, что у него перепачканы руки, а Маргарита страдала молча, боясь не столько за себя, сколько за своего жениха. Чинита очень им обеим сочувствовала, особенно Маргарите: у нее самой жениха никогда не было, но она понимала, что значит бояться за любимого человека. Скажем, Хайме Лавадос: она его уже не любила, но все равно ее волновало, удалось ему уйти или нет. Впрочем, на месте Хайме ей все чаще рисовался тот долговязый, которого она видела вместе с Альецде: у него такие ласковые и в то же время дерзкие глаза...

Сегодняшние допросы поразили Чиниту: во-первых, к ней стали обращаться за «ты» («Послушай, ты, нам надоело с тобой возиться!»), а когда Чинита высказалась свое возмущение, посыпалась грубая, плоццадная брань. Суть этой брань, которую Чинита даже до конца не поняла, сводилась к тому, что таких, как она, следовало бы пускать по солдатскому кругу, прежде чем вести на допрос, и, чего доброго, она этого добьется.

Чините стало странно при виде двух остервенело орующих на нее мужчин, и она, против воли своей, заплакала. Давясь слезами, она сама на себя злилась: трусиха несчастная, Рамона Парра на твоем месте отхлестала бы их обоих по щекам, и пусть убивают, пусть, если посмеют!

Допросы поминутно прорывались: то один из офицеров выходил, а второй, барабаня пальцами по столу, молча его дожидался, то приходили какие-то люди (один из них, в чине капитана, подошел поближе к столу, посмотрел на

Мапуэлу, съежившуюся на своем стуле, потом на обоих офицеров, засмеялся и сказал: «Делать вам, я вижу, нечего»), да и самолеты стали чаще взлетать и садиться.

И вот третий день ее цеволи закончился, и наступила очередная холодная ночь. «Подумать только,— размышила, ложка в углу, Чинита,— и все это происходит со мной, в моей стране, было бы это где-нибудь на чужбине — все не так обидно».

От поноса нахло машинным маслом, табаком, отцом, и Мапуэлу тихонько поплакала.

«Ведь это же звери какие-то, а не люди,— говорила она себе,— как они на меня кричали, какие страшные слова говорили, какие страшные были у них глаза!»

«А ты что же думала? — возражала она себе.— Это борьба, в конце концов! А то на митингах выступаешь: остановим фашизм, а что такое фашизм — не почувствовала еще на своей коже».

«Да, но ведь это они делают, когда власть не у них. А что они станут творить при своей власти?!

Вдруг Тереса приподнялась и будничным, совершенно не сонным голосом сказала:

— Женщины, слушайте. За нами идут.

Все повскакали с мест, как будто и не спали.

И точно, в коридоре гремели шаги. Какой-то военный решительно шел в сторону «общей залы». Остановился у дверей, что-то сказал часовому. Новысия голос: видимо, тот заснул.

Открылась дверь — и тут же вспыхнул яркий, бьющий по глазам свет.

У выхода стоял капитан BBC — тот самый, которого Чинита видела на своем последнем допросе. Он был весел и, кажется, немножко пьяни.

— Прошу прощения, сеньоры, что я без разрешения врываюсь в вашу спальню. О, вы спите одетыми, какое разочарование. Впрочем, тем лучше. Быстро вставать!

Эти слова были сказаны таким тоном, что повторять их дважды не пришлось.

— И чтобы ни одной тряпки на полу не осталось! — весело осклабясь, говорил капитан. — Это вам казармы, а не бордель. Готовы? К выходу шагом марш!

— Куда нас ведут? — стараясь казаться спокойной, спросила Нофия.

— В лучшее будущее, сеньора! — бодро отвечал капитан. — В лучезарное, завтра... — Он взглянул на часы. — Точнее, уже сегодня...

Молча, в сопровождении двух солдат и капитана, женщины гуськом, почти наугад в темноте, ориентируясь лишь на топот ног идущего впереди конвоира, пошли сначала по утоптанной площадке, затем по бетону, потом по раскисшей от сырости земле. В споре виднелся тускло освещенный гараж с распахнутыми воротами, там стояли две машины — пожарная и микроавтобус, их мирный вид не вязался с прохаживавшимися у ворот часовыми. Остановились только тогда, когда уткнулись в теплый бок стоящего автобуса.

Казалось, в вышине шумят листвой огромные деревья, а может быть, это просто шумело в ушах от быстрой ходьбы.

— Заходите смелее! — скомандовал капитан. — Или, может быть, вас подсадить?

Вошли, расселись. Два солдата залезли вместе с ними, капитан остался снаружи.

— Километров пять отъедешь... — пегромко сказал он водителю.

Но дальше, сколько Чинита ни вслушивалась, она разобрала только «аль карахо», что на грубом мужском языке означало примерно «к чертовой матери», после чего капитан резко махнул рукой.

Чинита похолодела. Боже мой, по за что? Разве можно так просто? За что?

Не заводя мотора, шофер что-то спросил.

— Выполняй! — рявкнул капитан. — Завтра о них никто и не вспомнит!

Мотор зарычал, и машина, поводя крутыми боками, переваливаясь, покатилась куда-то в глухую темноту, вниз.

Из женщины только одна Нония старалась бодриться; все остальные подавленно молчали.

— «В чилийской тесной темноте,— громко прогекламировала Нония,— прерывисто бежит машина, шоферглядит вперед и курит, и мы среди почных мешков...»

Мешки и правда имелись — точнее, кипы прессованного сена, они были сложены в заднем конце автобуса и закрывали окна, как бруствер. Для Мануэлы этот запах лежалого сена был запахом детства: так пахла когда-то куртка ее отца...

— Ничего, девочки, все хорошо,— сказала Нония.— Нас, наверное, перевозят в Сантьяго. Там хотя бы все по-быстрее выяснятся. И не будем спать на каменном полу.

— Это правда? — спросила Эстела солдата, который сидел впереди нее, по за спиной Чиниты. Этот солдат что-то жевал, от него дурно пахло.— Это правда? Нас перевозят в Сантьяго?

— Еще чего,— буркнул солдат.— Станем мы бензин жечь на каких-то мокрохвосток. Вот отъедем подальше и выбросим на обочине.

— Да я тебя...— Тереса поднялась и внушительно двинулась в сторону солдата.— Да я тебя самого сейчас...

— Тихо, тетка, тихо! — крикнул солдат, вскочив, и цепкнул затвором.

— Ну, связался,— проворчал другой солдат, сидевший в задней части автобуса.— Потерпеть не мог со своим языком...

Автобус резко затормозил: отъехали совсем немногого.

— Вылезай! — крикнул первый солдат, распахнув дверь, и спрыгнул вниз, в темноту.

С замирающим сердцем Чипита ступала на смутно белеющую в темноте каменистую обочину. Где-то рядом, в полушиге, чувствовался глубокий провал, оттуда тянуло сыростью.

— Ну, марксистки, — сказал дурио нахущий солдат, когда все женщины站ли рядом на краю обочины, — више счастье, что наш капитан slab по женской линии. Бегите отсюда, да пожинее, пока я не передумал. Вопросы есть?

— Сыпок, — раздался в темноте голос Тересы. — Сыпок, да разве с матерью своей, с сестрами своими ты бы так поступил? Куда же мы пойдем, темнота кругом, хоть глаз выколи.

— Молчи, мамаша, — сказал, подходя, второй солдат, — с вами еще по-божески поступают. Тут такое начинается, не до вас... На дороги выходить не советую.

— А что происходит, ребята? — спросила Нония.

— «Что, что»... — передразнил ее первый. — Кубинцы и русские высадились на всем берегу, воевать из-за нас едем.

— Врешь ты все! — крикнула Чипита.

— Ах ты... — коротко хакнув, солдат ткнул ее прикладом в живот. Чипита удивленно ойкнула, медленно опустилась на колени, потом упала ничком, и все номеркло у нее в голове.

Очиулась она от сырости, лежа в высокой траве. Небо над нею посветлело, сеялся мелкий дождь. Остро пахло листвой экалипта.

Чипита шевельнулась и застонала от тяущей боли. Подруги обступили ее, наклонились.

— Подняться можешь? — спросила Нония. — Больно, я понимаю. Но мы слишком близко к плюссе.

Чипита приподнялась и взглянула виерх, где почти у самого неба была кромка насыпи. По шоссе в сторону Сантьяго шли один за другим грузовики с солдатами.

Родольфо проснулся около двух часов ночи и долго не мог опять, где находится. Низкий потолок, сколоченный из грубых, перепачканных известкой досок, слабый желтоватый свет откуда-то снизу — и глухой мощный гул, от которого постель его мелко подрагивала. Он протянул руку, с недоумением провел пальцами по потолку, потом свесил голову с верхних нар, на которых лежал: внизу, у стола, при свете кармашного фонарика сидел и что-то писал Виктор Бала Эскондида. Все сразу встало на свои места, стало спокойнее. Родольфо сунул руку под подушку, напротив завернутый в тряпку револьвер. Чувство безопасности и силы пахнуло на него, и он с ребяческой гордостью подумал: «Ну, нет, мы вам так просто не дадимся. Таких ребят так просто вам не взять».

— Это что шумит, океан? — спросил он, чтобы услышать голос Виктора.

— Нет, океана здесь не слышно, — отозвался, не поднимая головы, Бала Эскондида. — Это завод.

— Нефтеперегонный?

Бала положил карандаш, машинально повернулся к оконику, которое было плотно запавшено лоскутом ткани.

— Да пет, пожалуй. Чему там шуметь. Здесь много заводов.

Они нашли приют в Валье Верде, рабочем поселке на окраине Вальпараисо: выехать из города им так и не удалось. Город со временем превратился в Карденаса был практически оккупирован военными моряками. Виниу, на равнине, хозяйничала морская пехота, жандармские патрули поднимались даже сюда. Но здесь, в Валье Верде, приказы командования зоны не расклеивались на стенах: здесь был островок рабочей власти, которая привила Виктора и Ро-

дольфо под свое покровительство. Бала нашел контакт с местной «командо комупаль» и за считанные дни стал там своим — и очень авторитетным — товарищем.

— Авторитет надо носить с собой, — говорил он Родольфо. — Не зарабатывать же его каждый раз заново.

Ему доверили командование целой боевой группой, в которую, на правах адъютанта, что ли, входил и Родольфо. В определенном смысле для них обоих это было «продвижение по службе». Вначале Родольфо думал, что Бала воспользовался именем команданте Рауля, которое, несомненно, было известно и здесь. Но как-то раз, когда Родольфо в кругу своих новых товарищей обмолвился, что стрелять из винтовки его учили сам команданте, Бала резко оборвал его и потом делал вид, что Родольфо вовсе не существует. А вечером без всяких обижающих сказал ему так:

— Послушай, Фито, я должен тебя предупредить. Не серди меня больше, не уломицай этого имени. У меня к этому человеку накопился целый ряд вопросов, на которые, боюсь, ему будет трудно ответить.

Родольфо был ошарашен.

— По позволь... Ты же сам всегда говорил...

— Мало ли что я говорил... — с досадой ответил Виктор. — А чтобы тебе было яснее, подумай хорошенько: ты ведь знаешь, что пас здесь ждали жандармы?

Родольфо кивнул.

— Им известно было место встречи, известны обе наши явки, которые мы получили от шефа. Но это еще полдела: место мог под штыками выдать кто-нибудь из моряков, явки могли провалиться сами по себе, ты же видишь, что здесь вытворяет Мерино. Ну, а наши с тобою физиономии? Кто их мог здесь видеть? Откуда здесь может быть известно, что у меня не сгибается в колено пога? На обеих явках ждали прыщавого и хромого... «прыщавого» — это, извини, про тебя. Как ты это все истолкуешь?

Родольфо молчал.

— То-то и оно. Очень мелкий шутник паш с тобою бывший шеф. Вот и хочется мне доверительно у него выяснить...

— Подожди, — перебил его Родольфо. — Но какой ему смысл? Он же мог это сделать и там, в Сантьяго. Он же мог всех наших ребят...

— А вот это уже другой разговор, — ответил Бала Эскондада. — Ох, хотелось бы мне думать, что он просто мечтал избавиться от меня, да концы с концами не сходятся. Скажи, брат Родольфо, шеф когда-нибудь беседовал с тобой... прежде чем доверить тебе такое важное дело?

— Было как-то раз, — подумав, сказал Родольфо.

— Ну, и чем он интересовался?

— Так, пустой разговор, о семье.

— Рассказал ты ему, что твоя сестренка работает в «Сигло»?

— Рассказал, — с удивлением ответил Родольфо. — А что здесь такого?

— Вот, приятель, после этого мы с тобой и отплыли. Соображаешь?

— Нет, — честно признался Родольфо.

— Я тебе говорил, что твои отказались встречаться с Карденасом?

— Мои? — переспросил Родольфо. — А, ну, в смысле... Да, говорил.

— Вот так. А теперь думай, думай.

Родольфо вспомнил лицо команданте, его острые, глубоко висящие глаза, тихий голос, руки с длинными пальцами, перебиравшими карандаши на столе... Да, пожалуй, он очень интересовался Пируситой. Этакий страшный, тягучий интерес под маской отвращения и скучи...

— Понял? — спросил Бала Эскондада, пристально глядя ему в глаза. — Привыкай к этой мысли, привыкай. Боюсь, что после победы пролетарской революции нам будет стыдно кое о чём вспоминать. Я бы и не стал мутить

тебе душу, но ведь надо это как-то искупать! Ничего по поделась, было...

И подумав, добавил:

— Но мы с тим еще встретимся. Непременно.

...Родольфо повалился немножко, потом спустил с пар поги, легко спрыгнул вниз. Сел на нижнюю койку.

— Не спится? — спросил Бала Эскондидо.

— Да, что-то такое... Пойду пройдусь.

Уже в дверях Родольфо обернулся и застенчиво спросил:

— Послушай, Бала, а что ты там пишешь?

— Стихи, — отвечал, не поднимая головы, Виктор. — Настоящие стихи. Неруда уже не молод, надо кому-то, погибаешь ли, очередную Нобелевскую премию зарабатывать для страны.

Так и не появив, шутит Бала или говорит серьезно, Родольфо потоптался в тесном тамбуре и вышел на улицу.

Ветерок, весь пропитанный водяной пылью, заставил его поежиться и поднять воротник куртки. Подойдя к павесу, Родольфо достал из нагрудного кармана сигарету, отвернулся к стене, чиркнул спичкой.

И вдруг дощатая стена перед ним ярко вспыхнула и стала белой. В первую секунду Родольфо показалось, что ему выстрелили в затылок — так сильно резануло по глазам. Отскочив от стены, он оказался в преображенном мире: ряды дощатых лачуг ярко светились, качели, бочки, камни очагов — все как будто сделано было из пачищепного серебра. Отраженным светом полыхало забытое кем-то на веревках белье. Склоны горы, угольно-черный, был подернут сединою светящейся росы.

Родольфо в замешательстве обернулся — и тут же, черты хнувшись, поднял локоть и заслонил рукою глаза. На океан, лежавший внизу, невозможно было глядеть: по нему перекатывались огромные огненные шары.

Опомнившись, Родольфо кинулся в дом.

— Бала,— задыхаясь, отчего-то шепотом проговорил он.— Бала, корабли! Корабли, Бала!

— Ты с ума сошел,— буркнул, не оборачиваясь, Бала Эскоцида.— Привиделось тебе. В море ушли корабли, на маневры. Трупы сбрасывать повезли и с американцами танцевать гого.

Бала имел в виду традиционные маневры: пять американских военных кораблей ежегодно совершили плавание вокруг Южной Америки, по пути проводя учения с кораблями южноамериканских стран. Как раз сегодня подошла очередь чилийского флота.

— Ну как они могут отказаться от своего счастья?

Не слушая Виктора, Родольфо шарил под подушкой. Достал револьвер, развернул.

— Да вставай же, Бала! — с отчаянием крикнул он.

Виктор посмотрел на него и прислушался. «Та-та-тата», прострекотала где-то далеко очередь.

Бала выругался и, сдернув с гвоздя висевший на стено карабин, кинулся к дверям.

Когда они выскочили на крыльце, возле их хибары уже стояли люди.

— Корабли вернулись,— сказал кто-то.

— Вижу,— резко ответил Бала, глядя в сторону океана. Свет прожекторов как будто не слепил ему глаза: беззвучно шевелил губами, он пересчитывал корабли.

— У Морского училища стреляют,— послышался еще голос.

— Слышу, не глухой! — ответил Бала.— Быстро, парни, построились. Нам вниз, к Широкому пляжу. «Пикап» на ходу?

— Бензину мало,— отозвался голос из строя.

— По туда хватит?

— Хватит, пожалуй...

— Тогда порядок. Бегом мара!

И через минуту «пикап» бесшумно (экономия бензин,

водитель пускал его пакетом) помчался вниз, к казармам полка «Майпо». Фары включать не надо было: кусты, камни и повороты — все высвечивалось прожекторами с военных кораблей.

— Задача ясна? — негромко говорил Бала Эскондида. — Нельзя позволить им отрезать предгорья. Надо связать им руки там, внизу.

Родольфо, сжимая револьвер, сидел рядом с командиром. Он с радостью прислушивался к себе: сердце билось размозглено, вот только руки, сжимавшие револьвер, пемзного цвета.

Между тем внизу уже во многих местах разгоралась стрельба. Пулеметные очереди слышались и сзади, оттуда, где находился нефтеперерабатывающий завод.

— Они как будто читали наши инструкции... — буркнул кто-то.

— Спокойно, без паники, — сказал Бала Эскондида. — Им в гору, нам под гору. Их гонят, мы сами идем.

Впереди, развернутый поперец дороги, стоял джип морской пехоты. Возле него суетились моряки.

Резко взвыгнули тормоза.

— Ставь бортом! — крикнул, нагнувшись, Бала. — Эй, Чоло, делай, как они!

Машинка, вильнув, перекрыла дорогу. Бойцы, перепрыгивая через борт, отбегали к обочине.

— Не прятаться за машиной! — командовал Виктор. — Рассыпаться и залечь! Стрелять по команде!

Он пригнулся и, крепко схватив за рукав Родольфо, потащил его за собой к лежащему у обочины камню. Рухнула на землю, повалил рядом с собой Родольфо и, ирохрипев ему на ухо: «Ты что, кретин?», прикрыл рукою голову.

— Ну, здесь-то они застрянут... — проговорил он, лежа на земле. Родольфо подумал даже, что он улыбается. — Каль, каску не взял...

— Бери мою! — Родольфо запечатлился.

— Лежи! — рявкнул Виктор. — Пусть отстреляются, Им все равно идти, а нам уж... некуда.

Лежка за камнем, краем глаза Родольфо видел, как морские пехотинцы, пригнувшись, вперебежку, двинулись к нему, как, припадая на колено, стреляли и снова двигались. Самых выстрелов Родольфо не слышал, он только чувствовал, как сверху его осыпает каменное крошево. Норазительно, сколько щебенки выбивали обычные винтовочные пули.

Подождав немного, Родольфо выставил руку с револьвером, выбрал на мушку ближнего к себе пехотинца, уперся поудобнее... раздался легкий хлопок, фонтан земли высотою сантиметров в десять взметнулся прямо перед ним, и тугой мяч горячего воздуха ударил ему в лицо.

— Задело? — спросил деловито Виктор.

— Нет, — пробормотал Родольфо, отшевыпалась, — глаза только запорошило.

— А ты протри глаза-то, протри. Ну, сейчас они у нас поползут. — Виктор зашевелился, изготавлив карабин. — Огонь! — крикнул он и выстрелил сам.

— Ну, что, фашистская мелочь? — приговаривал он, стреляя. — Ну, что? Усвоили? Здесь проходит... граница революции... социали?

Родольфо тоже стрелял, плохо целись и еще хуже соображая, попал он или не попал. Он тоже что-то кричал, но свое: от привычки сквернословить его в свое время отучил отец.

Вдруг он почувствовал, что Бала Эскондида на него смотрит. Он покосился — Виктор вновь лежал лицом на земле и что-то шептал.

— Ты что? — спросил его Родольфо.

— Если что... — хрюнуло дыша, променял Бала, — если со мной что... ты эту сволочь найди...

Изо рта у него толстой струей полилось черное, Родольфо охнул и привстал. Но тут на голову ему обрушился

страшный удар, и он почувствовал, что камнем падает в глубокую яму.

...Очнулся он оттого, что его потащили за ноги. Ремешок каски лопнул, каска осталась на дороге, и непокрытая голова заколотилась по мелким камням. Родольфо застонал.

— Да он живой! — весело крикнул кто-то возле его лица, и Родольфо открыл глаза.

Он увидел бледное рассветное небо и склонившиеся над ним два лоснившихся от пота лица под шлемами. Это были солдаты мятежного полка «Сильва Пальма».

— Ух, ты, живуч, куло верде, зеленая задница!

Так Фито дразнили еще в школе, когда хотели особенно сильно задеть. Куло верде была оскорбительная кличка индейцев, она досталась Фито из-за смуглого цвета кожи.

Родольфо попытал, что его пинают ногами. Он попытал это по движениям мориков, которые то согибались, то выпрямлялись, махая при этом руками, но боли не чувствовал, только чувствовал, что тело его встряхивается, как полупустой мешок. «Неужели все,— с тоской думал он,— неужели все?»

В казармах его обернули красным флагом и били, били вновь, а он все смотрел и не терял сознания. Удары были страшные, Родольфо понимал, он даже чувствовал, как все внутри него превращается в теплую жижу, но боли не ощущал и думал одно: «Вот так же отда... так же отда...»

Потом то, что колыхалось у него перед глазами, стало чернеть по краям, оплывать, и он перестал что-нибудь видеть. Но где-то во тьме сощащегося кровью мозга стучала мысль, что он жив и будет жить, будет... что ему очень надо жить.

Маленькая Лус была уложена на единственную в квартире Сесара постель — здесь же, в гостиной, которая служила одновременно спальней, столовой, а временами и со-вместительству и кабинетом Каролины. Накрытая клетчатым пледом, девочка спала, разомлев от тепла и уюта, со спутанными черными волосенками. Ее смуглое лицико, в котором, пока еще ченено, проступали гордые арауканские черты, бесстыдно хмурилось во сне.

Сесар по-стариковски подремывал, сидя на неудобном стуле рядом с постелью. Каролина, пристроившись за письменным столом у телефона, напряженно ждала звонка.

Каролина еще не знала, и знать не могла, что в эти самые минуты сестрёнка ее смотрит из загородной темницы на ползущие по шоссе грузовики, а в Вальпараисо уже погашены прожектора кораблей, город погрузился в угарино-красную тьму, и брата ее, окровавленного и хрипящего, волокут за ноги по каменистой дороге развеселые молодцы адмирала Мерчио, а здесь пеподалеку, в казармах, добивают штыками рапеппых в перестрелке солдат... и унтер-офицерская школа корпуса карабинеров держит круговую оборону, яростным огнем отбивая атаки мятежников (курсанты будут держаться до тридцатого сентября)... и гибнут верные правительству красиры в Вилья-дель-Мар и пехотинцы в Сан-Бернардо.

Наредка Каролина поднимала голову и смотрела на Сесара — как на впервые и при странных обстоятельствах увидевшего незнакомца. Ее удивляло, что руки Сесара, которые она всегда считала узкими и холеными, оказались большими и прекрасными, вены узловато набрели на них — возможно потому, что Сесар по-деревенски держал их брошеппыми на колени. Хотя кому, как не ей, знать его руки!

В мастерской за портьерой слышны были шаги Сариты.

Ей тоже пришлось сегодня покинуть свой дом, сотни таких, как она и Каролина, коротали эту ночь под чужими крышами, моля не господа, нет, в бога они не верили, моля эту ночь, чтобы она поскорей миновала. К Сесару она отнеслась с враждебной любезностью: холодно и изысканно поблагодарила его за приют и, казалось, прочь о нем забыла. Беспокойство ее проявлялось в том, что она ходила из угла в угол маленькой квартиры, трогая руками и подолгу рассматривая каждую вещь. Остролицая, рыженькая, с залихватски подведенными глазами и с сигаретой в длинных, первых пальцах, вся богемная, она вела себя здесь, как дома. Портрет Каролины, исполненный акватинтой, особенно ее заинтриговал, она долго и задумчиво на него смотрела. В другое время самая мысль привезти сюда Сариту показалась бы Каролине дикой, но сегодня такие пустяки не имели значения. Никто не предложил Сарите посмотреть другие работы Сесара: хозяин был для этого слишком аристократом, а у Каролины не повернулся бы язык. Поэтому, дождавшись, когда хозяин задремал, Сарита по своей инициативе прошла в мастерскую и надолго там застяла, рассматривая картины и этюды.

В творчестве Сесара как раз начался «медный период»: так он сам, смущенно и с деланным пафосом, его назвал. Портреты пезнакомых Каролине и, видимо, случайно встреченных людей, городские и сельские пейзажи, появившиеся совсем недавно, — все это было исполнено в темно-коричневых, зеленовато-бурых тонах, иногда «под старую бронзу», с синевато-радужными бликами и как будто с налетом патины. На одной из картин изображена была толпа мальчишек предместья: одни стояли, сунув руки в карманы и сумрачно глядя под ноги, другие, присев на корточки, подбиравши с земли камни и при этом злорадно и весело глядели на зрителя. Только что законченная, в подрамнике, эта картина стояла в гостиной на полу. «Приближаясь к жизни?» — спросила Каролина. «Похоже, что да, —

усмехнувшись, ответил Сесар.— Артистам полезно, когда их время от времени забрасывают каменьями».

...Вдруг оглушительно зазвонил телефон. Вздрогнув, Каролина подняла трубку. Из мастерской, отодвинув портьеру, вышла Сарита.

— Вас слушают. Одну минуту...

Каролина подняла аппарат, неренесла его к хозяину, наклонилась и громко шепнула ему на ухо:

— Тебя к телефону.

— Ну, разумеется,— не открывая глаз, пробормотал Сесар,— ночью художники нарасхват.

Лус не просыпалась

— У телефона,— сказал Сесар вполголоса.— О боже мой, отчего среди ночи? Дети кругом... Ах, вот оно что, тебя мучит совесть. Ну, разумеется, я все сделал, здесь есть свидетели, которые могут твое алиби подтвердить.

Каролина сделала протестующий жест.

— Отец,— укоризненно говорил Сесар,— ну, успокойся, ради всех святых, и передай привет «Санта-Рите»... Да что ты, я очень почтительный сын.

Вдруг он перехватил микрофон трубки рукой и посмотрел на напряженно застывших женщин.

— Мария сублево,— сказал он, обращаясь к ним, и эти страшные слова прозвучали непонятно, как будто сказаны были на экзотическом языке.— Флот восстал.

Когда он положил трубку, Каролина вскочила, подбежала к телефону, стоявшему на полу, опустилась на колени, набрала номер редакции. Занято... Позвонила в редакцию — занято. Ла Монеда ответила сразу.

— Убедительная просьба,— сухо сказал Вергара,— не загружать телефон. Всем оставаться на своих местах. Да, связь с Вальпараисо прервана. В столице все спокойно. Выясняем обстоятельства. Если понадобитесь — позовим.

— Ну? — нетерпеливо спросила Сарита, опустившись на пол рядом с Каролиной и глядя ей в лицо.— Ну, что?

Не выпуская трубки из рук, Каролина механически повторила слово и слопо все, что сказал ей Вергара.

Прошло минут десять. Сесар сидел, как библейский судья, на своем стуле, а женщины у его ног вполголоса обсуждали случившееся.

- Вальпараисо далеко.
- Их не пропустят в столицу.
- Можно сказать, это локальный мятеж.
- Сейчас, наверно, гарнизон уже поднят.
- Перекрывают шоссе...
- Глаппос — железная дорога.
- Ну, это ироне всего.
- У них нет шансов на успех.

Вначале Сесар сочувственно прислушался, но, убедившись, что женщины по мечутся в панике, а тихо сидят на полу и сами себя успокаивают, он вновь задремал.

...Проснулся Сесар оттого, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он по-прежнему сидел на стуле, шея и ноги его затекли, и, выпрямившись, он вдруг чертыхнулся.

Свет в гостиной был погашен, жалюзи закрыты, и в голубоватом полуосвещении Сесар не сразу разглядел, что Лусита, прижавшись к стене, сидит на его постели и смотрит на него широко раскрытыми глазами.

— О, сеньорита, — вежливо сказал Сесар, вставая, — прошу прощения, я, начиная, напугал вас своим храпом.

Девочка не ответила и даже не шевельнулась. На ней была гонконгская рубаха Сесара — белая, с короткими рукавами и твердым стоячим воротником, из которого беззащитно торчала тощенькая смуглая и, видимо, не очень чисто вымытая шейка. Большие глаза Луситы тревожно черпели и, казалось, икили самостоятельной жизнью на малоподвижном индейском лице.

Сесар подошел к окну, открыл жалюзи, в комнате стало совсем светло. Он посмотрел на часы — начало восьмого.

В комнате, кроме него и Лус, никого не было, по в мастерской горел свет, и Сесар решил, что женщины дремлют там. Он на цыпочках подошел к портьере, заглянул в мастерскую — там было пусто. Сердце его сжалось от предчувствия непоправимого. Он резко обернулся — к входной двери обрывком скотча был прикреплен лист бумаги.

«Папито, милый, прости, но мы не могли вынести познаваемости. Сарита хорошо водит машину, не беспокойся. Счастье, что ключи лежали на столике, а то пришлось бы тебя будить. Поставим ее у отеля «Каррерас», на твоем обычном месте, и если что... (зачеркнуто). Жди нас и не волнуйся. Не обижай Луситу, она хорошая, умная девочка, вы подружитесь. Покорю ее, когда проснется. Целую тебя, твоя Нья Пируса».

Ниже другим, язвительным почерком была сделана приписка: «Сеньор Ларив, это не экспроприация, слово чести. Не надо поднимать на ноги парламентскую оппозицию, она славно потрудилась, пусть спит спокойно. С революционным приветом С. Н.».

Держа в одной руке дрожащий листок, другую терзая бороду, Сесар долго стоял неподвижно. Отчего-то ему вспомнилось (об этом говорила Каролина), что в операции оппозиции Ла Монеды хранятся четыре литра крови группы Альбенде... Эта деталь тогда сильно поразила его, в ней было что-то спокойное и ужасное. «Как это написать? Каменный дворец — и в нем кровь президента... А какая кровь у Плруситы? Бог ты мой, о чём это я?»

Из оцепенения его вывел голос Луситы.

— Дядя Сесар! Дядя Сесар! — встав на постели, тревожно повторяла она. — Где Нья Пируса? Она совсем уехала? Дядя Сесар!

— Какой я тебе дядя? — рявкнул Сесар. — С ума сопьяла твоя Нья Пируса! Она просто сопьяла с ума!

Он кинулся к телефону, начал яростно крутить диск, но безуспешно: все известные ему дворовые телефоны были заняты. Наконец он бросил трубку, посмотрел на дверь, потом на окно. Ему пришло в голову, что без машины он прикован к месту.

— Ну, девчонки! — бормотал он, вновь принявшись за телефон. — Без них там никак не обойдется!

— Где «там»? — спросила, выждав паузу, Лусита. — Ты мне ответишь или нет? Куда уехала Нья Пируса?

— Она уехала во дворец, — как можно спокойнее ответил ей Сесар. — К президенту Альенде. Знаешь такого?

— Конечно, знаю, — с достоинством ответила Лус. — И он меня тоже звает. И правильно она сделала, что уехала. Надо его защищать. И я знаю, почему ты ругаешься. Ты не любишь Альенде, потому что ты богач. Вот подожди, он у тебя все отберет. И мы будем жить здесь, купим телевизор и будем жить, я и Нья Пируса, и ничего она не сочла с ума, ты сам сошел, и Мемо здесь будет жить, и Фито, и мама, и Мария Эстела, если захочет, а тебя выгоним вон. Иди живи па Парадеро Очо, пожалуйста, а нам хватит, мы там уже пожили.

Такой ультрареволюционной отповеди Сесар в своей жизни еще не слыхал. Он смотрел на эту девочку в длинной рубашке, стоящую па его постели в полном сознании своей правоты, — и не знал, что ей сказать.

Из затруднения его вывел телефонный звонок. Вообразив, что это Каролина, Сесар поспешил схватил трубку, но услышал голос отца — и чуть не выругался с досады.

— Ты уже слышал? — спросил дон Херардо.

— А что я должен был слышать? — мрачно поинтересовался Сесар.

— О господи, — простопал дон Херардо. — Должны же быть пределы у инфантильности! Кончится тем, что тебя пристукнут, как теленка, и ты даже не успеешь спросить, за что.

— Довольно брюзжать, мне некогда, — раздраженно перебил его Сесар. — Что я должен был слышать?

— Коммюнике правящей хунты. Минуту назад передавали. В стране совершился военный переворот.

— Ну, хорошо, переворот, это я уже знаю... — начал Сесар и вдруг остановился. — Постой, что значит «переворот»? Митец, ты хочешь сказать? Митец и Вальпараисо?

— Это дело прошлое, мой дорогой, — сказал дон Херардо. — В Вальпараисо, в Сантьяго, в Консепсьоне, вездо. Как видишь, вчера я был на сто процентов прав...

Наступила неловкая пауза. Глазами Сесар показал Лусите на стоящий на письменном столе дешевенький транзистор. Девочка, встревоженная и присмиренная, как будто не она минуту назад разговаривала с «дядей Сесаром» так дерзко, подбежала к столу, вскарабкалась на кресло, выставив почерневшие от грязи подошвы своих ножонок, вопросительно оглянулась. Сесар кивнул, и она, соня от уседрнил, взялась за ручку приемника, потянула.

— Да что у тебя там происходит? — возмутился дон Херардо. — Ты не один?

— Разумеется, — стараясь быть спокойным, Сесар принял от Луситы транзистор, погладил девочку по голове (он сидел на полу по-турецки), подтолкнул ее в сторону постели, включил приемник. Грянул оглушительный марш, сила звука была необычной, панимшая какой-то нечеловеческий, металлический, торжествующий рев. Затем звучный голос диктора произнес:

— Учитывая чрезвычайно серьезный экономический, социальный и моральный кризис, подрывающий страшу...

— Это повтор, — сказал в трубку дон Херардо. — «Агрекультура» все забывает. Убавь, пожалуйста, звук. У них теперь мощность двести ватт...

— ...Чилийские вооруженные силы и корпус карабинеров, — напористо говорил диктор, — полны в своей решимости взять на себя...

— Значит, карабинеры тоже... — пробормотал Сесар. — Кто же тогда?.. Да Монеда взята или нет?

— Судя по некоторым признакам, — промямлил дон Херардо, — еще не взята, по полностью блокирована. Альенде заперся там с горсткой смертников. Все воинские части и корпус карабинеров — на стороне новых властей, у Альенде нет ни одного солдата. На улице под моими окнами уже пьют шампанское, настоящий карнавал...

— Подожди ты со своим карнавалом! — крикнул Сесар. — Не мешай слушать.

— ...за освобождение отечества от марксистского ига, — Сесар убавил звук, и голос диктора стал доверительно задушевным, — за восстановление порядка и конституционного правления. Рабочие Чили могут не сомневаться в том, что экономические и социальные блага, которых они добились на сегодняшний день, не будут подвергнуты большиным изменениям...

— Ну, разумеется, — буркнул Сесар. — Вот паглецы!

— Видишь ли, сынок, — обрадовано заговорил дон Херардо, с нетерпением дождавшийся реакции Сесара, — я хотел бы обратить твое внимание на одну тонкость. В коммюнике сказано о восстановлении конституционного правления... это оставляет некоторую надежду...

Отец еще что-то говорил, но Сесар его не слушал.

— ...Население Сантьяго должно оставаться в своих жилищах, — будничным голосом продолжал диктор, — во избежание гибели ни в чем не повинных людей. Коммюнике подписали: от вооруженных сил Чили — генерал Аугусто Пиночет, адмирал Хосе Торибио Мерино, генерал Густаво Ли, от корпуса карабинеров — генерал Сесар Мендоса.

Грянул марш «Храбрые гусары Майно», и Сесар выключил приемник.

— Так что ты говорил? — вяло спросил он отца.

— Практически весь вопрос заключается в том, — с некоторой обидой в голосе отозвался дон Херардо, — как поступят власти с этой горсткой несчастных. Альянде упрям, по своей воле он оттуда не уйдет... Если он вообще во дворце, это в точности не известно... А, собственно говоря, почему это тебя так волнует? Насколько я помню, ты всегда насмехался над политическими страстиами.

— Сейчас мне не до смеха, папа, — негромко сказал Сесар. — Среди этой, как ты выразился, горстки несчастных смертников находится некая Каролина Сото Рамирес...

Спохватившись, Сесар быстро взглянул на Луситу. Девочка сидела, свесив ножки, на краю кровати и, откинувшись назад голову и приоткрыв рот, вслушивалась в этот мало-понятный для нее разговор.

— Но позволь, — удивленно заговорил отец, — с кем же ты сейчас?

— Она уехала во дворец и оставила у меня свою младшую сестренку. Послушай, папа...

В трубке послышался смешок.

— Сестренку? Рискованный поступок.

— Прекрати, — морщась, сказал Сесар. — Сделай вот что. Пришли сюда Габи. Она побудет с девочкой, а я пока на ее машине съезжу в центр.

— Нет, сынок, — после паузы серьезно сказал дон Херардо. — Поверь, я очень хорошо тебя понимаю, но это дикая идея. Мало того, что центр окружен и к дворцу не проехать. Город наводнен солдатней, которая убеждена, что переворот оправдывает любую мерзость... Ты еще молод, а я помню стародавние времена. Как бы гуманно власти ни поступили с Альянде, все равно в городе начнется разгул вандализма...

— Ты, я вижу, совсем уже свыкся с новой ситуацией, — явственно сказал Сесар. — У тебя мятежники — это уже власти. А ведь еще вчера...

— Я сделал все, что мог,— возмущенно возразил дои Херардо,— все, что от меня зависело...

И разговор прервался.

Должно быть, отец для верности отключил свой телесфон, потому что, сколько Сесар ни пытался, ему так и не удалось дозволиться до Габи.

Наконец он встал и падел куртку — ту самую, замшевую, в которой он спасал Пируситу из рук матусовской банды. Он ничего не видел перед собой — лишь темный приземистый силуэт Ла Монеды и над ним в темно-пепельном небе — голубоватые контуры лица Нья Пирусы, растерянного, улыбающегося, и руки, прижатые к груди.

Лусита побелела как полотно и тоже встала. Она не спросила «ты куда?», но в глазах ее были и вопрос, и ужас, и мольба.

— Глупость, ребячество,— бормотал Сесар, застегивая пуговицы.— Ребячество, глупость...

Сесар ничего не имел против Альенде; все в его речах — и неумелые ораторские обороты, и недостаточность темперамента, и даже словечко «уверен», которое выдавало не силу, а слабость (Альендо даже «Венсеремос» — «Мы победим» — говорил «Я уверен, что мы победим»), — все имитировало Сесару, свидетельствовало об искренности этого человека, за которого Каоролша готова была умереть. Но есть же пределы доверчивости, черт побери! Какой-то Пиночет, какой-то паверника тупоголовый Ли, какой-то злобный, а оттого и глупый (ибо ум добр) Хосе Мерино, какой-то безымянный Мендоса — как Альенде мог позволить им себя перехитрить? Вот тебе и «уверен»...

— Маленькая, я нечадолго,— ласково сказал Сесар, подходя к двери.— Только съезжу за Нью Пирусой и вернусь.

Лицо девочки исказилось от страха.

— Пет! — вскрикнула она и, кинувшись к Сесару, крепко обхватила его ноги.— Пет! Не уходи, только ве-

уходи! Я больше не буду говорить, что ты богач! Ты не богач, нет, ты очень бедный! Не уходи!

Сесар давно уже снял куртку и, сидя в кресле за письменным столом, держал Луситу на коленях и уговаривал ее, гладил по головке, целовал в макушку, покачивал на руках, как бы убаюкивая, а она все тряслась и всхлипывала без слез, повторяя с закрытыми глазами:

— Нет, нет, нет!

32

В семь утра у подъезда резиденции на Томаса Моро стояли готовые к выезду машины: желтый «чикан» (там, как и в день «Тавкаса», расположилась пятерка Рамона, в кабине было место Хосе), синий президентский «фиат» с Хано за рулем, за ним два точно таких же, синих с пятерками, Густаво и Альберто, и замыкала кортеж машина с ребятами Панто и пулеметчиком.

Накрывал дождик, но было уже по-весеннему тепло и безветренно, никакие облака, казалось, не двигались. Хосе стоял возле головной машины и вполголоса давал последние указания Рамону Патучо и Марио Тулькану. Тулькан со своим пулеметом оставался на Томаса Моро: резиденцию нельзя было оголять. План обороны резиденции был, разумеется, давно разработан, по только на случай падения вооруженной банды, от огня регулярных частей или от падения с воздуха здешние ограды служили плохой защитой. Поэтому, разговаривая, все трое временами поглядывали на пасмурное небо: облака могли рассеяться.

— У нас в Тулькане, — сказал Марио, — если уж затянет с утра, то, считай, недели на две, не меньше.

— У вас в Тулькане все как у людей, — пробормотал Хосе,правляя под пиджаком копцы своего широкого аргентинского шарфа, который заменил ему и свитер, и пончо, и куртку, и вообще все, что принято называть зимней

одеждой.— Пойти: реадиенция так же важна, как и Ла Монеда. Здесь донын Ортесия, Чабела, Тата сюда перебрется. Они могут использовать это как средство давления.

— Да что ты мне объясняешь,— отозвался Тулькан. Ему очень хотелось ехать с ребятами в Ла Монеду.

Наступило молчание.

— Не правится мне этот однодневный самолет,— сказал Хосе.— Похоже, они приялись на этот раз за нас серьезнее.

— Не волнуйся,— ответил Тулькан.— На небольшой высоте мы его достанем. Я сам сниму с него размеры.

— Ты думаешь, он у них один? — проговорил Рамон Натучо.

И они вновь, не сговариваясь, посмотрели вверх: тучи медленно взлазли в сторону гор, открывая ровное, цвета темного жемчуга, небо.

В семь десять из проходной на улицу вышел Аугусто Оливарес. Глянул в небо, поморщился от дождя, снял очки, сбрасывая сунул их в карман и направился к Хосе. Тулькан и Натучо стали павышаясь.

— Ладно, ладно,— сказал Оливарес, похлопав Рамона по плечу, и протянул руку Хосе.

— Что новенького, Перро? — спросил Хосе.

Оливарес помедлил. Была одна новость... только что они с президентом слушали коммюнике хунты во главе с Нацио-Четом. Но говорить об этом сейчас было бы преждевременно.

— Ясности пока нет, ребята,— потеребив усы, ответил он.— «Агрокультура» беспрерывно передает военные марши, как из королевства чечей.

— Играют на первах,— сказал Натучо.

— Вполне возможно,— согласился Оливарес.

— Так что же, выезд откладывается? — спросил Хосе.

— Нет, обязательно едем,— сказал Оливарес.— Тата

хочет быть в Ла Монеде. Он говорит: «Пока я там, переворот еще не совершил».

И, словно в подтверждение его слов, дверь проходной открылась, и к машинам вышли Альенде и советник Гарсес.

Президент был одет по-домашнему: серый пиджак поверх свитера, рабочие брюки. Хосе не помпил, чтобы Альенде так одевался для выезда во дворец. Может быть, этим он хотел подчеркнуть, что сегодняшний ранний выезд — ничем не примечательное, будничное дело? Или, наоборот, что он вызван экстраординарными обстоятельствами, требующими приятия рабочих мер? Но, скорее всего, Альенде ничего не подчеркивал: он оделся так, как ему было удобнее, предполагая, что во дворце его ждут совсем по парадные протокольные дела. Лицо его было невеселым, но и не печальным, скорее скучноватым: как у человека, который вынужден прервать работу и ехать на тягостное, неинтересное, совершенно неизбежное мероприятие. «Я хотел лучшего. Я работал. Мне помешали», — вот все, что читалось на этом лице. Щеки его обвисли, глаза сквозь очки смотрели открыто, с простой готовностью.

— Едем? — спросил он Хосе и, не дожидаясь ответа, пошел к своей машине.

— Чичо, — позвала, выйдя из проходной, донья Ортенсия. На ее плечи была наброшена черная вязаная шаль.

Альенде остановился, медленно обернулся, пошел назад.

— Что-нибудь случилось? — негромко спросил он.

— Я с тобой, Чичо, — проговорила донья Ортенсия. — Позволь, я поеду с тобой.

Голос ее прерывался.

— Но в этом нет нужды, — удивленно и как будто сердито сказал Альенде. — Мы же договорились. Лучше тебе быть здесь. Если настанет необходимость, я подожду людей, они проводят тебя в посольство.

— А ты? — тихо спросила она.

Альенде помолчал.

— Из моих рук они власть не получат, — сказал он, — Это все, что я могу с точностью предсказать.

Дочь Ортепсия заплакала.

— Это еще что? — возмущенно сказал Альенде. — Первая дама республики... ты не должна.

Он поцеловал ее руку и, резко повернувшись, пошел к машине.

Улицы Сантьяго были почти пусты, на перекрестках расставлялись усиленные пары карабинеров. По перекресткам медленно двигались зеленые армейские грузовики с заряженными окнами. К подъездам учреждений бодрым шагом, с перебежками, направлялись военные патрули. Солдаты в касках, в блузах, заправленных в штаны, с подсумками на широких кожаных поясах, некоторые с оранжевыми нагрудниками, останавливаясь и снова пускаясь в бег, как на тактических учениях, поглощены были важностью своей задачи и не обращали внимания на кортеж. Карабинеры вставали вавитяжку, офицеры козыряли. Альенде машинально поднимал руку, держал ее на весу, затем медленно опускал на колено. При этом он смотрел в окно с выражением кроткого любопытства.

Щемящая боль за все, что он видел вокруг, — это чувство удивляло его самого. Ему было за молодцеватых полицейских, которые так оживленно суетились возле пасмых сооруженных пулеметных гнезд, как будто готовились борьба к какому праздничному делу. Брустверы были сооружены из мешков с песком, по вот чем отличался семьдесят третий год от тридцать девятого: на мешках можно было прочитать черные надписи «Дар народа США»... Ему было больно за пожилую домохозяйку в поножицном пальто, которая, часто оглядываясь, переходила улицу с пустою матерчатой сумкой в руке. Больно за длинопологое паренъка в стоптанных башмаках, который, су-

нуж руки в карманы короткой курткы с меховым воротником, стоял на краю тротуара, глядываясь в окна дома на противоположной стороне. Чем живут эти люди? Что вывело их на улицы в такой ранний час? Нуяда? Беспокойство? Простое любопытство? Догадываются ли они, что их ждет впереди?.. Как странно: можно увидеть человека единожды за всю жизнь — случайно, из окна медленно движущегося автомобиля, как вои того высокого худого мужчину с пышной седой шевелюрой и завязанным на шее шелковым кашне, копцы которого сунуты под поджак, — и не поговорить с ним, не обменяться улыбками и больше не встретиться с ним никогда...

Хапо вел машину молча, как будто боялся нарушить тишину.

— С одиннадцатого по пятнадцатое они объявили нерабочими днями, — негромко сказал Оливарес. — Распоряжаются, как у себя дома.

— Пытаются предотвратить всеобщую забастовку, — отозвался Хоан Гарсес.

— Да, слишком хорошо они были осведомлены о нашем плаче обороны, — проговорил Альенде. — Слишком хорошо...

— Вот что значит — Красная шапочка, — сказал Оливарес.

Перро имел в виду загадочные радиопередачи из Пуэрто-Монта: «Нас больше, чем мы думаем. Красная шапочка с пами».

— Пиноккио — Пиночет... — сказал Хоан Гарсес. — Догадаться было нетрудно...

Альенде невольнулся.

— Я очень вас прошу, — сказал он, — больше не произносить в моем присутствии имя этого человека. Да, я доверял ему до последней минуты. Я думаю, у него нет оснований этим гордиться... Как, впрочем, и у меня. Враг сделал свое дело, а я не сумел.

Перро и Гарсес умолкли.

— Не выспались? — после паузы, чтобы сладить недовольство, спросил Альенде.

— Меня разбудил грохот его кубинских ботинок, — с улыбкой кинув на Перро, отозвился Гарсес. — Кстати, Аугусто, второй раз ты их надеваешь, и каждый раз это оборачивается мятежом. Объясни, в чем тут дело.

Оливарес собирался развеять эту шутку и даже раздвинул усы, чтобы удобнее было смеяться, но голос Альенде заставил их обоих притихнуть.

— Смотрите-ка, развиделось! — сказал Альенде, наклоняясь к спинке переднего сиденья и глядя вверх.

Гарсес, сидевший с краю, приспустил боковое стекло и выглянул наружу. В лицо ему дунул плотный ветер, в котором, помимо запаха сырости, явственно ощущался аромат свежей листвы. А между облаками сиял узкий и длинный просвет, полный глубокой голубизны. Под этим чистым взглядом с высоты весь город, казалось, потемел и пахнулся.

— Это нам сейчас ни к чему, — проворчал Оливарес. С его места (он сидел справа от президента) да при его высоком росте ничего не было видно, а наклонившись ему мешал стоявший между колен автомат.

— Ошибаешься, друг мой Перро, — возразил Альенде. — Именно нам, и только нам, на руку все это — теплые дни, цветы, урожай. А им — землетрясения, зимние ливни, голод.

— Должно быть, оттого, — заметил с полуулыбкой Хосе Гарсес, — что они не у власти. Если бы им удалось то, что они задумали, им очень бы понадобилось и тепло, и цветы, и тучные поля.

— Логично, доктор, логично! — сказал Оливарес, с такой комической деловитостью воспроизведя интонацию Альенде, что даже сам президент улыбнулся. — Вот они и пытаются прорваться к нашей весне. Но мы им помешаем.

Машинка остановилась на Моранде, у президентского подъезда La Mochedы. По тротуару сновали карабинеры, бойцы президентской охраны. Вот незнакомый парень в потертых кожаных штанах и рыжей кожаной куртке прошел поболыпой металлический чемоданчик. Чемоданчик был тяжел, парень весь согнулся, свободной рукой придерживая висящий на плече автомат «валтер».

— Ола, Мемо! — крикнул ему Оливарес.

Парень остановился, обернулся, помахал рукой. На тощем лице его улыбка казалась особенно белозубой.

— Кто это? — спросил Альенде.

— Подкрепленко от Йуашьяна, — сказал Оливарес. — Этот парень один стоит сотни.

— Так уж и сотни? — прыщурясь, проговорил Альенде. — Ну, тогда будем драться.

Выходи, он взял с переднего сиденья автомат. Постоял, опустив его дулом вниз и глядя на угрюмые стены дворца. Просто, даже бедно одетый человек с морщнистой шеей, дряблым двойным подбородком и скорбно скатым ртом... Поднял голову — чистая полоска неба, так обрадовавшая его по дороге, исчезла, небо было плотно затянуто темно-серой искрящейся пеленой.

Альенде вскинул автомат в руке и вошел во дворец.

Алексеев Валерий Алексеевич.

А47 Пепельный сентябрь: Повесть о Сальвадоре Альенде.— М.: Политиздат, 1982.— 346 с., ил.— (Пламенные революционеры).

А 0803010000—000
079(02)—82 227—82

66.3(7Чи)
32И

Валерий Алексеевич
Алексеев

ПЕПЕЛЬНЫЙ СЕНТЯБРЬ

Заведующий редакцией *В. Г. Новожатко*

Редактор *А. И. Пастухова*

Младший редактор *А. А. Степанова*

Художник *И. С. Смирнов*

Художественный редактор *В. Н. Терещенко*

Технический редактор *Н. Н. Межерицкая*

ИБ № 2171

Сдано в набор 12.05.81. Подписано в печать 27.10.81. А00171.
Формат 70×108 1/4. Бумага гипографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Условия печ. л. 16,91.
Условия кр.-отт. 19,12. Учетно-изд. л. 16,33. Тираж 300 тыс.
вкз. Заказ № 840. Цена 1 р. 30 к.

Политиздат, 125811, ГСП, Москва, А-47. Миусская пл., 7.

Набрано и смотрено
в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
103473, Москва, II-473, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц
в типографии из-ва «Уральский рабочий»,
г. Свердловск, пр. Ленина, 49.
Зак. № 448.